This "O-P Book" Is an Authorized Reprint of the Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography by University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1965

Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ I.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ.

С *биографическим очерком* В. Черкезова.

Второе издание



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА".
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1922

Книгоиздательство
СОЮЗА АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ
„ГОЛОС ТРУДА“

Петербург. Пр. Володарского, 56. Москва. Тверская, 70

Выпущены в свет следующие книги и брошюры:

М. Бакунин.—Избран. соч. т. I. Государственность и Анархия, с биографич. очерком В. Черкезова (второе издание)

Его-же.—Т. II. Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция, с предисловием и примечаниями Дж. Гильома

Его-же—Т. III. Бернские Медведи и Петербургский Медведь; Речи и статьи по Славянскому Вопросу; Народное Дело; Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы; Федерализм, Социализм и Антитеологизм.

Его-же.—Т. IV. Организация Интернационала; Политика Интернационала; Письма о Патриотизме; Письма к французу; Парижская Коммуна и понятие о Государственности.

Его-же — Том V. „Альянс“ и Интернационал. Интернационал и Мадзини.

Его-же.—Бог и Государство (разошлось).

Дж. Баррет.— Анархическая Революция.

А. Боровой.—Личность и Общество в Анархистском Мировоззрении.

Дж. Гильом. — Интернационал (Воспоминания и материалы) Том I - II.

Его-же Карл Маркс и Интернационал.

Эмма Гольдман.—Анархизм.

И. Гроссман-Рощин—Характеристика Творчества П. А. Кропоткина.

Ж. Грав.—Будущее Общество.

Его-же.—Синдикализм в общественном развитии.

Виктор Дав и Жорж Ивто.—Фернанд Пеллутье и Революционный Синдикализм во Франции.

С. Заяц.—Как мужики остались без начальства.

Ж. Ивто.—Азбука Синдикализма (разошлось).

М. Корн.—Революционный Синдикализм и Анархизм; Борьба с Капиталом и Властью и др.

П. Кропоткин.—Записки Революционера. Под редакцией автора и с предисловием Георга Брандеса.

Его-же.—Речи бунтовщика, с предисловием и послесловием автора к новому изданию.

Его-же.—Хлеб и Воля, с предисловием автора к новому изданию. (Второе издание).

Его-же.—Современная Наука и Анархия (перевод под редакцией автора).

Р. В. Ц. № 869

Типография „ГОЛОС ТРУДА" Петербург. 4.000 экз.

Значение Бакунина в интернациональной революционном движении.

„Друзья и враги признают, что он был велик мыслями, волею неизменной энергиею."

Элизе Реклю. Карло Кафиеро.

Политически и философски прекрасно образованный, обладая в высшей степени ясным и увлекательным изложением, Бакунин оставил по смерти такое количество рукописей по вопросам социальным, политическим и философским, что полное собрание его сочинений на французском языке, издаваемое под редакцией Джемса Гильома, уже составляет шесть томов, хотя его знаменитые письма к испанской, итальянской и другим федерациям и к деятелям Интернационала еще не изданы,

Несмотря на такое обилие произведений Бакунина, писательство в его жизни было делом второстепенным. Прежде всего Бакунин был оратор, агитатор, восторженный инициатор революционных движений, заражавший своим энтузиазмом всех окружающих. Не как спокойный ученый философ Анархии Бакунин увлекал ряд замечательных людей различных национальностей, а увлекала его обаятельная личность, „его готовность первому идти на исполнение, готовность погибнуть, отвага принять все последствия" (А. Герцен, Посмертные сочинения).

Вот этого самоотверженного и героического мыслителя революционера Бакунина нам и желательно представить русскому читателю в речах, воззваниях и в кратких статьях самого автора. Его большие и лучшие произведения „Государственность и Анархия", „Кнуто-Германская Империя", составляют содержание первых двух, остальные-же тома

будут составлены из речей, докладов и журнальных статей различных периодов революционной деятельности великого борца и мученика за социальное и политическое освобождение трудящихся классов и угнетенных национальностей. При самом беглом просмотре этих речей и статей, читателю станет ясно, почему Бакунин так высоко ценим эксплоатируемыми и угнетенными и так ненавидим угнетателями и власть имущими или стремящимися к власти, включительно до главарей немецкой социаль-демократии, не остановившимися перед самой черной клеветой на отважного революционного борца в цепях, прикованного к стене немецкого каземата...

Для более полного выяснения нашим читателям значения деятельности Бакунина для развития социально-революционных идей вообще, а федеративно-коммунального и анархического коллективизма в особенности, мы приведем здесь оценку его деятельности людьми, посвятившими жизнь знания и таланты великому делу социального и умственного освобождения страждущего человечества.

Вот как оценивает деятельность и литературную манеру Бакунина П. А. Кропоткин:

„Говоря о Бакунине, следует оценивать его значение не по тому, что он сделал лично, сколько по влиянию, которое он оказывал на окружавших его людей—на их мысли и на их деятельность...

„Бакунин садился с целью написать брошюру в ответ на запрос дня. Но его брошюра разросталась в книгу, потому что при его глубоком понимании философии истории, и с его громадным запасом знания современных событий, ему приходилось столько сказать, что страницы быстро покрывались одна за другою.

„Если вспомнить все то, что он и его друзья—а его друзья были Герцен, Огарев, Мадзини, Ледрю-Роллен и все лучшие люди и деятели революционного периода сороковых годов в Европе—передумали об этих, пережитых ими драмах, надеждах, разочарованиях; если вспомнить все, что они пережили во время полных надежд 1848-го года и последовавшей за тем реакции,—легко понять, как мысли, образы, доводы, почерпнутые из знания *жизни*, должны были роиться в голове Бакунина, и почему его философско-исторические воззрения так щедро пересыпаны фактами и суждениями из современной действительности.

„Любопытно однако, что каждая брошюра Бакунина отмечала поворотную точку в истории революционной мысли в Европе. Его речь на конгрессе „Мира и Свободы“ была вызовом, брошенным всем радикалам Европы. Бакунин об'являл в ней, что эпоха радикализма сороковых годов закончена, и наступает новый фазис революционной жизни—эра рабочего социализма; что рядом с вопросом о политической свободе, встает вопрос об экономической независимости, и этот вопрос будет впредь преобладать в истории. Его брошюра, обращенная к мадзинианцам, возвещает конец чисто-политической революционной конспирации ради национального освобождения и начало социалистической революции, а также конец сентиментального социалистического христианства и начало атеистического коммунистического реализма в истории. Письмо Герцену, об Интернационале и базаровском реализме, имеет тот-же смысл для России.

„Бернские медведи“ – прощальное слово швейцарскому буржуазному демократизму, и „Письма французу“, написанные во время войны 1870—71 года, составляют отходную Гамбеттовскому радикализму и возвещение той новой эры, которую вскоре открыла собою Парижская Коммуна отбросившая идею Луиблановского государственного социализма и возвестившая новую идею, городского, коммунального коммунизма. Коммуна, встающая на защиту своей территории, и начинающая у себя социальную революцию—вот что рекомендовал он в этих „Письмах“ против немецкого вторжения.

„Кнуто-Германская Империя“,—брошюра, которую так ненавидят немецкие социаль-демократы—пророческий крик старого революционера, понявшего уже тогда (1871) весь ужас реакции, которая охватит Европу на целые тридцать сорок лет, вследствие торжества бисмарковского военного государства, а с ними вместе—и государственного социализма, которого крестным отцом, в Германии, был тот-же Бисмарк. Она вместе с тем означала крутой поворот в сторону безгосударственного коммунизма,—анархии—в латинских странах.

„Наконец „Государственность и Анархия“, „Историческое развитие Интернационала“ и „Бог и Государство“,—несмотря на боевую памфлетную форму, которую они получили, так как писались ради злобы дня,—содержат для вдумчивого читателя, больше политической мысли и больше

философского понимания истории, чем масса трактатов, университетских и социаль-государственных, в которых отсутствие мысли прикрывается туманною, неясною, а следовательно непродуманною диалектикою. В них нет готовых рецептов. Люди, ждущие от книги разрешения всех своих сомнений, без собственной работы мысли, не найдут этого у Бакунина. Но если вы способны *думать самостоятельно* если вы способны не идти слепо за автором, а смотреть на книгу, как на *материал для мышления,*—как на умную беседу, вызывающую от вас умственную работу,—тогда горячие, местами беспорядочные, а местами блестящие обобщения Бакунина помогут вашему революционному развитию несравненно больше, чем все вышеупомянутые трактаты, написанные с целью уверить вас, что вы годны только для повиновения и должны слепо идти за автором—в вашей мысли, и за главарем—в вашей деятельности.

„Впрочем, главная сила Бакунина была не в его писаниях. Она была в его личном влиянии на людей. Он сделал Белинского тем, чем он стал для России: типом неподкупного революционера, социалиста и нигилиста, который воплотился впоследствии в нашей чудной молодежи семидесятых годов. Он возродил его.—„Ты мой духовный отец“ писал ему сам Белинский. А какою громадною силою был Белинский для русского развития—мы знаем.

„В Париже, в 1847 году (в этом году его изгнали), и в Германии в 1848 году, его влияние на лучших людей своего времени было громадно. Бернард Шоу рассказывает в полушутливой форме (The Perfect Wagnerite), что в своем Зигфриде, не знающем страха и увлекающем своею любовью Брунгильду, Вагнер воплотил Бакунина. Он воплотил, конечно, не Бакунина в частности, а смелого, дерзкого революционера вообще. Но нет сомнения, что и на Вагнера, как и на Жорж Занд, и на Герцена с Огаревым, и на весь кружок социалистической Франции, живший тогда в Париже, и на Молодую Германию, и на Молодую Италию, и на Молодую Швецию, Бакунин оказал в свое время громадное влияние.—„*К нему нельзя было подойти, не заразившись его революционною горячкою*“, говорили об нем его современники.

„Таким же оказался он когда, бежавши в 1862 году из Сибири, он появился снова среди своих друзей в Лондоне. Герцен, как известно, описал его появление в Лондоне, и слегка посмеивался над тем, как Бакунин пропа-

гандировал всяких славян. Весьма возможно, и наверно так и было, что Бакунин часто возлагал больше надежд на подходивших к нему людей, чем они того заслуживали. Но разве того же нельзя сказать о Мадзини, о всяком искреннем революционере? Оттого, может быть, он и обладал такою магическою силою, что *верил в человека*, верил в то, что великое дело, к которому он его приобщал, пробудит в человеке то, что в нем есть лучшего. И оно действительно пробуждало, и под влиянием Бакунина человек давал революции в короткое время все лучшее, на что был способен.

„Герцен рассказывает в шутливом тоне, как Бакунин пропагандировал и посылал людей на дело. Но правда ли, что он действительно так ошибался в людях?... Разве люди, которых он вдохновлял в Италии, в Швейцарии, во Франции, разве Варлен, Элизе Реклю, Кафиеро, Малатеста, Фанелли (его эмиссар в Испании) Гильом, Швицгебель и т. д., сгруппировавшиеся вокруг него в знаменитой Alliance, не были *лучшие люди латинских рас в эту великую эпоху?* Мне кажется, что его оценка людей была наоборот, поразительно верна. Прочтите, например, то что он писал об Нечаеве, которого и сильные и слабые стороны он определил так поразительно верно, что мы и теперь, ничего не можем прибавить к его оценке. Кто же лучше его понял Николая Утина—этого женевского божка марксистов?

„Еще одно. Всего поразительнее, и всего поучительнее для нас—*высокий нравственный уровень* людей, сгруппировавшихся вокруг Бакунина в западной Европе. Я не знал Бакунина но я знал близко большую часть людей, сгруппировавшихся в Интернационале вокруг него, и поэтому, так неумолимо преследовавшихся ненавистью Маркса, Энгельса и Либкнехта. И я смело утверждаю, в лицо их ненавистникам, что каждый, из выше названных мною деятелей федеративного Интернационала представлял собою *крупную нравственную личность.* История, я знаю подтвердит эту характеристику, и конечно выскажет при этом сожаление, что в среде их противников,—по крайней мере в лице их главных руководителей,—был, может быть, ум, но нравственные начала не достигали такой же высоты и твердости, как среди названных мною друзей Бакунина.

„Что касается, наконец, значения деятельности Бакунина в Интернационале, то я охарактеризовал роль „бакунистов“, говоря в моих „Записках“ о Юрской Федерации.

„В эпоху, когда разгром Франции, избиение парижских пролетариев после Коммуны и военное торжество Немецкой Империи открыли период реакции, продолжающейся поныне, и когда Маркс со своими друзьями, с помощью подпольных интриг, захотел обратить всю деятельность *рабочего* Интернационала, созданного для *прямой* борьбы с капитализмом, в орудие парламентской агитации на пользу обуржуазившихся социалистов — „бывших людей"—тогда федеративный Интернационал, вдохновляемый Бакуниным, выступил единственным, в то время, оплотом против общеевропейской реакции.

„Ему мы обязаны, в значительной мере тем, что в латинских странах остался живым революционный дух, который нашел в *рабочих* латинских массах новую живую силу чтобы бороться с резким поворотом на лево кругом, среди некогда радикальной буржуазии.

„И—среди этой молодой живой силы, обявившей на свой страх, без всякой поддержки со стороны буржуев, войну всему старому миру,—в этой среде развился наконец современный анархический коммунизм, с его идеалом равенства экономического и политического и его смелым отрицанием всякой эксплоатации человека человеком.

„Таковы заслуги Бакунина в истории.

Июнь 1905 г. *П. Кропоткин*".

А вот характеристика, правда, несколько юмористическая, но все же полная глубокой симпатии и данная Герценом (см. Посмертные Сочинения):—

„15 Октября 1861 г., С. Франциско.

„Друзья, мне удалось бежать из Сибири, и после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию, сегодня прибыл я в С.-Франциско.

„Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и лишь только приеду, примусь за дело, буду у вас служить по *польско-славянскому* вопросу, который был моей idée с 1846 г. и моей *практической специальностью* в 1848 и 1849 гг.

„Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю делом, это было бы слишком честолюбиво; для служения ему я готов идти в барабанщики, или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен.

„О намерении Бакунина уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде. К новому году явилась и собственная пылкая фигура Бакунина в наших об'ятиях.

„В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз, взошел *новый* элемент, и то, пожалуй элемент старый, воскресшая тень сороковых годов и всего больше 1848 г. Бакунин был тот-же, он состарелся только телом, дух его был молод и восторжен, как в Москве во время всенощных споров с Хомяковым; он был так же предан одной идее, так же способен увлекаться, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов, и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни впереди остается не так много и что, следственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу. Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейне в 1849 г., он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 г. во всей целости. Даже язык его напоминал лучшие статьи „Réforme" и „Vraie République" *), резкие речи de la Constituante и клуба Бланки. Тогдашний дух партий, их исключительность их симпатии и антипатии к лицам, пуще всего их вера в близость второго пришествия революции, все было на лицо.

„Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят: они выходят из нее, как из обморока, продолжая то, на чем лишились сознания.

„Европейская реакция не существовала для Бакунина не существовали и тяжелые годы от 1848 до 1858; они ему были известны в кратце, издалека, слегка... Как, человек, возвратившийся после мора, он слышал о тех, которые умерли, и вздохнул об них, обо всех; но он не сидел у изголовья умирающих, не надеялся на их спасение, не шел за их гробом. Совсем напротив, события 1848 года были возле, близки к сердцу, подробные и живые разговоры с Коссидьером, речи славян на Пражском с'езде, спор с Араго или Руге,—все это было для Бакунина *вчера*, звенело в ушах, мелькало перед глазами.

„Впрочем, оно и не мудрено.

„Первые дни после февральской революции были лучшими днями жизни Бакунина. Возвратившись из Бельгии, куда его вытурил Гизо за его речь на польской годовщине

*) Республиканские французские журналы конца 40-х годов.

26 ноября 1847 года, он с головой нырнул во все тяжкие революционного моря. Он не выходил из казарм монтаньяров, ночевал у них, ел с ними и проповедывал, все проповедывал коммунизм et l'égalité du salaire, нивелирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрий, революцию en permanence, войну до избиения последнего врага. Префект с баррикад, делавший „порядок из беспорядка", Коссидьер, не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом отправить его, в самом деле, к славянам с братской акколадой и уверенностью что он там себе сломит шею и мешать не будет.

„Когда я приехал в Париж из Рима в начале мая 1848 года, Бакунин в это время уже витийствовал в Богемии, окруженный староверскими монахами, чехами, кроатами, и витийствовал до тех пор пока князь Виндишгрец не положил пушками предела красноречию (и не воспользовался хорошим случаем, чтобы при сей верной оказии не подстрелить невзначай своей жены). Исчезнув из Праги, Бакунин является военным начальником Дрездена; бывший артиллерийский офицер учит военному делу, поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов; советует им Мадонну Рафаеля и картины Мурильо поставить на городские стены и ими защищаться от Пруссаков, которые zu klassisch gebildet, чтоб осмелиться стрелять по Рафаэлю.

„После взятия Дрездена, начался длинный мартиролог Напомню здесь главные черты. Бакунин был приговорен к эшафоту. Король Саксонский заменил топор вечной тюрьмой потом без всякого основания, передал Бакунина в Австрию Австрийская полиция думала от него узнать что нибудь о славянских замыслах. Бакунина посадили в Грачин, и ничего не добившись, отослали в Ольмюц...

„В России Бакунин был посажен в крепость. В 1854 г. Бакунина перевели в Шлиссельбург, а в 1857 г. он был сослан в Восточную Сибирь...

„Как только Бакунин огляделся и учредился в Лондоне, т. е. перезнакомился со всеми поляками и русскими, которые были на лицо, он принялся за дело. К страсти проповедывания, агитации, пожалуй, демагогии, к беспрерывным усилиям учреждать, устраивать комплоты, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение, *у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность погибнуть, отвага принять все последствия*.

„Бакунин имел много недостатков. Но недостатки его были мелки, а сильные качества крупны.

„Говорят, будто Тургенев, в „Рудине“ хотел нарисовать портрет Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой, создал Рудина по своему образу и подобию. Рудин Тургенева—наслушавшийся философского жаргона, молодой Бакунин.

„В Лондоне он говорил в 1862 году против нас почти то, что говорил в 1847 году против Белинского. Бакунин находил нас *умеренными*, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени поставит нас на путь истинный. В ожидании нашего обращения, Бакунин сгруппировал около себя целый круг Славян. Тут были чехи, от литератора Фрича до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке: Иоанович, Данилович, Петрович; были валахи, состоявшие в должности славян, с своим вечным *еско* на конце; наконец, был болгарин, лекарь в турецкой армии, и поляки всех епархий: Бонапартовской, Мерославской, Чарторыжской: демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком; социалисты, католики, анархисты, аристократы и просто солдаты; хотевшие где нибудь подраться, в северной или южной Америке.

„Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество. Он спорил, проповедывал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, оставшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от табачной золы и принимался писать пять, десять, пятнадцать писем: в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белую Криницу. Середь письма он бросал перо и приводил в порядок какого нибудь отсталого далмата и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать; это, впрочем, для него было облегчено тем что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его и все остальное, как гигантский рост, все было не по человеческим размерам, как и он сам; а сам он—исполин с львиной головой, со всклокоченной гривой.

„В пятьдесят лет он был решительно тот-же кочующий студент с Маросейки, тот-же бездомный Bohemien с Rue de Bourgogne, без забот о завтрашнем дне, пренебрегая

деньгами, бросая их. когда есть, занимая их без разбора на-право и на-лево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей, без заботы об уплате, *с той простотой, с которой он сам отдает всякому последние деньги, отделив от них, что следует, на сигареты и чай.* Его этот образ жизни не стеснял; он родился быть бродягой бездомником. В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан. Его личность, его эксцентрическое появление везде: в кругу московской молодежи, в аудитории берлинского университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Коссидьера, его речи в Праге, его начальствование в Дрездене, процесс, тюрьма, приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача его в Россию,—делают из него одну их тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история.

„В этом человеке лежал зародыш деятельности, на которую не было запроса. Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором трибуном, проповедником, главой партии, секты, ересиархом, бойцом. Поставьте его, куда хотите, только в *крайний край*: анабаптистом, якобинцем, товарищем Анахарсиса Клоотца, другом Гракха Бабефа.

„Когда в споре, Бакунин, увлекаясь с громом и треском обрушивал на голову противника облаву брани, которой бы ни никому не простили, Бакунину прощали, и я первый.

„Как он дошел до женитьбы, я могу об'яснить только сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи *родины*, т. е. студентской жизни в Москве: груды табаку лежали на столе в роде приготовленного фуража, зола сигар над бумагами с недопитыми стаканами чая; с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно в запуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словом, так как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством, хозяйской горничной Грасс, когда она глубокой ночью приносила горячую воду и пятую сахарницу сахара в эту наковальню славянского освобождения.

„Долго после от'езда Бакунина из Лондона, в № 10 Paddington Green, рассказывали об его житье-бытье, ниспровергнувшем все упроченные английскими мещанами поня-

тия и религиозно принятые ими размеры и формы. Заметьте при этом что горничная и хозяйка без ума любили Бакунина"

К этим отзывам двух знаменитых русских авторов мы прибавим несколько кратких отзывов о Бакунине социалистов Западной Европы.

Вот великий географ анархист Элизе Реклю, чья долгая трудовая жизнь была чиста как кристал, и кто по возвышенности и широте своих гуманитарных воззрений остается навсегда украшением человечества. Он знал Бакунина лично: знал его в Интернационале, знал лектором и публицистом. В небольшом предисловии к первому изданию „Бог и Государство" (Dieu et l'Etat), подписанном Э. Реклю и К. Кафиеро, мы читаем следующие строки:

„Друзья и враги признают, что он был велик мыслями волею, неизменною энергию; знают они и то, с каким глубоким пренебрежением относился он к богатству, к общественному положению, к славе... По родственным связям принадлежа к высшему дворянству, он один из первых примкнул к возмутившимся против классовых и расовых интересов и предубеждений, и отказавшимся от личных благ, вместе с ними он вел суровую битву жизни, с мрачною тюрьмою, изгнанием и страданиями—обычным уделом всех самоотверженных борцов...

„Среди учащейся молодежи, в России, среди инсургентов Дрездена, среди его братьев по изгнанию в Сибири в Америке, в Англии, во Франции, в Швейцарии, в Италии среди всех искренних людей, его непосредственное влияние было замечательно. Оригинальность его мысли, образность и увлекательность его красноречия, его неустанная энергия пропогандиста, вместе с его могущественной фигурой, полной неиссякаемой жизненности, оставили неизгладимое влияние среди революционеров повсюду... Переписка Бакунина была необыкновенно обширная. Он проводил бессонные ночи за письмами к друзьям и революционерам. Некоторые из этих писем о способах и задачах пропаганды, о планах подготовки заговоров и восстаний, разростались в целую книгу. Письма эти лучше всего об'ясняют удивительное влияние Бакунина на революционное движение своего века...

„Среди имен людей, принимавших участие в великой революционной борьбе обновления имя Бакунина, бесспорно занимает первое место".

Под этими строками, рядом с именем Э. Реклю, стоит имя итальянца Карло Кафиеро, отдавшего социалистическому движению свое большое состояние и свою служебную карьеру. Несколько раньше появления этих строк, по предложению Кафиеро и Кропоткина, анархисты-федералисты об'явили себя коммунистами.

А вот письмо к А. Герцену о Бакунине знаменитого историка Великой Революции Жюля Мишле. Письмо писано в 1855 г., когда Бакунин шестой год был заключен в казематах Шлиссельбурга:—

„Да будет вам известно, друг, что в моем доме, где я не имел еще счастия вас принимать, первое место с правой стороны моего семейного очага занято русским нашим Бакуниным. Образ дважды драгоценный, дважды трагический дважды близкий, нарисованный для меня рукой умирающей M-me Герцен.

„Священный образ, таинственный талисман, всегда оживляющий мой взор, наполняющий сердце мое жалостью мечтами, океаном мыслей. Он Восток, он Запад, он союз двух миров.

„Это Запад, это недрогнувшая шпага и мужественный воин, раньше всех очнувшийся, раньше *февральских дней* начертавший сталью на скрижалях „Reforme“, презрение, вызов на дуэль Бакуниным Николая (Речь о Польше).

„Это Восток, законное (lègitime) сопротивление Руси великой и святой самозванному правительству, угнетающему и растлевающему народ; это усилие для возвращения народа с пути макиавелизма, куда его тащит царизм, к его естественному призванию мирного посредника между Европой и Азией.

„Наконец, дорогой друг, этот портрет есть залог союза, прекрасное, великое воспоминание о самопожертвовании того, для кого родиной стала вселенная. Как известно, Россия угнетена немцами; но когда раздался древний германский клич: „Кто умрет с нами за свободу Германии?“— предстал русский, бросился в первые ряды, и ни одного немецкого патриота не было там раньше его. Когда Германия станет опять настоящей Германией, этому русскому (Бакунину) там воздвигнут алтарь“ *)

Алтаря в Германии Бакунину еще не воздвигали, но наш друг австриец доктор филологии Макс Неттлау воз-

---

*) См. статью Габриеля Моно в „La Revue“, 15 мая 1907.

двиг ему, „говоря стихами Пушкина, „Памятник нерукотворный“ в трех томной (in folio) громадной биографии. „Памятник“ Неттлау, в своем роде, единственное историко-литературное произведение. Не только жизнь и деятельность Бакунина были впервые описаны, но автор собрал документы, письма, газеты журналы, прокломации; перерыл все библиотеки столиц и университетских городов Западной Европы; списывался и лично виделся с людьми, знавшими Бакунина во Франции, в Италии, Швейцарии, Испании и других странах, и после многолетних неустанных исследований на всех языках не исключая, русского, польского и других славянских языков, Неттлау воскресил эпохи сороковых, шестидесятых и семидесятых годов с их социально-революционным движением. Об ученом достоинстве труда нашего друга немца можно судить по его „Bibliographie de l'Anarchie“ (1897 г.) Этот том в 300 страниц был приготовлен в несколько недель во время писания последнего тома биографии Бакунина.

Вот как ученый биограф-историк оценивает Бакунина в статье по поводу столетней годовщины рождения последнего („Freedom“. Июнь 1914 г.):—

„Он видел яснее всех предшествовавших социалистов тесную связь власти религиозной, политической и социальной, воплощенных в Государстве, с экономической эксплоатацией, и с гнетом. Поэтому Анархизм для него был необходимым базисом и самым существенным фактором настоящего социализма... Для него свобода умственная, личная и социальная не отделимы и Атеизм, Анархизм и Социализм являются органическим единством..... По моему мнению, пропаганда Бакуниным социализма всеоб'емлющего —явление единственное....

„Людей, опередивших свой век и прокладывающих новые пути грядущим поколениям, называют пророками и мечтателями, мыслителями и революционерами, но между всеми борцами за свободу и за социальное счастье для всех Бакунин полнее всех совмещал в своей деятельности все поименованные качества... Никто не обладал ему подобным великим дарованием вливать в один революционный поток различные течения революционной мысли, ни пламенным стремлением вызывать коллективное движение. Дарование это и составляло самую чарующую черту характера Бакунина“.

Другой немец, только не ученый, не социалист и не анархист, а просто честный человек и музыкант — бывший директор Консерватории в Берне, А. Рейхель—оставил нам трогательную характеристику*). Рейхель познакомился с молодым Бакуниным в 1842 году. С самой первой встречи у них установилась дружба на всю жизнь:—

„Михаил скоро с'умел силой своей увлекательной речи завоевать мою симпатию и симпатию моей старшей сестры". Симпатия не замедлила превратиться в дружбу. „Эта дружба была основана на чистоте идеи, которой Бакунин руководился в своих политических делах, а я в музыкальных". Рассказав в кратких словах их путешествие, совместную жизнь в Париже, участие Бакунина в революции 1848 г., его процесс, заключение, ссылку, Рейхель останавливается на их встречах в последние годы жизни своего друга, и вспоминает:

„Я помню, как в прежнее время я спрашивал его в виде возражения, что он намерен делать, если бы исполнились все его реформаторские планы? Он отвечал мне: „Тогда я все опрокину! А ты играй, милый друг, и не рассуждай! Ты знаешь не хуже меня, что перед вечностью все тщетно и ничтожно". И после этого он мог совершенно погрузиться в музыку, которая не допускала никакого вопроса и не требовала ответов. Он имел такую верную память, что после нашей долгой разлуки мог напомнить мне мелодии, о которых я давно забыл. Он утверждал, что часто в тюремном уединении, эти мелодии утешали его и оживляли. И как музыкальные впечатления оставались верно в его памяти, так же неизменно удерживал он отношения с людьми связанными с ним дружбой; и они тоже в разлуке с ним сохранили к нему любовь и привязанность".

О музыкальности Бакунина говорит и Джемс Гильом; слышал я об этом и от Турского и от других русских эмигрантов. По словам Рейхеля, „...Он мог слушать музыку по целым часам; произведения Бетховена производили на него самое сильное впечатление... В вечер своего последнего приезда из Лугано, он пришел ко мне развлечься музыкой и только, когда усилившая боль схватила его внезапно, он вскрикнул: „довольно, не могу больше!" И мне пришлось

*) В анархическом журнале „La Révolte" в приложениях 25 ноября и 2 декабря 1893 г. Приведено у Драгоманова и у Балашева.

проводить его в больницу, из которой не суждено было ему выйти".

Заканчивает Рейхель свои воспоминания следующими трогательными словами: „Я желаю, чтобы сведения об его жизни были написаны с талантом и свободны от партийности... чтобы было указано значение его стремления к общему благу и к правде, для которых страдал всегда восторженный Бакунин".

О Михаиле Александровиче Бакунине создалась целая литература на всех европейских языках. Кроме капитального труда доктора М. Неттлау, прекрасный биографический очерк дан Джемсом Гильомом во втором томе „Œuvres". Хороший очерк дан Альбертом Франсуа в его „Michel Bakounine et la Philosophie de l'Anarchie", которым пользовался Людвиг Кульчицкий при составлении своей добросовестной брошюры „М. А. Бакунин, его идеи и деятельность". Недурен очерк Гюбера Лагарделя „Bakounine. Conférence. 24 Janvier 1908". Симпатичны, хотя слабы фактически, очерки итальянцев Андреа Коста, Дж. Доманико, Молинари, Турати.

На русском языке, кроме очерка А. И. Герцена, существует биография Бакунина, составленная, с явным желанием дискредитировать великого революционера, М. Драгомановым*). К сожалению, эта биография, правда, с указанием на враждебность, была перепечатана в издании сочинений Бакунина Балашевым (1906 г.). Покойный В. Богучарский, в своем труде „Активное Народничество семидесятых годов", дал, хотя и беглый, но чрезвычайно добросовестный очерк жизни и деятельности Бакунина. Автор, согласно с трудами Неттлау, Гильома и Герцена, превосходно разбивает гнусные, черные клеветы Маркса, Энгельса, Либкнехта-отца и других социал-демократов против Бакунина (см. страницы 63—100).

* * *

Жизнь Бакунина распадается на четыре резко отличавшихся периода:

Бакунин идеалист и гегельянец в Москве с 1835 по 1840;

*) Самая поразительная нелепость у Драгоманова—печатание возмутительного Катехизиса Нечаева среди писем и статей Бакунина под предлогом, что дикие измышления несчастного и мало образованного Нечаева напоминают Бакунина!

Идеалист революционер в Западной Европе с 1842 по 1848;

Узник в цепях в Саксонии, в Австрии, в Шлиссельбурге с 1849 по 1856, а потом в ссылке в Сибири до июля 1861 г., когда он бежал, через Японию и С.-Штаты, в Англию;

Четвертый и последний период—Бакунин материалист, эволюционист и анархист-революционер, деятельный интернационалист вплоть до смерти—1-го июля 1876 года.

Каждый из этих периодов жизни Бакунина имел свое историческое значение. Юношей двадцати-одного года, он примыкает в Москве к кружку Станкевича, сыгравшего такую важную роль в истории умственного развития русского общества в тридцатых и сороковых годов. Достаточно напомнить, что пылкому и благородному литературному критику Белинскому — „неистовому Виссариону" кружка — немецкую метафизику, а в особенности метафизику Гегеля переводил и толковал Бакунин. Даровитые, идеально чистые молодые философы, под влиянием все оправдывающей формулы Гегеля „все существующее разумно" было погрязли в глубочайшую политическую реакцию. Не войди в их среду естественник Герцен, воспитанный на французских энциклопедистах, кто знает что бы с ним стало? Материалист и политический радикал, Герцен бросил им вызов, и бой закипел. Вот рассказ Герцена о том:

„Знаете ли, что с вашей точки зрения, сказал я (Белинскому), думая поразить его моим революционным ультиматумом, вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.

— „Без всякого сомнения, отвечал Белинский, и прочел мне *Бородинскую годовщину* Пушкина.

„Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других; круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, об'яснить, *заговорить*, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас залп в статье, которую так и назвал „Бородинской годовщиной".

„Я прервал с ним все сношения. Бакунин, хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и по-

читателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми".

Известно, как влияние Герцена восторжествовало над Белинским и над Бакуниным, уехавшим в 1840 г. в Берлин для окончания философского образования. Толчек, данный Герценом, пробудил в Бакунине дремавшего революционера, и через два года появляется в Deutsche Jahrbücher Арнольда Руге (1842 г.) его знаменитая статья „Реакция в Германии" под псевдонимом француза Жюля Элизара. Заканчивалась статья фразою, ставшей знаменитой, особенно ее вторая часть. „Доверимся", гласит фраза, „вечному духу, он разрушает и уничтожает, потому что он неизмеримый источник и вечный творец жизни. Желание разрушения есть в то же время желание созидательное".

Статья сразу сделала популярным Бакунина среди радикальной и революционной молодежи. У него завязываются связи и дружба с революционным поэтом Гервегом, с Руге, с братьями Фогт, с коммунистами Вейтлинга, с музыкантом Рейхелем и другими в Германии и Швейцарии. В 1844 г. русское правительство начало свои первые преследования Бакунина и он должен был уехать из Швейцарии в Париж, куда он направился через Брюссель, где, проездом, сразу сблизился с знаменитым польским историком изгнанником Лелевелем и другими поляками.

В Париже он встретил своих друзей Гервега и Руге, через которых он вошел в радикально-социалистические круги. Прудон и Жорж Занд, Флокон и Ледрю Роллен, Рейхель и Шопен, поляки-изгнанники, социалисты всех национальностей, и между ними Маркс, составляли тот обширный круг, в котором вращался и быстро стал вырабатываться Бакунин социалист, революционер и федералист с оттенками анархизма. Особенно близок он был с Прудоном, с которым, как с Белинским в Москве, он просиживал целые ночи в спорах и толкованиях диалектики. Париж в эти годы (1845—48) был очагом социалистической, революционной и республиканской агитации. Тем, другим и третьим увлекся и жил молодой, пылкий и красноречивый Бакунин. Когда представился случай, 29 ноября 1847 г., он произнес блестящую речь в которой уже нет и следа немецкой метафизики, уступившей место ясному и точному мышлению французскому.

За эту речь Бакунин был изгнан из Франции. Но через три месяца разыгралась Февральская революция и изгнанник возвратился из Брюсселя, а что он делал в Париже —мы видели выше (см. слова Герцена, стр. 12). Однако, Бакунин не долго оставался в Париже. Революционное брожение охватывало и Германию с Австрией, где Венгрия быстро приближалась к революции, а чехи и другие славяне заговорили о национальных правах. Бакунин поехал через Берлин в Познань, откуда он пробрался в Прагу. Он играл видную роль на славянском с'езде и в Пражском восстании, но за быстрым подавлением последнего, он возвратился в Германию, где, скрываясь от преследований, он издал ниже приводимые воззвания к славянам.

В начале 1849 г, Бакунин находился в Лейпциге. Саксонский король отказался ввести новую германскую конституцию Франкфуртского парламента, вследствие чего, в мае месяце, вспыхнула революция в Дрездене. Здесь Бакунин покрыл себя славою, предводительствуя при защите города от прусских войск. Город продержался всего пять дней: предводители восстания принуждены были оставить Дрезден, и Бакунин вместе с композитором Рихардом Вагнером и с Гейбнером направились в Хемниц, где Вагнеру удалось скрыться у своей сестры, а Бакунина с Гейбнером арестовали. С этого момента начались долгие годы тюремного заключения в цепях, с прикованием к стене... В письме к Герцену из Сибири (декабрь 1860) Бакунин сам рассказал об этих годах следующее:

„Я намерен вскоре послать вам подробный журнал моих faits et gestes со времени нашей последней разлуки в Avenue Marigny, а теперь скажу только несколько слов о своем настоящем положении. Просидев год в Саксонии, сначала в Дрездене, потом в Königstein, около года в Праге, около пяти месяцев в Ольмюце и прикованный к стене, — я был перевезен в Россию; в Германии и Австрии мои ответы на допросы были весьма коротки: „Принципы вы мои знаете, я их не таил и высказывал громко; я желал единства демократизованной Германии, освобождения Славян, разрушения всех насильственно сплоченных царств, прежде всего разрушения Австрийской Империи;—я взят с оружием в руках—довольно вам данных, чтоб судить меня. Больше же ни на какие вопросы я вам отвечать не стану“. В 1851 году в мае я был перевезен в Россию, прямо в Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин, — где я просидел

3 года. Месяца два по моем прибытии, явился ко мне граф Орлов от имени государя: „Государь прислал меня к вам и приказал вам сказать: скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному отцу, — хотите вы писать?“ Я подумал немного и размыслил, что перед jury, при открытом судопроизводстве, я должен бы был выдержать роль до конца. Но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился—и написал в самом деле род исповеди, нечто в роде Dichtung und Wahrheit—действия мои были, впрочем, так открыты, что мне скрывать было нечего. —Поблагодарив Государя в приличных выражениях за снисходительное внимание, я прибавил:—„Государь, вы хотите, чтоб я вам написал свою исповедь, хорошо, я напишу ее; но вам известно, что на духу никто не должен каяться в чужих грехах. После моего кораблекрушения у меня осталось только одно сокровище, честь и сознание, что я не изменил никому из доверившихся мне, и потому я никого называть не стану“. После этого, à quelques exceptions pres, я рассказал Николаю всю свою жизнь за границею, со всеми замыслами, впечатлениями и чувствами, при чем не обошлось для него без многих поучительных замечаний на счет его внутренней и внешней политики. Письмо мое, рассчитанное, во-первых, на ясность моего повидимому безвыходного положения, с другой же на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело и именно потому ему очень понравилось.— За что я ему действительно благодарен, это, — что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал. — Просидев три года в Петропавловской, я при начале войны в 1854 году был переведен в Шлиссельбург, где просидел еще три года. У меня открылась цынготная и повыпали все зубы. Страшная вещь пожизненное заключение: влачить жизнь без цели, без надежды, без интереса. Каждый день говорить себе: „сегодня я поглупел, а завтра буду еще глупее“. С страшной зубною болью, продолжавшеюся по неделям и возвращавшеюся по крайней мере, по два раза в месяц, не спать ни дней, ни ночей,—чтобы ни делал, чтобы ни читал, даже во время сна чувствовать какое то неспокойное ворочание в сердце и в печени с sentiment fixe: я раб, я мертвец, я труп. Однако, я не упадал духом: еслиб во мне оставалась религия, то она окончательно рушилась бы в крепости. — Я одного только желал: не примириться, не резинироваться, не изме-

ниться, не унизиться до того, чтобы искать утешения в каком бы то ни было обмане,—сохранить до конца в целости святое чувство бунта. Николай умер, я стал живее надеяться. Наступила коронация, амнистия. Александр Николаевич собственноручно вычеркнул меня из поданного ему списка, и когда спустя месяц мать моя молила его о моем прощении, он ей сказал: „Sachez, Madame, que tant que votre fils vivra, Il ne pourra jamais être libre“. После чего я заключил с приехавшим ко мне братом Алексеем условие, по которому я обязывался ждать терпеливо еще месяц, по прошествии которого, еслиб я не получил свободы, он обещал привезть мне яду. Но прошел месяц,—я получил об'явление, что могу выбрать между крепостью или ссылкою на поселение в Сибирь. Разумеется, я выбрал последнее. Не легко досталось моим освобождение меня из крепости; Государь с упорством барана отбил несколько приступов: раз вышел он к князю Горчакову (министру иностранных дел) с письмом в руках (именно тем письмом, которое в 1851 г. я написал Николаю) и сказал: „mais je ne vois pas le moindre repentir dans cette lettre“—дурак хотел repentir! Наконец, в марте 1857 года я вышел из Шлиссельбурга, пробыв неделю в 3-м Отделении, и по Высочайшему соизволению сутки у своих в деревне, а в апреле был привезен в Томск. Там я прожил около двух лет, познакомился с милым польским семейством, отец которого Ксаверий Васильевич Квятковский служит по золотопромышленности. В версте от города, на даче, или как говорится в Сибири, на заимке Астангово жили они в маленьком домике тихо и по старосветски. Туда стал я ходить всякий день, и предложил учить французскому языку и другому двух дочерей, сдружился с моею женою, приобрел ее полную доверенность,—я полюбил ее страстно, она меня также полюбила,—таким образом я женился и вот уже два года женат и вполне счастлив. Хорошо жить не для себя, а для другого, особенно если этот другой милая женщина, —я отдался ей весь, она же разделяет и сердцем и мыслью все мои стремления. Она полька, но не католичка по убеждениям, поэтому свободна также и от политического фанатизма, она славянская патриотка. Генерал-Губернатор Западной Сибири, Гасфорд, без моего ведома, выхлопотал мне высочайшее соизволение на вступление в гражданскую службу,—первый шаг к освобождению из Сибири, но я не мог решиться воспользоваться им—мне казалось, что надев кокарду, я потеряю свою чистоту и невинность: хлопотал

же я о переселении в Восточную Сибирь и наконец выхлопотал; боялись для меня симпатии Муравьева, который приезжал в Томск отыскать меня и явно, публично высказал мне свое уважение. Долго не соглашались, наконец согласились. В марте 1859 г. я переселился в Иркутск...“

* *
*

Ко времени побега Бакунина из Сибири, европейская реакция, следовавшая за разбитой революцией 1848 г. была изжита: на Западе, особенно во Франции и Англии, рабочее движение развилось, вопреки всем усилиям реакции, и стало принимать международный характер (Интернационал был задуман рабочими французами и англичанами в 1862 г.). А в России, впервые в истории ее внутренней жизни появилась социально-революционная демократия, известная под кличкою „нигилизма“. Интернационал окончательно сложился только к концу 1866 г., а через год — в июле 1868 — Бакунин вступил членом великой Ассоциации и не замедлил проявить свою обычную энергию публициста, оратора, лектора. Как Бакунин понимал цели и приемы международного социально-революционного движения рабочего класса — можно судить по ниже печатаемым статьям „Политика Интернационала“ и „К товарищам“.

Относительно распадения Интернационала, интриг и клевет Маркса против Бакунина и Джемса Гильома, их чудовищно глупого изгнания из Ассоциации и распадения последней, поговорим ниже. А теперь обратимся к русскому революционному движению шестидесятых годов.

Великое, идеально-чистое и героическое движение в народ охватившее русскую молодежь в 70-х годах, зародилось и развивалось все предшествовавшее десятилетие. Народничество 60-х годов распадалось на два направления: культурно-легальное и революционное, но и то и другое черпало свои идеи из Герцена, Добролюбова, Чернышевского и других авторов того же направления. На революционную часть, в частности, особенно повлияли прокламация М. Л. Михайлова „К Молодому Поколению“, прокламация „Молодая Россия“, с кличем: „Да здравствует социальная и демократическая республика русская“! и брошюра Бакунина „Народное Дело“, изданное в Лондоне в 1862 г. и призывавшая молодое поколение идти в народ.

О сближении образованного общества с народом, о служении его интересам, о задачах молодого поколения в деле народного образования, народной медицины, артелей, кооперативного кредита и прочих видов хождения и сближения с народом говорили все, и культурники, и революционеры; в большинстве случаев, они даже и работали вместе: —разделение между двумя течениями тогда еще не произошло; по этому мы и видим, что с „каракозовцами“ были в самом тесном сотрудничестве такие кроткие и мирные друзья народа, как покойный Христофоров, устроитель рабочих артелей в Саратове, и мировые посредники Бибиков и Маликов, через которых „каракозовцы“ думали устроить артельную вагранку в Калужской губ. Тоже повторилось и в Нечаевском деле, когда рядом с действительными социалистами революционерами Успенским, Ткачевым и еще с пятью, шестью их друзьями, на скамьях подсудимых сидели десятки невинных, мирных культурников друзей народа. Но выработка типа народника революционера совершалась беспрерывно и вырабатывался он согласно основным положениям брошюры Бакунина и прокламации „Молодая Россия“. Обе звали к социальной революции, обе требовали автономию общин, областей и национальностей со свободной их федерацией. Но прокламация предлагала революцию несколько якобинскую, тогда как Бакунин звал молодежь в народ.

„Теперь главную роль в нем (в движении) будет играть народ, говорил Бакунин. Он есть главная цель и единая, настоящая сила всего движения. Молодежь понимает, что жить вне народа становится делом невозможным, и что кто хочет жить, должен жить для него. В нем одном жизнь и будущность, вне его мертвый мир. ...И если будущность для нас существует, так только в народе. Ей (молодежи) предстоит подвиг... очистительный подвиг сближения и примирения с народом“.

А что же предлагал он революционерам? „...станем под знаменем „*Народного Дела*“. За тем по пунктам перечислялись требования революционеров: вся земля собственность целого народа; самоуправление местное, областное, государственное; восстановление полной свободы Польше, Литве, Украйне, Финам, Латышам и Кавказу; добровольный федеративный союз с названными народностями, и проч.

Благодаря такой постановке революционного дела, молодежь всех национальностей приняла активное участие с

самого начала движения (1861—62). Но вскоре движение приостановилось. Преследование конституционного движения и студенчества, арест и ссылка Михайлова, арест Чернышевского и закрытие „Современника“, надвигавшаяся и вскоре разразившаяся польская революция... все это разом отбросило в реакцию либералов поколения отцов, и мы молодое поколение, принуждены были замкнуться в тайные, изолированные кружки. Мы пережили тогда не только враждебность к нам либералов, но даже с нашим идолом Герценом возникли недоразумения, и в довершение всех бед, Бакунин, увлеченный польской революцией, а потом итальянским движением, совершенно оставил русские дела. Вплоть до лета 1868 года, в кружках Москвы и Петербурга регулярных сношений с эмиграцией не было.

Уйдя в „подполье“, молодое народничество не только оставалось верно выше приведенным призывам и заветам, но действительно начало сближаться с рабочими, заводя артели (Москва, Саратов, Харьков, Нижний), при чем интеллигенция, женщины и мужчины, сами работали, чтобы вести пропаганду. Московская группа, известная под именем Каракозовцев, была особенно активна, имея связи с Петербургом, с Поволжьем и во внутренних губерниях.

Вот в этот начальный период (1864—65) и стало вырабатываться воззрение, столь скандализировавшее либералов, и за которое так нападали на непричастного Бакунина, только одобрившего, спустя пять лет, воззрение, по которому убежденному и последовательному социалисту-народнику нельзя заедать чужого хлеба, жить жизнью привилегированного общества на труде обездоленного крестьянства. Какая разница с точки зрения производителя между нами, только болтающими о грядущем, и нашими отцами, жившими трудом крепостных?—Никакой, был ответ. Одинаково социальные паразиты. Выход из этого положения представляется двоякий: либо, отказавшись от всех привилегий, уехать в С.-Штаты, в страну Линкольна и великой демократии, и там зажить трудовою жизнью свободного гражданина; либо же в самой России слиться с жизнью производителя, т. е., с народом, и повести в нем пропаганду социализма и революции. На такое дело достаточно и образования среднего с начитанностью по социализму, по истории революционных движений и современной борьбы рабочего класса во Франции и в Англии.

Но всего этого „*казенная*“ наука наших университетов не дает. Побросаем их. К черту „казенную“ науку.

Вот за это отрицание казенной науки и за решение идти на практическую работу пропагандиста социальной революции народившееся народничество и крестили прозвищами нигилистов, невежд и проч. Либеральным болтунам, нападавшим на нас, часто даже, будто бы, ради социализма, которого мы, народники, по их словам, не понимали да и народ не поймет, мы отвечали почти дословно*) следующее:

Проповедь социальной справедливости необходима в теории только для людей из привилегированных классов, а для народа эта справедливость является в конкретных и в близких ему требованиях. Самый забитый и безграмотный мужик благословит нас

за отмену солдатчины,
за отмену податей,
за изгнание полиции и бюрократии всех видов,
за передачу земли народу,
за даровое и научно-ремесленное воспитание его детей,
за даровую медицинскую помощь во всех видах.

Так думала и говорила молодежь конца шестидесятых годов. Легко теперь понять, с какою радостью приветствовали мы программу Бакунина и весь первый номер его журнала „Народное Дело“ (1868). Получив один экземпляр в Петербурге, мы целый месяц сентябрь переписывали и распространяли его; рассылали в Москву и в провинцию. Мы нашли, наконец, в печати ясно формулированными наши мысли наши заветные стремления.

Отсюда и вновь расцветшая широкая популярность Бакунина, единственного из поколения отцов, ставшего на защиту революционного народничества и хождения в народ. Он стал властителем дум, он вдохновил на великий подвиг самое героическое поколение России—поколение семидесятых годов. В этом его бессмертная историческая заслуга.

Теперь, по обнародовании переписки Бакунина с Герценом, мы знаем что его выступление в 1868 году было не случайное, а глубоко продуманный акт убежденного революционера. Оказывается, что, совершенно отрезанный от русского движения, поглощенный социалистической пропагандой в Италии, в сотрудничестве с Фанелли, Фрисчиа и других, он, по отрывочным сведениям, по отдельным фактам,

---

*) Любимая аргументация Ишутина.

угадывал настоящий характер движения, так называемого нигилизма, от которого даже смелый, блестящий и проницательный Герцен готов был отворотиться.

В замечательном письме к Герцену и Огареву, помеченном 19 июля 1866; Ischia, он между прочим писал:

„Согласный с вами в том, что для успеха дела надо огородить его от всего постороннего и лишнего и предаться ему исключительно, я занимался только им и абстрагировал себя от всего прочего. Таким образом, я разошелся с вами, если не в цели, так в методе—а вы знаете: la forme entraine toujours le fond avec elle... Ваш настоящий путь мне стал непонятен, полемизировать с вами мне не хотелось, а согласиться не мог. Я просто не понимаю ваших писем к Государю, ни цели ни пользы,—вижу в них, напротив, тот вред, что они могут породить в неопытных умах мысль, что от государства вообще, и особенно от Всероссийского Государства и от представляющего его правительства и государя можно ожидать еще чего нибудь доброго для народа. По моему убеждению, напротив, делая пакости, гадости зло, они делают свое дело...

„Пестель смело провозглашал разрушение Империи, вольную федерацию и социальную революцию. Он был смелее вас, потому что не оробел перед яростными криками друзей и товарищей по заговору, благородных, но слепых членов северной организации. Вы же испугались и отступились перед искусственным, подкупленным воплем московских и петербургских журналистов, поддерживаемых гнусною массою плантаторов и нравственно обанкрутившимся большинством учеников Белинского и Грановского твоих учеников, Герцен, большинством старой гуманно-эстетизирующей братии, книжный идеализм, который не выдержал, увы, напора грязной, казенной русской действительности. Ты оказался слаб, Герцен, перед этой изменой, которую твой светлый проницательный, строго-логичный ум непременно предвидел бы, еслиб не затемнила его сердечная слабость. Ты до сих пор не можешь справиться с нею, забыться, утешиться. В твоем голосе слышится до сих пор оскорбленная, раздраженная грусть... ты все говоришь с ними, усовещиваешь их, точно также как усовещиваешь Императора, вместо того, чтоб плюнуть один раз навсегда на всю свою старую публику и, обернувшись к ней спиною, *обратиться к публике новой, молодой*, едино-способной понять тебя искренно, широко и с волею дела. Таким образом ты от из-

лишней нежности к своим многогрешным старикам изменяешь своему долгу. Ты только занимаешься ими, говоришь, уменьшаешь себя для них, и утешая себя мыслью, „что худшее время мы пережили и что скоро на ваш звон снова явятся блудные дети ваши с седыми волосами и совсем без волос из патриотического стада“... (1-го декабря, стр. 1710), а ты до тех пор, „ради успеха практической пропаганды“, обрекаешь себя на трудную, неблагодарную обязанность „быть по плечу своему (печальному) хору, всегда шагом вперед, и никогда двумя“. Я право не понимаю, что значит идти одним шагом впереди перед поклонниками Каткова, Скарятина, Муравьева,—даже перед сторонниками Милютиных, Самариных, Аксаковых? Мне кажется, что между тобой или ими разница не только количественная, но качественная, что между вами ничего общего нет и быть не должно. Они, прежде всего, оставив в стороне их личные и сословные интересы, могущество которых тянет их, впрочем, неотразимо в противный нам лагерь,—они патриоты государственники, ты социалист, поэтому, ради последовательности, должен быть врагом вообще всякого государства, несовместного с действительным, вольным, широким развитием социальных интересов народов. Они, кроме себя и своих интересов, готовы пожертвовать всем человечеством, и правдою, и правом, и волею и благосостоянием народа для поддержания, для подкрепления и для расширения государственной силы,— ты, как искренний социалист, без сомнения готов жертвовать и жизнью и состоянием для разрушения того же самого государства, существование которого несовместимо ни с волею, ни с благосостоянием народа...

„Вы помните, я и тогда не верил*), чтобы из среды дворянского сословия могла подняться сила, способная потрясти или только ограничить самодержавие. Вспомните наши споры против Л—а. Как часто мы против него вместе отрицали дворянскую самостоятельность и защищали неумытых семинаристов и нигилистов, *эту единственную свежую силу вне народа*. Однако, тогда было еще в дворянстве громкое движущее меньшинство—тверское дворянство шло впереди, требуя уравнения всех прав и земского собора. Огарев сочинил даже проэкт дворянского адреса к царю. Дворянство еще не успело выказать всей таившейся в нем подлости. То было время нелепых надежд... Мы все говорили, писали

*) В 1862 г.

в виду возможности земского собора... и делали, я, по крайней мере, делал уступки не по содержанию, а в форме, чтобы только не помешать, в сущности невозможному, созванию земского собора. Каюсь и вполне сознаю, что никогда не следовало отступать ни содержанием, ни формою от определенной и ясной социально революционной программы. Знаю, вам ненавистно слово „революция", но чтож делать, друзья, без революции ни для вас, ни для кого нет ни шагу вперед. Вы во имя вашей практичности составили себе невозможную теорию о перевороте социальном без политического переворота, теория столь же невозможная в настоящее время, как революция политическая без социальной; оба переворота идут рука об руку и в сущности составляют одно...

„Мне кажется, что со времени основания московского государства, после убийства народной жизни в Новгороде и в Киеве, после подавления Стеньки Разинского и Пугачевского бунта, в нашем несчастном и опозоренном отечестве правильна и действительна только одна реакция; — то что в истории других европейских стран было только перемежающимся фактом, то у нас составляет факт непрестанный и беспрерывный: то есть, отрицание всего человеческого, жизни, права, воли каждого человека и целых народов, во имя и в единую пользу государства. Разве восторжествовавшее царство штыка и кнута и покорение всякой народной жизни под ним не есть правильная, действительная, необходимая и вместе с тем самая страшная реакция, когда либо существовавшая в мире?...

„Думаю, что первая обязанность нас русских изгнанцев, принужденных жить и действовать за-границей.—это провозглашать громко *необходимость разрушения этой гнусной империи.* Это должно быть первым словом нашей программы. Такое провозглашение было бы непрактично, скажете вы... Против нас подымется всероссийская помещичья, литературная, оффициальная буря. Будут ругать,— тем лучше; теперь о нас все замолчали и обернулись к нам спиною,—тем хуже. Царь перестанет читать твои письма, — беды нет, ты перестанешь писать их,—выигрыш ясный. Старые лысые друзья от тебя окончательно оттолкнутся и потеряется всякая надежда на их исправление,— чтож, разве ты действительно веришь, Герцен, в возможность и в пользу их исправления? Мне кажется, что между тобою и ими, даже в лучшее время, существовало всегда большое недоразумение...

„Вы приняли литературно-помещичий вопль за выражение народного чувства и оробели—оттуда перемена фронта, кокетничание с лысыми друзьями-изменниками и новые послания к Государю... и статьи в роде 1-го Мая нынешнего года, — статьи, которой я ни за что в мире не согласился бы подписать; ни за что в мире я не бросил бы в Каракозова камня и не назвал бы его печатно „фанатиком или озлобленным человеком из дворян“, в то самое время, когда вся подлая лакейская дворяно — и литературно-чиновничья Русь его ругает и ругая его, надеется выслужиться перед царем и начальством,—в то время, как в Москве и в Петербурге наши лысые друзья с восторгом говорят; „ну, уж Михаил Николаевич его пытнет“, и когда он выносит все Муравьевские истязания с изумительным мужеством. Ни в каком случае мы здесь не правы судить его, ничего не зная о нем, ни о причинах, побудивших его к известному поступку. Я также, как и ты, не ожидаю ни малейшей пользы от цареубийства в России, готов даже согласиться, что оно положительно вредно, возбуждая в пользу царя временную реакцию, но не удивляюсь отнюдь, что не все разделяют это мнение и что под тягостью настоящего, невыносимого, говорят, положения, нашелся человек менее философски развитой, но за то и более энергичный, чем мы, который, подумал, что гордиев узел можно разрезать одним ударом, и я искренно уважаю его за то, что он подумал так, и совершил свое дело. Не смотря на теоретический промах его, мы не можем отказать ему в своем уважении и должны признать его „*нашим*“ перед гнусной толпой лакействующих царепоклонников....

„В чем же должно состоять новое направление? А прежде всего определить, к кому вы должны обращаться? Где ваша публика? Народ не читает, следовательно, вам действовать прямо на народ из-заграницы невозможно. Вы должны руководить тех, которых своими практическими уступками и своим обращением, то к правительству, то к лысым друзьям-изменникам систематически от себя удаляли. И прежде всего вы должны отказаться от всякого притязания, надежды и намерения влиять на настоящий ход дел, на государя, на правительство. Там вас никто не слушает, пожалуй, над вами смеются; там все знают, куда они идут и чего им надо, знают также, что Всероссийское государство кроме петербургских целей и средств, другими существовать не может. Обращаясь к этому миру, вы только теряете

драгоценное время и компрометируетесь по пустому. Ищите публики новой, в молодежи, в недоученных учениках Чернышевского и Добролюбова, в Базаровых, в нигилистах — *в них жизнь, в них энергия, в них честная и сильная воля.* Только не кормите их полусветом, полуистиною, недомолвками. Да встаньте опять на кафедру и, отказавшись от мнимой и, право, бессмысленной тактичности, валяйте все, что сами думаете, сплеча и не заботьтесь больше о том, сколькими шагами вы опередили свою публику. Не бойтесь, она от вас не отстанет и в случае нужды, когда вы будете уставать, подтолкнет вас вперед. *Эта публика сильна, молода, энергична,—ей надо полного света и не испугаете вы ее никакою истиною.* Проповедуйте вы ей практическую осмотрительность, осторожность, но давайте ей всю истину, дабы она при свете этой истины могла бы узнать, куда идти и куда вести народ. Развяжите себя, освободите себя от старческой боязни и от старческих соображений, от всех фланговых движений, от тактики и от практики“...

Осенью 1867 г. Бакунин переселился в Швейцарию, где и провел последние годы своей жизни, проживая, то в Женеве и Веве, то в Локарно. Он приехал на конгресс Лиги Мира и Свободы. Лига была задумана радикальной и частью социально-революционной детократиею с участием Гарибальди, Эдгарда Кине, Элизе Реклю, самого Бакунина и других знаменитостей того времени. Конгрес Лиги привлек внимание и симпатию передовой демократии всего мира: надеялись на всеобщее разоружение, на прогрессивное законодательство о труде и проч. Бакунин был избран в Комитет Лиги для окончательной выработки программы и устава. Печатаемое ниже „Мотивированное Предложение“ (Федерализм, Социализм и Антитеологизм) было написано для второго конгресса Лиги в Берне, в 1868 г.

Одновременно с женевским конгрессом Лиги, в 1867 г., заседал в Лозанне второй конгресс Международной Ассоциации Рабочих (Интернационал). Единогласным решением конгресс постановил послать Лиге адрес симпатии и солидарности с выражением готовности содействия ей в деле уничтожения постоянных армий, водворения постоянного мира и освобождения рабочих классов. Делегаты Интернационала Оджер, Кремер, Джемс Гильом, Цезарь де Пап и другие были в восторге от речи Бакунина, выступившего, согласно выше приведенной выдержке из письма к Герцену, „чистым социалистом“. Да и сам великий сын народа и воин

свободы, Гарибальди, принимая делегатов Интернационала, провозгласил: „Война всем трем тираниям — политической, религиозной и социальной. Ваши принципы, господа, тоже и мои“. Казалось, что радикальная демократия, по крайней мере передовое меньшинство, пойдет рука в руку с рабочим классом и Лига Мира и Свободы будет в братском союзе с Интернационалом.

Но уже на следующем конгрессе Лиги в Берне (1868) Бакунин и социалистическое меньшинство были вынуждены покинуть ее. Между покинувшими были: Элизе Реклю, Шарль Келлер*), Аристид Рей, Жаклар, Фанелли, Фрисчиа, Николай Жуковский и другие. Они немедленно основали L'Alliance Internationale de la démocratie socialiste. Декларацию принципов нового общества написал Бакунин. Декларация эта, почти дословно, появилась одновременно и по-русски. ввиде программы журнала „Народное Дело“, которую читатель найдет в конце этого тома**). Организаторы Альянса, люди прекрасной политической репутации, не замедлили об'единить, особенно во Франции, в Испании и в Италии, ряд замечательных молодых социалистов революционеров.

Бакунин, лично вступивший в Интернационал, предложил Генеральному Совету последнего принять и весь Альянс в целом составе и с его собственной программой. Генеральный Совет предложил распустить Альянс, а членов его, отдельно каждого, согласился принять в Ассоциацию. Став членами Интернационала, Бакунин и его друзья, а особенно Фанелли и Фрисчиа, проявили большую активность пропагандистов и организаторов. За короткое время возникли секции и федерации в Италии и в Испании. А в Швейцарии сам Бакунин был неутомим: читал лекции, участвовал в изданиях Интернационала, вел обширную переписку, не пропускал собраний рабочих. Его пропаганда социализма безгосударственного, основанного на свободной ассоциации и на добровольной федерации, встретила горячую симпатию среди самых образованных, талантливых и энергичных интернационалистов. Верлен, Реклю, Малон, Пенди, де Пап, Робен, Бриеме, Джемс Гильом, Швицгебель, Перон, Келлер... словом, все те, кто прославились докладами и дебатами на конгрессах и в Парижской Коммуне 1871 г., были с Бакуниным.

---

*) Автор известной песни Интернационала „Ouvrier, prends la machine, prends la terre paysan!“

**) См. Избр. соч. Бакунина том III издание Голос Труда.

Но успех Бакунина и его друзей с безгосударственным социализмом, встревожил государственников, особенно немцев с Марксом, Энгельсом и Либкнехтом-отцом во главе. Хотя немцев в Интернационале было мало, тем не менее случилось так, что генеральный совет великой ассоциации, заседавший в Лондоне, очутился в руках немцев, собственно говоря, Маркса и Энгельса и нескольких малообразованных стариков, немецких рабочих, уцелевших от 1848 года, и послушных орудий в руках Маркса и Энгельса. Господа эти, как мы сейчас увидим, мечтали стать диктаторами международного движения и направить последнее на легальный парламентаризм. Естественно, Бакунин и его революционные друзья были им поперек дороги. Стало настоятельною необходимостью отделаться от них, удалить их из Интернационала. Они и добились своего... Но какими возмутительными средствами и какою страшною ценою!.. Разбили великую ассоциацию и опозорили себя навсегда в глазах честных людей.

Как все это могло случиться?—А вот как:

В 1862 г., на второй всемирной выставке в Лондоне, английские трэд-унионы устроили дружеский прием французским рабочим, приехавшим изучить выставку. На банкете 5 августа, англичане выразили желание установить постоянные сношения между рабочими различных стран. На это французы ответили предложением устроить комитеты для переписки с различными странами о нуждах рабочего класса. Все собрание единогласно приняло предложение французов.

В следующем, 1863 году, в Лондоне была организована большая международная манифестация симпатии польской революции. На митинге, в присутствии французских делегатов, Оджер, один из вожаков трэд-унионов, закончил свою речь о всеобщем мире предложением созыва международных конгрессов рабочих *для борьбы с капиталом и для прекращения ввоза из одной страны в другую неорганизованных рабочих.*

Первый шаг уже сделан. Второй и решительный был совершен в следующем, 1864 г., когда в Лондон приехали французские делегаты Лимузен, Перрашон и Толен уже с определенным планом организации Интернационала. На митинге в Сен-Мартинс Гол, на который, по четырнадцати

пригласительным письмам секретаря Германа Юнга*) пришли, между прочими, овенист Вестон, радикальный профессор Эдуард Бизли (председатель митинга) и Карл Маркс. В ответном адресе, Толен, от имени французов, прочитал:

„Рабочие всех стран, желающие быть свободными, на„стало время созывать ваши конгрессы! Народ вновь высту„пает на сцену с сознанием своей мощи против тирании в „политике, против монополии и привилегии в строе эконо„мическом... Нам рабочим всех стран, надобно об‘единиться...“

Митинг принял эти слова с восторгом и резолюция гласила:

„Выслушав наших братьев французов... принимаем их „программу, полезную в деле улучшения условий жизни рабочих классов, и берем ее за основание *Интернациональной* организации...“

Митинг выбрал комитет для выработки статутов, проэкт которых был предложен французами. Маркс присутствовал *зрителем*, „молча“, как он сам писал Энгельсу.

Так создалась великая Международная Ассоциация Рабочих (Интернационал). Английские и французские рабочие его задумали в 1862 г., в 1863 г. они сделали первый шаг, а в 1864 г. основали его без участия кого бы то ни было из буржуазии. Вся честь создания великого исторического братства народов целиком принадлежит *рабочим* Англии и Франции. „Интернационал — дитя парижских мастерских, отданное на кормление грудью в Лондон“**). Ни немцам, ни Марксу там места не было. А как только, на гибель Интернационала, они вмешались, пошла тайная вражда, клевета, интриги.

В письме к Энгельсу, сам Маркс говорит, что был приглашен на митинг, был простым зрителем и молчал. Деятелями, творцами организации были англичане Оджер, Кремер, Лукрафт и французы Толен, Лимузен, Перрашон. В том же письме Маркс очень хвалит и тех и других. „Толен очень хорош; его товарищи тоже прекрасные люди“. А впоследствии, когда Интернационал быстро стал во Франции двигательной революционной силой и лучшие его организаторы и ораторы были заключены по тюрьмам, интригующий Маркс

---

*) Юнг часовщик, швейцарец прекрасно говоривший по-английски, по-французски и по-немецки, был с самого начала другом-товарищем и переводчиком между англичанами и французами.

**) Знаменитая фраза учителя француза Бибаль: „Un enfant né dans les ateliers de Paris et mis en nourrice à Londres“.

не нарадуется их осуждению. „К счастью, писал он своему достойному другу Энгельсу, наши старые знакомые в Париже все под замком“. Это язык сыщика и прокурора. Относительно англичан, основателей Интернационала, он был не менее враждебен. Оджер, Кремер, Лукрафт, Поттер и другие честные рабочие пригласили Маркса в члены генерального совета и с полным доверием честных людей передали ему, „старому другу“ рабочего класса, все дела и связи. Однако, они скоро заметили, что Маркс и Энгельс систематически их оттирают и стремятся стать диктаторами. Что Оджер и друзья не ошибались, тому доказательство в письме Маркса к Энгельсу, от 11 сентября 1868 г., когда Интернационал достиг своей апогеи, а во Франции надвигалась республиканская революция.

„Грядущая революция“, писал он, которая, быть может, „ближе, чем то кажется, и МЫ (то есть, Я и ТЫ) будем иметь в наших руках это могущественное орудие... паршивые свиньи между трэд-унионами...“ Оджер, Кремер и Поттер нам завидуют в Лондоне...“ Нет, эти честные люди не завидовали Марксу и Энгельсу, а заметив их диктаторские интриги, стали отстраняться и, к несчастью, оставили все дело великой ассоциации в руках бесчестных интриганов.

* * *

Готовясь к диктатуре, считая Интернационал в своих руках, мог ли Маркс терпеть присутствие умных, образованных, энергичных и красноречивых деятелей в Интернационале? Да еще, вдобавок, автономистов, федералистов и анархистов!... Конечно, нет. Особенно Бакунин, с его мировой репутацией революционного героя, швейцарец Джемс Гильом, неутомимый писатель, конференционалист, владеющий лучше самих Маркса и Энгельса древними и новыми европейскими языками, особенно эти двое стояли поперек их дороги и до дикости нелепой цели диктатуры над мировым движением пролетариата. Против них была организована настоящая компания клеветы, конечно, тайной, под сурдинкой.

Правда, Маркс торжественно обвинял Бакунина в невежестве за его требование уничтожения права на наследство. „Старая ветошь, сенсимонизма“, об'являет Маркс. Но он забыл, что в его пресловутом Коммунистическом Манифесте, переведенном Бакуниным на русский язык, это самое

требование красуется третьим среди девяти пунктов о монополии государства и организации государственной армии труда, особенно для обработки полей по общему плану. Откуда такая забывчивость? Не потому-ли забыл Маркс об этом пункте, что Манифест его и Энгельса не их произведение, а бесстыдный литературный плагиат Манифеста Виктора Консидерана*) „Principes du Socialiste—Manifeste de la Démocratie au XIX siecle“? Даже и этим нельзя об'яснить забывчивость, потому что именно пункты о монополиях и о наследстве их собственное измышление, которое они повторяли в прокламации (1848 г.) к немецкому народу („Ограничение права наследства“, пункт 14).

Кроме этого вздорного и крайне недобросовестного принципиального обвинения, Маркс не приводил ни одного. Даже об отрицании государства не упомянуто. Оно и понятно: тогда социализм не был еще превращен немцами в империализм, в казарму и в общественное рабство. Даже гораздо позже, в 1891 г., играя в популярность, Энгельс писал языком анархистов, говоря, что „в социалистическом обществе государство вместе с прялкой будет сдано в музеум“.

Но ежели у Маркса не имелось против Бакунина аргументов научных, он обладал неиссякаемым запасом злобы и клеветы. Чего только не возводил он на Бакунина, а, кстати и на Герцена... Вот образчик честности гражданина Маркса:

„Бакунин, который с того времени, как он захотел выдавать себя за *руководителя европейского рабочего движения*, облыжно отзывался о [с]оем друге и покровителе Герцене, сейчас же после его смерти принялся громко его восхвалять. Почему? Герцен, несмотря на то, что он сам был богатым человеком, получал ежегодно 25,000 рублей на пропаганду от дружественной ему псевдо социалистической панславистской партии в России. Благодаря громким славословиям Бакунина эти деньги перешли к *нему*, и он таким образом в денежном и *моральном* отношении sine beneficio inventarii

---

*) Плагиат Манифеста В. Консидерана Марксом и Энгельсом теперь вполне установлен. Это признал знаменитый литературный критик Георг Брандес в „Berliner Tageblatt“ 19 августа 1913 г.; итальянский соц.-демократ Лабриола, и даже сам Каутский принужден признать, что „без сомнения все эти идеи (alle diese Ideen) содержатся в Манифесте Консидерана („Die neue Zeit“. 1906, стр. 697).

вступил во владение „*наследством* Герцена“—malgré sa haine de l'héritage“.

И эту гнусную клевету на двух лучших людей русской, да и общечеловеческой свободной, революционной мысли, Маркс написал на бумаге главного Совета Интернационала, усугубляя злостную клевету международным подлогом. Спрашивается, откуда Маркс мог почерпнуть подобные гнусности? Да ниоткудова; сам выдумал. Ведь печатал же он раньше, что Герцен получал деньги от Наполеона III, что Бакунин был тайным агентом русского правительства. Да разве только относительно Герцена и Бакунина Маркс был недобросовестен? А в науке? Ведь присвоил же себе прибавочную стоимость Томсона, книгу которого он раньше цитировал против Прудона; присвоил же из книги Бюре*) историю рабочего законодательства при Эдуарде и Елизавете английских; присвоил же концентрацию капитала; а его друг и сотрудник всей жизни Энгельс так уж и всю книгу Бюре себе присвоил; да кстати и закон минимума заработной платы Тюрго присвоил. Таким людям источников не требуется.

Мы с отвращением остановились на клеветах Маркса и его сподвижников и последователей против Бакунина и Герцена. Мы вынуждены к этому нескончаемым количеством убогих листков и брошюр, повторяющих *на русском языке* всю безнравственную пошлость патентованных плагиаторов и клеветников. Подумайте только, нашелся русский переводчик книги Иекка, в которой о Бакунине сказано нечто такое, что к лицу рабу кайзера, но что недостойно честного человека, а тем паче русского, мало-мальски знакомого с родной литературой. Ведь переводчик и распространитель клеветы сам становится клеветником.

Были и другие причины для клеветы на Бакунина и Герцена. В 1848 г., когда Маркс и Энгельс напечатали первую клевету, Бакунин защищал права, немцами угнетенных, славян, а клеветники защищали немецкое угнетение, отрицали автономные права тех же славян. Это первое. А вот и второе. Согласно пониманию сороковых годов, социальная демократия была синонимом республики, социализма и революции. Французская Démocratie socialiste Ледрю Роллена, Луи Блана, Флокона и Бланки и совершила Фе-

---

*) Eugène Buret. „De la Misère des classes laborieuses en Angleterre et en France“. Paris 1840.

вральскую Революцию, и комиссию социальных реформ учредили под председательством Луи Блана и рабочего механика Альбера. Да и немцы того времени, подражая французам, понимали демократию социальную как республиканскую, что ясно видно из прокламации к немецкому народу (март 1848) подписанную Марксом, Энгельсом, Вольфом и другими, провозглашавшую Германию *республикой*. А в 1868—73 вплоть до наших дней немцы, с Марксом, Энгельсом и Либкнехтом во главе, преднамеренно и систематически стали вместо революции пропагандировать эволюцию производственных отношений, легализм и парламентаризм; о республике и поминать забыли; а вместо социальной солидарности равноправных и свободных членов коммун и ассоциации стали пропагандировать организацию армии труда „особенно для земледелия с обработкой полей по общему плану“... по всей империи, вероятно, так как, социаль-демократия, партия имперская, а не прусская или саксонская. А Бакунин, как видно из ниже печатаемых статей а особенно из „Бог и Государство“, звал рабочих и народ к революции для разрушения не только империи, но и всякого государства, и не легальным парламентаризмом, а бунтом, революцией.

Последней каплею, переполнившей чашу злобы и ненависти, была франко-прусская война 1870 г.

Маркс и Энгельс, как в наши трагические дни общеевропейской войны Кайзер, Гинденбург, Зюдекум и прочие об'явили, что Бисмарк и Мольтке, раззоряя и выжигая французскую территорию, избивая невооруженных крестьян женщин и детей, вели войну оборонительную!

„Со стороны немцев эта война оборонительная“ — „Французов следует высечь“ (Die Franzosen brauchen Prügel) — „С победой Пруссии централизуется власть государства, что будет полезно для централизации немецкого рабочего класса“. — Они до того увлеклись благодетельностью прусских побед, что 31 июля Энгельс писал Марксу: „Первую серьезную победу одержали мы“... (т. е. Мольтке, Вердер, Бисмарк и Энгельс с Марксом). Раз они стали отожествлять свое дело с варварством прусского милитаризма, они не задумались и посодействовать Пруссии. В письме от 7 сентября 1870 *) Энгельс писал Марксу, что следовало бы, от имени Генерального Совета, уговорить—

*) Значит, после провозглашения республики во Франции, после 4 сентября.

„Интернационал во Франции воздержаться до заключения мира"... „Если возможно повлиять в Париже, следует помешать рабочим вмешиваться до заключения мира"— повторяет он в письме от 12 числа. И это, когда Париж осажден озверевшей ордой убийц и грабителей. Подобный совет осажденным у честных людей называется советом предательства и измены. А Маркс, под влиянием Энгельса выпустил от имени Генерального Совета Интернационала, воззвание, приглашавшее рабочих, не немецких и французских вместе, а только французских, не браться за оружие, не защищать своих близких и свою независимость. Вот документ (он помечен 9 сентября 1870 г.):

„Il ne faut pas que les ouvriers francais se lais" „sent „entrainer par tes souvenirs de 1792, comme les paysans „francais se sont laisses precedemment duper par les souvenirs „du premier Empire („Французским рабочим не следует увлекаться „воспоминаниями 1792 г., подобно французским крестьянам „поддавшимся перед этим обманчивым воспоминанием „первой империи").

Так говорили, писали и действовали клеветники. А что писал и делал в этот трагический момент оклеветанный Бакунин?

23 августа, он писал социалистам в Лион:

„Если французский народ не восстанет поголовно, пруссаки возьмут Париж... Повсюду народ должен взяться за оружие, должен сам организовать свои силы для войны против вторгнувшихся немцев, для войны разрушительной, войны на ножах... Если вы желаете спасти Францию от рабства, раззорения, нищеты на целых пятьдесят лет, вы должны совершить, то, перед чем поблекнул бы патриотический порыв 1792... Дело Франции стало делом человечества. Борясь, становясь патриотами, мы спасаем свободу человечества... О, если бы я был молод, не письма бы вам писал, а был бы среди вас"!

Спустя девять дней (2 сентября) Бакунин писал следующие строки:

„Вторгнись во Францию армия пролетариев английских, бельгийских, немецких, испанских, итальянских с развевающимся знаменем социализма революционного и возвещая миру окончательное освобождение труда, я бы первый крикнул французским рабочим: „Раскройте об'ятья, это братья ваши, соединяйтесь с ними, чтобы вымести гниющие остатки буржуазного строя". Но вторжение, позорящее ныне Фран-

цию, не демократическое и не социалистическое, а нашествие аристократии, монархии, солдатчины, Пятьсот или шестьсот тысяч немецких солдат топят в крови Францию. Они покорные подданные, они рабы деспота, кичащегося своим „божественным“ правом... они самые страшные враги пролетариата. Принимая их мирно, оставаясь безучастными к этому нашествию немецкого деспотизма, аристократии и милитаризма на Францию, французские рабочие предали бы не только свою свободу, свое достоинство, свое благосостояние и малейшую надежду на лучшее будущее, они предали бы также и дело пролетариата всего мира, святое дело социализма революционного“.

Бакунин до того страдал от разгрома Франции и торжества немецкого, мнимо культурного варварства, что не мог усидеть в Локарно и в сентябре месяце, с согласия друзей, поехал в Лион, где и принял активное участие в неудавшейся попытке учреждения революционной коммуны.*) Глубоко огорченный лионскими событиями, а также и настроением населения Марсели, куда он проехал из Лиона, Бакунин занес в свою рукопись следующие прекрасные строки, полные глубокой скорби и поразительно ясного понимания событий того времени и гибельных для демократии последствий немецких побед:

„Я не француз“, читаем мы на стр. 154, IV тома **), „но, признаюсь, глубоко возмущен всеми оскорблениями, наносимыми Франции, и прихожу в отчаяние от ее несчастий. Я горько оплакиваю несчастие этого симпатичного, великого и великодушного национального характера, этого лучезарного французского ума, выработанного и развитого историей, как будто, для эманципации человечества. Я оплакиваю молчание, которое может быть наложено на мощный голос Франции, возвестивший всем страждущим и угнетенным свободу, равенство, братство и справедливость. И мне

---

*) В этом очерке мы не можем останавливаться на отдельных эпизодах жизни М. А. Бакунина. Подробный разсказ о восстаниях в Дрездене, Праге, Лионе, о попытке в Болонье, о Коммуне в Картагене, и вообще об испанских движениях начала семидесятых годов потребовал бы большой многотомный труд, подобный труду Д-ра Неттлау. По той же причине мы не коснулись фактической стороны участия Бакунина в жизни и деятельности русской революционной молодежи. (В последующих томах, об‘ясняя значение и повод издания отдельных произведений, мы постараемся пополнить фактическую сторону).

**) Œuvres, tome IV. Paris 1910. Издание под редакцией Джемса Гильома.

кажется, что если великое солнце Франции померкнет, затмение наступит повсюду, и какие бы разноцветные фонари ни зажгли резонерствующие немецкие ученые им не удастся заменить простую и великую ясность, распространяемую на весь мир французским гением.

„В тоже время, я убежден, что поражение и подчинение Франции, и торжество Германии, порабощенной пруссаками отбросит Европу во мрак, в нищету, в рабство минувших веков. Я до того убежден в этом, что мне представляется как священная обязанность для всякого, кто любит свободу, кто желает торжества человечества над зверством какой бы национальности он ни был—англичанин, испанец, итальянец, поляк, русский и даже немец—обязанность принять участие в демократической борьбе французского народа против вторжения германского деспотизма“.

Пророческие слова! Победа Германии в 1870 г. привела Европу к настоящей варварской войне, перед которой блекнут все зверства Ксерксов и Аттил, Тамерланов и Османов Эти герои крови и пожаров были невинные младенцы перед бешенным кейзером и перед его Гинденбургами..,

Бакунин с отчаянием и с болью в сердце предвидел надвигавшийся позор европейской цивилизации, но и он, наверно, не мог вообразить и сотой доли кровавых ужасов, совершенных ныне немцами в Бельгии, во Франции и в Польше.

Из приведенных цитат видно вполне ясно, что Бакунин и Маркс были два антипода в политике, в социализме, в Интернационале и в частной жизни. Вражда между ними —вражда двух мировоззрений, двух различных натур и характеров. Характер Бакунина очерчен Герценым в одной фразе:

„В нем было что то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан“.

Маркс отталкивался от него, но не как простой чопорный мещанин, а как немецкий патриот и враг французской республиканской и революционной демократии. Он не мог простить Бакунину и его талантливым друзьям, особенно Джемсу Гильому, их защиту Франции против немецких орд кейзера, королей и принцев. Он искал случая ото-

мстить им, и случай скоро представился на Гаагском конгрессе Интернационала в 1872 г., на который делегатов настоящих, выборных проехало очень мало. Зато была многочисленная делегация по бланкам, привезенным, по просьбе Маркса, другом его Зорге из Нью-Іорка. Бланки были розданы друзьям Маркса, даже не членам Интернационала, как например, Молтману Берн, агенту *английских консерваторов.*

Настоящие члены основатели, напр., Герман Юнг, возмущенные этой черной кабалой, отказались ехать, хотя Маркс с Энгельсом два раза приходили в мастерскую Юнга, уговаривали ехать на конгресс, предлагали денег на дорогу и на расходы. Конгресс все же состоялся и подобранное большинство в Гааге изгнало из Интернационала Бакунина и Джемса Гильома. Немцы торжествовали. Но на следующем конгрессе, 1873 г. в Женеве, настоящими делегатами от федерации Английской, Бельгийской, Голландской, Испанской, Итальянской, Французской и Швейцарской (знаменитая Юрская Федерация) гаагские решения были отвергнуты, Генеральный Совет уничтожен и пунктом 3 пересмотренных статутов Интернационала было установлено, что—

„Федерации и секции Ассоциации вполне автономны, т. е. организуются и ведут свои дела согласно их собственным решениям, без всякого постороннего вмешательства, а равно сами выбирают направление и приемы деятельности, ведущей к освобождению труда".

Таким образом, настоящий Интернационал осудил людей, злоупотребивших доверием рабочих классов и тайком стремившихся содействовать победам немецкого деспотизма над демократической республикой, только что провозглашенной во Франции. Казалось Бакунину было дано полное удовлетворение и он мог торжествовать победу. Но поражение Франции, разгром Коммуны, самый скандал и распадение Интернационала глубоко огорчили Бакунина.

Ему исполнилось 58 лет. Годы тюрьмы в цепях сказались в преждевременной старости могучего организма „исполина с львиной головой". Порок сердца все усиливался. Он уединился в Локарно, и последние четыре года своей жизни провел за работой над большею частью, ныне изданных по-французски, его произведений.

Первого июля 1876 г. Бакунина не стало. Он умер в

госпитале, в Берне, на руках своих старых друзей Рейхеля и Адольфа Фогта.

На похороны его явились представители социалистов *пяти* национальностей. Вечером того же дня они собрались на митинг и приняли следующую резолюцию:

„Рабочие пяти национальностей, собравшиеся в Берне на похоронах Михаила Бакунина, будучи одни сторонниками рабочего государства, другие—свободной Федерации обществ производителей, полагают, что примирение между ними было бы не только очень полезно и весьма желательно, но и легко осуществимо на почве принципов, формулированных в пункте 3 статутов Интернационала, пересмотренных конгрессом 1873 г. в Женеве“.

Этот призыв к единению борцов за освобождение труда остается самым лучшим венком, возложенным на могилу Бакунина.

В. Черкезов.

4 октября 1915 г.

Государственность и Анархия.

Борьба двух партий в Интернациональном Обществе Рабочих.

Интернациональное общество рабочих, едва зародившееся тому назад девять лет, уже успело достигнуть такого влияния на практическое развитие вопросов экономических, социальных и политических в целой Европе, что ни один публицист и ни один государственный человек не могут отныне отказать ему в самом серьезном и нередко тревожном внимании. Официальный, официозный и вообще буржуазный мир, мир счастливых эксплоататоров чернорабочего труда смотрит на него с тем внутренним трепетом, который ощущается при приближении, еще неведомой и мало определенной, но уже сильно грозящей опасности; как на чудовище, которое непременно поглотит весь общественный, государственно-экономический строй, если только рядом энергических мер, приведенных в исполнение одновременно во всех странах Европы, не будет положен конец его быстрым успехам.

Известно, что по окончании последней войны, сломившей историческое преобладание государственной Франции в Европе и заместившей его еще более ненавистным и гибельным преобладанием государственного пангерманизма, мероприятия против Интернационала сделались любимою темою междуправительственных переговоров. Явление чрезвычайно естественное. Государства, по существу своему друг другу противные и до конца непримиримые, не могли и не могут найти другой почвы для соединения, как только в дружном порабощении народных масс, составляющих общую основу и цель их существования. Князь Бисмарк, разумеется, был и останется главным возбудителем и двигателем этого нового священного союза. Но не он первый

выступил с своими предложениями на сцену. Он представил сомнительную честь подобной инициативы униженному правительству, только что разгромленного им французского государства.

Министр иностранных дел псевдо-народного правления, этот изменник республики, но зато верный друг и защитник ордена иезуитов, верующий в Бога, но презирающий человечество и презираемый в свою очередь всеми честными поборниками народного дела, пресловутый ритор Жюль Фавр, уступающий разве только одному г. Гамбетта честь быть прототипом всех адвокатов, с радостью принял на себя роль злостного клеветника и доносчика. Между членами так называемого правительства „*Национальной Защиты*“ он, без сомнения, был один из тех, которые наиболее способствовали обезоружению народной обороны и явно изменнической сдаче Парижа в руки надменного, дерзкого и беспощадного победителя. Князь Бисмарк одурачил его и надругался над ним в виду целого света. И вот, как бы возгордившись двойным позором, и своим собственным, и позором преданной, а может быть и проданной им Франции, побуждаемый в одно и то же время желанием угодить осрамившему его великому канцлеру победоносной германской империи, а также и глубокою ненавистью своею к пролетариату вообще, а в особенности к парижскому рабочему миру, г. Жюль Фавр выступил с формальным доносом против Интернационала, члены которого, стоя во Франции во главе рабочих масс, пытались возбудить всенародное восстание и против немецких завоевателей, и против домашних эксплоататоров, правителей и предателей. Преступление ужасное, за которое Франция официальная или буржуазная должна была наказать с примерною строгостью Францию народную!

Таким образом случилось, что первым словом, произнесенным французским государством на другой день страшного и постыдного поражения, было слово гнуснейшей реакции.

Кто не читал достопамятного циркуляра Жюля Фавра, в котором грубая ложь и еще грубейшее невежество уступают лишь бессильной и яростной злости республиканца-ренегата? Это отчаянный вопль не одного человека, а целой буржуазной цивилизации, истощившей все на свете и осужденной на смерть своим окончательным изнеможением. Чувствуя приближение неминуемого конца, она с злобным

отчаянием хватается за все, лишь бы продлить свое зловредное существование, призывая на помощь всех идолов прошедшего, низвергнутых некогда ею же самою—и бога, и церковь, и папу, и патриархальное право, а пуще всего, как вернейшее средство спасения, полицейское покровительство и военную диктатуру, хотя бы даже прусскую, лишь бы она охраняла *„честных людей“* от ужасной грозы социальной революции.

Циркуляр г. Жюля Фавра нашел отголосок и где бы вы думали—в Испании! Г. Сагаста, минутный министр минутного испанского короля Амедея, захотел в свою очередь угодить князю Бисмарку и обессмертить свое имя. Он также поднял крестовый поход против Интернационала и, не довольствуясь бессильными и бесплодными мероприятиями, вызвавшими только весьма обидный смех испанского пролетариата, также написал фразистый дипломатический циркуляр, за который однако, с несомненным одобрением князя Бисмарка и его адьюнкта Жюля Фавра, получил заслуженную нахлобучку от более осмотрительного и менее свободного правительства Великобритании, а спустя несколько месяцев и свалился.

Кажется, впрочем, что циркуляр г. Сагасты, хотя и говоривший во имя Испании, был задуман, если не сочинен, в Италии, под непосредственным руководством многоопытного короля Виктора Эммануила, счастливого отца несчастного Амедея.

В Италии гонение против Интернационала было поднято с трех разных сторон: во первых, проклял его, как и следовало ожидать, сам папа. Сделал он это самым оригинальным образом, смешав в одном общем проклятии всех членов Интернационала с франк-массонами, с якобинцами, с рационалистами, деистами и либеральными католиками. По определению св. отца, к этому отверженному обществу принадлежит всякий, кто не покоряется слепо его боговдохновенным словоизвержениям. Так точно, 26 лет тому назад, один прусский генерал определял коммунизм: „знаете ли вы, говорил он своим солдатам, что значит быть коммунистом? Это значит мыслить и действовать наперекор высочайшей мысли и воли его величества короля“.

Но не один римско-католический папа проклял интернациональное общество рабочих. Знаменитый революционер Джузеппе Маццини, известный гораздо более в России как итальянский патриот, заговорщик и агитатор, чем как ме-

тафизик-деист и основатель новой церкви в Италии; да, сам Маццини в 1871 г., на другой день после поражения Парижской Коммуны, в то самое время, как зверские исполнители зверских версальских декретов, расстреливали тысячами обезоруженных коммунаров, нашел полезным и нужным присоединить к римско-католической анафеме и к полицейско-государственному гонению, также и свое, якобы патриотическое и революционное, в сущности же совершенно буржуазное и вместе с тем богословское проклятие. Он надеялся, что его слова будет достаточно, чтобы убить в Италии все симпатии к Парижской Коммуне и задушить в зародыше только что возникавшие интернациональные секции. Вышло совсем напротив: ничто не способствовало так усилению этих симпатий и умножению интернациональных секций, как его громкое и торжественное проклятие.

Итальянское правительство, враждебное папе, но еще более враждебное Маццини, в свою очередь не дремало. Сначала оно не поняло опасности, грозящей ему со стороны Интернационала, быстро распространяющегося не только в городах, но даже в селах Италии. Оно думало, что новое общество будет лишь служить противодействием успехам буржуазно-республиканской пропаганды Маццини, и в этом отношении оно не ошиблось; но оно скоро убедилось, что пропаганда принципов социальной революции в среде страстного населения, доведенного им же самим до крайней степени нищеты и утеснения, является для него опаснее всех политических агитаций и предприятий Маццини. Смерть великого итальянского патриота, воспоследовавшая скоро после его гневного выступления против Парижской Коммуны и против Интернационала, вполне успокоила с этой стороны итальянское правительство. Обезглавленная партия маццинистов не грозила ему отныне ни малейшею опасностью. В ней начался уже видимый процесс разложения и так как ее начала и цель, а также и весь состав— чисто буржуазные, то она являет несомненные признаки той немощи, которою поражены в наше время, все буржуазные начинания.

Другое дело пропаганда и организация Интернационала в Италии. Они обращаются прямо и исключительно к чернорабочей среде, которая в Италии, равно как и во всех других странах Европы, сосредоточивает в себе всю жизнь, силу и будущность современного общества. Из буржуазного мира примыкают к ней только те немногие люди

которые от души возненавидели настоящий порядок, порядок политический, экономический и социальный, повернулись спиною к классу их народившему и всецело отдались народному делу. Таких людей немного, но зато они драгоценны, разумеется только тогда, когда, возненавидев общебуржуазное стремление к господству, задушили в себе последние остатки личного честолюбия; в таком случае, повторяю я, они действительно драгоценны. Народ дает им жизнь, элементарную силу и почву, но взамен они приносят ему положительные знания, привычку отвлечения и обобщения и умение организовываться и создавать союзы, которые в свою очередь создают ту сознательную боевую силу, без которой немыслима победа.

В Италии, как в России, нашлось довольно значительное количество таких молодых людей, несравненно более, чем в какой либо другой стране. Но, что несравненно, важнее, в Италии существует огромный, от природы чрезвычайно умный, но большею частью безграмотный и поголовно нищенский пролетариат, состоящий из двух—трех миллионов городских и фабричных рабочих и мелких ремесленников и около двадцати миллионов крестьян несобственников. Как уж сказано выше, вся эта бесчисленная масса людей доведена притеснительным и воровским управлением высших классов, под либеральным скипетром короля—освободителя и собирателя итальянских земель, до такого отчаянного положения, что сами поборники и заинтересованные участники настоящего управления, начинают признаваться и говорить громко, как в парламенте, так и в официальных журналах, что далее идти по этому пути невозможно и что необходимо сделать что нибудь для народа во избежание всеразрушающего народного погрома.

Да, может быть, нигде так не близка социальная революция, как в Италии, нигде, не исключая даже самой Испании, не смотря на то, что в Испании уже существует официальная революция, а в Италии повидимому все тихо. В Италии весь народ ожидает социального переворота и сознательно стремится к нему. Можно себе представить, как широко, как искренно и как страстно была принята и принимается поныне итальянским пролетариатом программа Интернационала. В Италии не существует, как во многих других странах Европы, особого рабочего слоя, уже отчасти привилегированного, благодаря значительному заработку, хвастающегося даже в некоторой степени литера-

турным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением. Особенно в Германии и в Швейцарии таких работников много; в Италии же, напротив, очень мало, так мало, что они теряются в массе без малейшего следа и влияния. В Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором гг. Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов Германии отзываются с глубочайшим презрением, и совершенно напрасно, потому что в нем, и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы, заключается и весь ум, и вся сила будущей социальной революции.

Об этом мы поговорим ниже пространнее, теперь же ограничимся выводом следующего заключения: именно, вследствие этого решительного преобладания нищенского пролетариата в Италии, пропаганда и организация интернационального общества рабочих в этой стране приняли характер самый страстный и истинно-народный; и именно вследствие этого, не ограничиваясь городами, они немедленно охватили сельское население.

Итальянское правительство вполне понимает ныне опасность этого движения и всеми силами, но тщетно, старается задушить его. Оно не издает громких, фразистых циркуляров, но действует, как подобает полицейской власти, втихомолку, душит без об'яснений, без крика. Закрывает наперекор всем законам, одно за другим, все рабочие общества, исключая только те, почетными членами которых считаются принцы крови министры, префекты и вообще люди знатные и почтенные. Все же другие рабочие общества оно гонит немилосердно, захватывает их бумаги, их деньги, а членов их держит по целым месяцам без суда и даже без следствяя в своих грязных тюрьмах.

Нет сомнения, что действуя таким образом, итальянское правительство руководствуется не только своею собственною мудростью, но также советами и указаниями великого канцлера Германии, точно также как прежде следовало послушно приказаниям Наполеона III. Итальянское государство находится в том странном положении, что по количеству жителей и по об'ему своих земель, оно должно бы быть причислено к великим державам, по своей же действительной силе, разоренное, гнило-организованное и,

несмотря на все усилия, весьма плохо дисциплинированное, к тому же ненавидимое народными массами и даже мелкой буржуазией, оно еле-еле может быть признано державой второй величины. Поэтому ему необходим покровитель, т. е. повелитель вне Италии, и всякий найдет естественным, что после падения Наполеона III князь Бисмарк заступил место *необходимого союзника* этой монархии, созданной п'емонтскою интригою на почве уготованной патриотическими усилиями и подвигами Маццини и Гарибальди.

Впрочем рука великого канцлера пангерманско-империи чувствуется теперь в целой Европе, исключая разве только Англии, которая однако не без беспокойства смотрит на это возникающее могущество, да еще Испании, обеспеченной против реакционного влияния Германии, по крайней мере на первое время, своею революциею, равно как и своим географическим положением. Влияние новой империи об'ясняется изумительным торжеством, одержанным ею над Францией; всякий признает, что она по своему положению, по громадным средствам завоеванным ею, и по своей внутренней организации, занимает ныне решительно первое место между европейскими великими державами, и в состоянии дать почувствовать каждой из них свое преобладание; а что влияние ее непременно должно быть реакционным, в этом не может быть и сомнения.

Германия в настоящем своем виде об'единенная гениальным и патриотическим мошенничеством *) князя Бисмарка и опирающаяся с одной стороны на примерную организацию и дисциплину своего войска, готового задушить и зарезать все на свете и совершить всевозможные внутренние и внешние преступления по одному мановению своего короля императора; а с другой—на верноподданический патриотизм, на национальное безграничное честолюбие и на то древнее историческое, столь же безграничное послушание и богопочитание власти, которыми отличаются поныне немецкое дворянство, немецкая бюрократия, немецкая церковь весь цех немецких ученых и, сам немецкий народ—Германия, говорю я, гордая деспотически-конституционным могуществом своего единодержавца и властителя, представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения, а именно полюс государственности, государства, реакции.

*) В политике, равно как и в высших финансовых сферах мошенничество считается доблестью.

Германия—государство по преимуществу, каким была Франция при Людовике XIV и при Наполеоне I, как им не переставала быть Пруссия понастоящее время. Со времени окончательного создания прусского государства Фридрихом II. был поднят вопрос: кто кого поглотит, Германия ли Пруссию, или Пруссия Германию? Оказывается, что Пруссия с'ела Германию. Значит, доколе Германия останется государством, не смотря ни на какие мнимо-либеральные, конституционные, демократические формы, она будет по необходимости первостепенною и главною представительницею и постоянным источником всех возможных деспотизмов в Европе.

Да, со времени образования новой государственности в истории, с самой половины шестнадцатого века, Германия причисляя к ней австрийскую империю, по скольку она немецкая, никогда не переставала быть в сущности главным центром всех реакционных движений в Европе, даже не исключая того времени, когда великий коронованный вольнодумец Фридрих II переписывался с Вольтером. Как умный государственный человек, ученик Макиавелли и учитель Бисмарка, он ругался надо всем: над Богом и над людьми не исключая разумеется своих кореспондентов-философов, и верил только в свой *„государственный разум*, опиравшийся при том, как всегда, на *„божественную силу многочисленных баталионов“* (Бог всегда на стороне сильных баталионов, говорил он), да еще на экономию и возможное совершенство внутреннего управления, разумеется механического и деспотического. В этом, по его, да также и по нашему мнению, заключается действительно вся суть государства. Все же остальное, лишь невинная фиоритура, имеющая целью обмануть нежные чувства людей, неспособных вынести сознания суровой истины.

Фридрих II усовершенствовал и окончил государственную машину, построенную его отцем и дедом и подготовленную его предками; и эта машина сделалась, в руках достойного преемника его, князя Бисмарка, орудием для завоевания и для возможного пруссогерманизированья Европы.

Германия, сказали мы, со времени реформы не переставала быть главным источником всех реакциных движений в Европе; от половины XVI века до 1815 года инициатива этого движения принадлежала Австрии. От 1815 до 1866 года она разделилась между Австриею и Пруссиею, однако с

преобладанием первой, покуда управлял ею старый князь Меттерних, т. е. до 1848 года. С 1815 года приступил к этому святому союзу чисто германской реакции, гораздо более в виде охотника, чем дельца наш татаро-немецкий, всероссийско-императорский кнут.

Побуждаемые естественным желанием снять с себя тяжкую ответственность за все мерзости, учиненные священным союзом, немцы стараются уверить себя и других, что главным их зачинщиком была Россия. Не мы станем защищать императорскую Россию, потому что именно вследствие нашей глубокой любви к русскому народу, именно потому что мы страстно желаем ему полнейшего преуспеяния и свободы, мы ненавидим эту поганную всероссийскую империю так, как ни один немец ее ненавидеть не может. В противность немецким социал-демократам, программа которых ставит первою целью основание пангерманского государства, русские социальные революционеры стремятся прежде всего к совершенному разрушению нашего государства, убежденные в том, что пока государственность, в каком бы то виде ни было, будет тяготеть над нашим народом, народ этот будет нищим рабом. Итак, не из желания защищать политику петербургского кабинета, а ради истины, которая всегда и везде полезна, мы ответим немцам следующее:

В самом деле, императорская Россия, в лице двух своих венценосцев, Александра I и Николая, казалось весьма деятельно вмешивалась во внутренние дела Европы Александр рыскал из конца в конец и много хлопотал и шумел; Николай хмурился и грозил. Но тем все и кончилось. Они ничего не сделали, не потому, что не хотели, а потому, что не могли, оттого что им не позволили их же друзья, австрийские и прусские немцы; им предоставлена была лишь почетная роль пугал, действовали же только Австрия, Пруссия и, наконец, под руководством и с позволения той и другой—французские Бурбоны (против Испании).

Империя всероссийская только один раз выступила из своих границ, в 1849 г. и то только для спасения австрийской империи, обуреваемой венгерским бунтом. В продолжение нынешнего века Россия два раза душила польскую революцию, и оба раза с помощью Пруссии, столько же заинтересованной в сохранении польского рабства, как и она сама. Я говорю разумеется об императорской России.

Россия народная немыслима без польской независимости и свободы.

Что русская империя, по существу своему, не может хотеть другого влияния на Европу, кроме самого зловредного и противусвободного, что всякий новый факт государственной жестокости торжествующего притеснения, всякое новое потопление народного бунта в народной крови, в какой бы то стране не было, всегда встретят в ней самые горячие симпатии, кто может в этом сомневаться? Но не в этом дело Вопрос в том, как велико ее действительное влияние и занимает ли она по своему уму, могуществу и богатству такое преобладающее положение в Европе, чтобы голос ее был в состоянии решать вопросы?

Достаточно вникнуть в историю последнего шестидесятилетия, а также и в самую суть нашей татаро-немецкой империи, чтобы ответить отрицательно. Россия далеко не такая сильная держава, какою любит рисовать ее себе хвастливое воображение наших красных патриотов, ребяческое воображение западных панславистов, а также обезумевшее от старости и от испуга воображение рабствующих либералов Европы, готовых преклонятся перед всякою военною диктатурою, домашнею и чужою, лишь бы она их только избавила от ужасной опасности, грозящей им со стороны собственного пролетариата. Кто, не руководствуясь ни надеждою, ни страхом, смотрит трезво на настоящее положение петербургской империи, тот знает, что на западе и против запада, она собственною инициативою, не будучи вызвана к тому какою либо великою западною державою, и не иначе, как в самом тесном союзе с нею, никогда ничего не предпринимала и предпринять не может. Вся ее политика состояла искони только в том, чтобы примазаться как нибудь к чужому начинанию; и со времени хищнического разделения Польши, задуманного, как известно, Фридрихом II, предлагавшим было Екатерине II разделить между собою точно также и Швецию, Пруссия была именно тою западною державою, которая не переставала оказывать эту услугу всероссийской империи.

В отношении к революционному движению в Европе Россия, в руках прусских государственных людей, играла роль пугала, а нередко и ширм, за которыми они очень искусно скрывали свои собственные завоевательные и реакционные предприятия. После же удивительного ряда побед одержанных прусско-германскими войсками во Франции,

после окончательного низложения французской гегемонии в Европе и замещения ее гегемонией пангерманскою, ширм этих стало не нужно, и новая империя, осуществившая заповеднейшие мечты немецкого патриотизма, выступила откровенно во всем блеске своего завоевательного могущества и своей систематически реакционной инициативы.

Да, Берлин стал теперь видимою главою и столицею всей живой и действительной реакции в Европе, князь Бисмарк—ее главным руководителем и первым министром. Я говорю, реакции живой и действительной, а не отжившей. Отжившая или из ума выжившая реакция, по преимуществу римско-католическая, бродит еще как зловещая, но уже бессильная тень в Риме, в Версале, отчасти в Вене и в Брюсселе; другая, кнуто-петербургская, положим, хоть и не тень, но тем не менее, лишенная смысла и будущности продолжает еще бесчинствовать в пределах всероссийской империи... Но живая, умная, действительно сильная реакция сосредоточена отныне в Берлине и распространяется на все страны Европы из новой германской империи, управляемой государственным, а поэтому самому в высшей степени, противународным гением князя Бисмарка.

Эта реакция ничто иное, как окончательное осуществление противународной идеи новейшего государства, имеющего единою целью устройство самой широкой эксплуатации народного труда в пользу капитала, сосредоточенного в весьма немногих руках: значит, торжество жидовского царства, банкократии, под могущественным покровительством фискально-бюрократической и полицейской власти, главным образом опирающейся на военную силу, а следовательно, по существу своему, деспотической, но прикрывающейся вместе с тем парламентскою игрою мнимого конституционализма.

Новейшее капитальное производство и банковые спекуляции, для дальнейшего и полнейшего развития своего, требуют тех огромных государственных централизаций, которые только одни способны подчинить многомиллионные массы чернорабочего народа их эксплуатации. Федеральная организация снизу вверх рабочих ассоциаций, групп, общин волостей и наконец областей и народов, это единственное условие настоящей, а не фиктивной свободы, столь же противна их существу, как не совместима с ними никакая экономическая автономия. Зато они уживаются отлично с так называемою *представительною демократиею*; так как

эта новейшая государственная форма, основанная на мнимом *господстве мнимой* народной воли, будто бы выражаемой мнимыми представителями народа в мнимо-народных собраниях, соединяет в себе два главные условия, необходимые для их преуспеяния, а именно: государственную централизацию и действительное подчинение государя—народа интеллектуальному управляющему им, будто-бы представляющему его и непременно эксплуатирующему его меньшинству.

Когда мы будем говорить о социально-политической програме марксистов, лассальянцев и вообще немецких социальных демократов, мы будем иметь случай ближе рассмотреть и уяснить эту фактическую истину. Теперь обратим внимание на другую сторону вопроса.

Всякая эксплоатация народного труда, какими бы политическими формами мнимого народного господства и мнимой народной свободы она позолочена ни была, горька для народа. Значит никакой народ, как бы от природы смирен ни был и как бы послушание властям ни обратилось в привычку, охотно ей подчиниться не захочет: для этого необходимо постоянное принуждение, насилие, значит, необходимы полицейский надзор и военная сила.

Новейшее государство, по своему существу и цели, есть необходимо военное государство, а военное государство с тою же необходимостью становится государством завоевательным; если же оно не завоевывает само, то оно будет завоевано, по той простой причине, что где есть сила, там непременно должно быть и обнаружение или действие ее. Из этого опять таки следует, что новейшее государство непременно должно быть огромным и могучим государством; это есть непременное условие сохранения его.

И точно также, как капитальное производство и банковая спекуляция, поглощающая в себе под конец даже это самое производство, точно также, как они, под страхом банкротства, должны беспрестанно расширять пределы свои, в ущерб поедаемым ими небольшим спекуляциям и производствам, должны стремиться стать единственными универсальными, всемирными; точно также новейшее государство, по необходимости военное, носит в себе неотвратимое стремление стать государством всемирным; но всемирное государство, разумеется неосуществимое, могло бы быть во всяком случае только одно; два такие государства, одно подле другого, решительно невозможны.

Гегемония есть только скромное, возможное обнару-

жение этого неосуществимого стремления, присущего всякому государству; а первое условие гегемонии—это относительное бессилие и подчинение по крайней мере всех окружающих государств. Так, пока существовала гегемония Франции, она была обусловлена государственным бессилием Испании, Италии и Германии, и до сих пор не могут простить французские государственные люди—и между ними г. Тьер разумеется первый—Наполеону III-му, что он позволил Италии и Германии об'единиться и сплотиться.

Теперь Франция очистила место, и его заняло Германское государство, по нашему убеждению, ныне единственное настоящее государство в Европе.

Французскому народу несомненно предстоит еще великая роль в истории, но государственная карьера Франции покончена. Кто сколько-нибудь знает характер французов, тот скажет вместе с нами, что если Франция долго могла быть первенствующею державою, то для нее быть государством второстепенным, даже только равносильным с другими—решительно невозможно. Как государство, и пока она будет управляема людьми государственными, все равно г-ном ли Тьером, или г-ном Гамбеттою, или даже Орлеанскими герцогами, она с своим унижением не примирится: она будет готовиться к новой войне и будет стремиться к мести и к восстановлению утраченного первенства.

Может ли она достигнуть его? Решительно нет. На это много причин; упомянем две главные. Последние события доказали, что патриотизм, эта высшая *государственная* добродетель, эта душа государственной силы, совсем более не существует во Франции. В высших сословиях он проявляется разве только еще в виде национального тщеславия; но и это тщеславие уже так слабо, уже так подрезано в корне буржуазною необходимостью и привычкою жертвовать *интересам реальным* всеми *идеальными интересами*, что во время последней войны оно не могло даже, как прежде, превратить хоть на время в самоотверженных героев и патриотов лавочников, дельцов, биржевых спекуляторов, офицеров, генералов, бюрократов, капиталистов собственников и иезуитами воспитанных дворян. Все струсили, все изменили, все бросились только спасать свое имущество, все пользовались несчастием Франции; все старались нахальнейшим образом опередить друг друга в милости беспощадного и надменного победителя, ставшего распоряди-

телем французских судеб; все, единодушно и во что бы то ни стало, проповедывали покорение, смирение и молили о мире... Теперь все эти развратные болтуны опять занационалыничали, захвастали, но этот смешной и отвратительный крик дешевых героев не в состоянии заглушить черезчур громкого свидетельства их вчерашней подлости.

Несравненно важнее этого то, что ни одной капли патриотизма не оказалось даже в сельском населении Франции. Да, в противность общему ожиданию, французский мужик, с тех пор, как стал собственником, перестал быть патриотом. Во время Жанны д'Арк он на плечах своих один вынес Францию. В 1792 году и потом он отстоял ее против военной коалиции всей Европы. Ну, тогда было другое дело: благодаря дешевой продаже церковных и дворянских имений, он становился собственником земли, которую обрабатывал прежде как раб, и справедливо опасался, что в случае поражения, дворянская эмиграция, шедшая вслед за немецким войском, отберет у него назад только что приобретенную собственность; теперь же у него этого страха не было, и он совершенно равнодушно отнесся к постыдному поражению своего милого отечества. За исключением Эльзаса и Лотарингии, где, странным образом, как бы на смех немцам, упорствующим видеть в них чисто немецкие провинции, проявились несомненные признаки патриотизма, во всей средней Франции крестьяне гнали французских и иностранных волонтеров, вооружившихся на спасение Франции, отказывая им во всем, нередко даже выдавая их пруссакам и напротив, самым гостеприимным образом встречали немцев.

Можно сказать с полною истиною, что патриотизм сохранился только в городском пролетариате.

В Париже, равно как и во всех других провинциях и городах Франции, только он один хотел и требовал всенародного вооружения и войны на смерть. И странное явление: за это именно на него обрушилась вся ненависть имущих классов, точно как будто бы им стало обидно, что „младшие братья“ (выражение г. Гамбетты) выказывают более добродетели и патриотической преданности, чем старшие.

Впрочем имущие классы были отчасти правы. То, что двигало пролетариат городской, не было чистым патриотизмом в древнем и тесном смысле этого слова. Настоящий патриотизм, чувство, разумеется, весьма почтенное, но вме-

сте с тем узкое, исключительное, противочеловеческое, нередко просто зверское. Последовательный патриот только тот, кто, любя страстно свое отечество и все свое, также страстно ненавидит все иностранное, ни дать, ни взять, как наши славянофилы. Во французском же городском пролетариате не осталось даже и следа такой ненависти. Напротив, в последние десятилетия, можно сказать с 1848 года и даже гораздо раньше, под влиянием социалистической пропаганды, в нем развилось положительно братское отношение к пролетариям всех стран, рядом со столь же решительным равнодушием к так называемому величию и к славе Франции. Французские работники были противниками войны, затеянной последним Наполеоном и, накануне этой войны, они манифестом, подписанным парижскими членами Интернационала, громко заявили свое искреннее братское отношение к работникам Германии; и когда немецкие войска вступили во Францию, они стали вооружаться не против народа германского, а против германского военного деспотизма.

Война эта началась ровно шесть лет после первого основания интернационального общества рабочих, только четыре года спустя после его первого конгресса в Женеве. И в такое короткое время интернациональная пропаганда успела возбудить не только в пролетариате французском, но также и между рабочими многих других стран, особливо латинского племени, мир представлений, воззрений и чувств совершенно новых и чрезвычайной широких, породила одну общую интернациональную страсть, поглотившую почти все предубеждения и узкости страстей патриотических или местных.

Это новое миросозерцание высказалось торжественно уже в 1868 году на народном митинге и—где бы вы думали, в какой стране? в Австрии, в Вене, в ответ на целый ряд политических и патриотических предложений, сделанных венским работникам сообща г-ми бюргерами-демократами южно-германскими и австрийскими и клонившихся к торжественному признанию и провозглащению пангерманского, единого и нераздельного отечества. К ужасу своему они услышали следующий ответ: „Что вы толкуете нам о немецком отечестве? Мы работники, эксплоатируемые, вечно обманутые и утесненные вами, и все работники, к какой бы стране они не принадлежали, эксплоатируемые и утесненные пролетарии целого мира—нам

братья; все же буржуа, притеснители, правители, опекуны, эксплоататоры—нам враги. Интернациональный лагерь рабочих—вот наше единственное отечество; интернациональный мир эксплоататоров, вот чуждая и враждебная нам страна".

И в доказательство искренности своих слов венские рабочие тут же послали поздравительную телеграмму „к парижским братьям, как пионерам всемирно-рабочего освобождения".

Такой ответ венских рабочих, вытекший, помимо всех политических рассуждений, прямо из глубины народного инстинкта, наделал свое время много шума в Германии, перепугал всех бюргеров-демократов, не исключая почтенного ветерана и предводителя этой партии, доктора Иоганна Якоби, и оскорбил не только их патриотические чувства, но и государственную веру школы Ласаля и Маркса. Вероятно по совету последнего, г. Либкнехт, в настоящее время считающийся одним из глав социал-демократов Германии, но тогда бывший еще сам членом бюргерско-демократической партии (покойной народной партии), тотчас отправился из Лейпцига в Вену для переговоров с венскими работниками, „политическая бестактность" которых дала повод к такому скандалу. Должно отдать ему справедливость, он действовал так успешно, что несколько месяцев спустя, а именно, в августе 1868 года, на нюренбергском конгрессе германских работников, все представители австрийского пролетариата без всякого протеста подписали узкую патриотическую программу социально-демократической партии.

Но это самое обнаружило только глубокое различие, существующее между политическим направлением предводителей, более или менее ученых и буржуазных, этой партии и собственным революционным инстинктом германского или по крайней мере австрийского пролетариата. Правда, в Германии и в Австрии этот народный инстинкт, подавляемый и беспрестанно отклоняемый от своей настоящей цели пропагандою партии более политической, чем революционно-социальной, с 1868 года мало развился вперед и не мог перейти в сознание народное; зато в странах латинского племени: в Бельгии, в Испании, в Италии и особенно во Франции, свободный от этого гнета и от этого систематического развращения, он развился широко, на полной

свободе и обратился действительно в революционное сознание городового и фабричного пролетариата *).

Как мы заметили выше, это сознание универсального характера социальной революции и солидарности пролетариата всех стран, так мало еще существующее между рабочими Англии, уже давно образовалось в среде французского пролетариата. Он знал уже в девятидесятых годах, что борясь за свое равенство и за свою свободу, он освобождает все человечество.

Эти великие слова употребляемые ныне нередко как фразы, но тогда искренно и глубоко прочувствованные— свобода, равенство и братство всего человеческого рода— встречаются во всех революционных песнях того времени. Они легли в основание новой социальной веры и социально-революционной страсти французских работников, стали, так сказать, их природою и определили, даже помимо их сознавания и воли, направление их мыслей, их стремлений и их предприятий. Всякий французский работник, когда делает революцию, вполне убежден, что делает ее не только для себя, но для целого мира, и несравненно больше для мира, чем для себя. Напрасно политические позитивисты и радикалы-республиканцы, в роде г. Гамбетты, старались и стараются отклонить французский пролетариат от этого космополитического направления и уверить его, что он должен подумать об устройстве своих собственных, исключительно национальных дел, связанных с патриотическою идеею величия, славы и политического преобладания французского государства, обеспечить в нем свою собственную свободу и свое собственное благосостояние, прежде чем мечтать об освобождении всего человечества, целого мира. Усилия их, повидимому, весьма благоразумны, но тщетны— природы не переделаешь, а эта мечта стала природою французского пролетариата, и она выгнала из его воображения и сердца последние остатки государственного патриотизма.

Происшествия 1870—71 годов доказали это вполне.

*) Нет сомнения, что усилия английских работников, стремящихся лишь только к собственному освобождению или к улучшению своей собственной участи, непременным образом обращаются в пользу всего человечества; но англичане этого не знают и не ищут; французы же, напротив, знают и ищут, что по нашему составляет огромную разницу в пользу французов и дает действительно всемирный смысл и характер всем их революционным движениям.

Да, во всех городах Франции пролетариат требовал поголовного вооружения и ополчения против немцев; и нет сомнения, что он осуществил бы это намерение, если бы не парализовал его с одной стороны подлый страх и повсеместная измена большинства буржуазного класса, предпочитавшего тысячу раз покориться пруссакам, чем дать оружие в руки пролетариата; а с другой стороны, систематически реакционное противодействие „правительства народной защиты“ в Париже и в провинции, оппозиция столь же противонародного диктатора, патриота Гамбетты.

Но вооружаясь, насколько при таких обстоятельствах это было возможно, против немецких завоевателей, французские работники были твердо убеждены, что будут бороться столько же за свободу и права немецкого пролетария, сколько и за свои собственные. Они заботились не о величии и чести французского государства, а о победе пролетариата над ненавистною военною силою, служащею против них в руках буржуазии орудием порабощения. Они ненавидели немецкие войска не потому, что они немецкие, а потому что они войска. Войска, употребленные г. Тьером против Парижской Коммуны, были чисто французские; однако они совершили в несколько дней более злодеяний и преступлений, чем немецкие войска, во все время войны. Для пролетариата отныне всякое войско, свое или чужое, равно враждебно, и французские работники это знают: поэтому их ополчение отнюдь не было ополчением патриотическим.

Восстание Парижской Коммуны против версальского *народного* собрания и против спасителя отечества—Тьера, совершенное парижскими работниками в виду немецких войск, еще окружавших Париж, обнаруживает и об'ясняет вполне ту единственную страсть, которая ныне двигает французский пролетариат, для которого отныне нет и не может быть другого дела, другой цели и другой войны, кроме революционно-социальных.

Это с другой стороны вполне об'ясняет неистовое исступление, овладевшее сердцами версальских правителей и представителей, а также и неслыханные злодеяния, совершенные под их прямым руководством и благословением над побежденными коммунарами. И, в самом деле, с точки зрения государственного патриотизма, парижские работники совершили ужасное преступление: в виду немецких войск, еще окружавших Париж и только что разгромивших оте-

чество, разбивших в прах его национальное могущество и величие, поразивших в самое сердце национальную честь, они, обуреваемые дикою, космополитическою, социально-революционною страстью, провозгласили окончательное разрушение французского государства, расторжение государственного единства Франции, несовместного с автономиею французских коммун. Немцы только уменьшили границы и силу их политического отечества, а они захотели совсем убить его, и как бы для обнаружения этой изменнической цели, свалили в прах Вандомскую колонну, величественную свидетельницу прошедшей французской славы!

С политически-патриотической точки зрения какое преступление могло сравниться с таким неслыханным святотатством! И вспомните, что парижский пролетариат совершил его не случайно, не под влиянием каких-нибудь демагогов и не в одну из тех минут безумного увлечения, которые нередко встречаются в истории каждого народа, и особенно французского. Нет, в этот раз парижские работники действовали спокойно, сознательно. Это фактическое отрицание государственного патриотизма было разумеется выражением сильной народной страсти, но страсти не мимолетной, а глубокой, можно сказать, обдуманной и уже обратившейся в народное сознание, страсти раскрывшейся вдруг перед испуганным миром, как бездонная пропасть, готовая поглотить весь настоящий строй общества со всеми его учреждениями, удобствами, привиллегиями и со всею цивилизациею...

Тут оказалось, с ясностью столь же ужасною, сколько и несомненно, что отныне между диким, голодным пролетариатом, обуреваемым социально-революционными страстями и стремящимся неотступно к созданию иного мира, на основании начал человеческой истины, справедливости, свободы, равенства и братства—начал терпимых в порядочном обществе разве только, как невинный предмет исторических упражнений—и между просвещенным и образованным миром привиллегированных классов, отстаивающих с отчаянною энергиею порядок государственный, юридический, метафизический, богословский и военно-полицейский, как последнюю крепость, охраняющую в настоящее время драгоценную привиллегию экономической эксплуатации,—что между этими двумя мирами, говорю я, между черно-рабочим людом и образованным обществом, соединяющим в

себе, как известно, всевозможные достоинства, красоты и добродетели, всякое примирение невозможно.

Война на жизнь и на смерть! И не в одной только Франции, а в целой Европе, и война эта может кончится только решительною победою одной из сторон, решительным низложением другой.

Или буржуазно-образованный мир должен укротить и поработить бунтующую народную стихию, дабы силою штыков, кнута или палки, благословенных, разумеется, какимнибудь Богом и об'ясненных разумно наукою, заставить чернорабочие массы работать попрежнему, что ведет прямо к полнейшему восстановлению государства, в его искреннейшей форме, которая одна возможна в настоящее время, т. е. в форме военной диктатуры или императорства; или же рабочие массы сбросят с себя окончательно ненавистное многовековое иго, разрушат в корне буржуазную эксплуатацию и основанную на ней буржуазную цивилизацию,—а это значит торжество социальной революции, сокрушение всего, что называется государством.

Итак, государство с одной стороны, социальная революция с другой—вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общественной жизни в целой Европе, но во Франции осязательнее, чем в какой либо другой стране. Государственный мир, обнимающий всю буржуазию, включая, разумеется, и обмещанившееся дворянство, нашел свое средоточие, последнее убежище и последнюю защиту в Версале. Социальная революция, потерпевшаа страшное поражение в Париже, но отнюдь не уничтоженная и даже не побежденная, обнимая теперь, как и всегда, весь городской и фабричный пролетариат, начинает уже захватывать своею неустанною пропагандою и сельское нателение, по крайней мере, в южной Франции, где эта пропаганда ведется и распространяется в самых широких размерах. И вот это враждебное противоположение двух, отныне непримиримых миров составляет *вторую* причину, по которой для Франции стало решительно невозможно сделаться вновь первостепенным, преобладающим государством.

Все привиллегированные слои французского общества без сомнения, желали бы поставить свое отечество вновь в это блестящее и внушительное положение; но вместе с тем они до такой степени пропитаны страстью любостяжания, обогащения, во что бы то ни стало, антипатриотическим

эгоизмом, что для осуществления патриотической цели они готовы, правда, принести в жертву имущество жизнь, свободу пролетариата, но не откажутся ни от одной из своих выгодных привиллегий и скорее подвергнутся чужеземному игу, чем поступятся своею собственностью или согласятся на уравнение состояний и прав.

То, что делается теперь на наших глазах, вполне подтверждает это. Когда правительство г. Тьера официально об'явило версальскому собранию о заключении окончательного договора с берлинским кабинетом, в силу чего немецкие войска должны будут очистить в сентябре еще занимаемые ими провинции Франции большинство собрания, представляющее коалицию привиллегированных классов во Франции, опустило головы; французские фонды, представляющие их интересы еще действительнее, живее,—пали, как будто после государственной катастрофы... Оказалось, что *ненавистное, насильственное* и *позорное* для Франции присутствие победоносного немецкого воинства для привиллегированных французских патриотов, представителей буржуазной доблести и буржуазной цивилизации, было утешением, опорой, спасением, и что его предстоящее удаление однозначуще для них с осуждением на смерть.

Значит, странный патриотизм французской буржуазии ищет своего спасения в позорном покорении отечества. Тем же, кто еще может сомневаться в этом укажем на любой консервативный французский журнал. Известно, до какой степени все оттенки реакционной партии, бонапартисты, легитимисты, орлеанисты испуганы, взволнованы, взбешены избранием г. Бароде депутатом в Париже. Но кто такой этот Бароде? Один из многочисленных пошляков партии г. Гамбетты, консерватор по положению, по инстинкту и по направлению, только с демократическими и республиканскими фразами, отнюдь не мешающими, а напротив чрезвычайно помогающими ныне исполнению самых реакционных мер, человек, одним словом, между которым и революцией нет и никогда не было ничего общего и который в 1870 и 1871 годах был одним из самых ревностных поборников буржуазного порядка в Лионе. Но он, в настоящее время, как и много других буржуазных патриотов, находит для себя выгодным подвизаться под знаменем, отнюдь не революционным, г. Гамбетты. В этом смысле он был избран Парижем в пику президенту республики Тьеру и монархическому псевдо-народному собранию, царствующему в Вер-

сале. И выбора этого ничтожного лица было достаточно, чтобы взбударажить всю консервативную партию! и знаете ли какой их главный аргумент? Немцы!

Раскройте любой журнал, и вы увидите, как они грозят французскому пролетариату законным гневом князя Бисмарка и его императора,—каков патриотизм! Да, они просто зовут немцев на помощь против грозящей им французской социальной революции. В своем дурацком испуге, они приняли даже невинного Бароде за революционного социалиста.

Такое настроение французской буржуазии подает мало надежды на восстановление государственного могущества и преобладания Франции посредством патриотизма привиллегированных классов.

Патриотизм французского пролетариата также не представляет много надежды. Границы его отечества расширились до того, что обнимают ныне пролетариат целого мира, в противоположность всей буржуазии, не исключая разумеется и французской. Заявления Парижской Коммуны в этом смысле решительны, а симпатии, высказываемые ныне так ясно французскими работниками к испанской революции, особенно в южной Франции, где обнаруживается явное стремление пролетариата к братскому соединению с испанским пролетариатом и даже к образованию с ним народной федерации, основанной на освобожденном труде и на коллективной собственности, наперекор всем национальным различиям и государственным границам—эти симпатии и стремления, говорю я, доказывают, что собственно для французского пролетариата, также как и для привиллегированных классов, время государственного патриотизма прошло.

А при таком отсутствии патриотизма во всех слоях французского общества и при открытой ныне непримиримой войне, существующей между ними, как восстановить сильное государство? Тут все государственное уменье престарелого президента республики пропадет даром, и все ужасные жертвы, принесенные им на алтарь политического отечества, как напр., бесчеловечное избиение многих десятков тысяч парижских коммунаров, с женщинами и детьми, и столь же бесчеловечные высылки других десятков тысяч в Новую Каледонию, окажутся несомненно бесполезными жертвами.

Напрасно г. Тьер силится возстановить кредит, вну-

треннее спокойствие, старый порядок и военную, силу Франции. Государственное здание, потрясенное и беспрестанно вновь потрясаемое в самой основе антагонизмом пролетариата и буржуазии, трещит, лопается и каждую минуту грозит падением. Где же такому старому, неизлечимо больному государству бороться с юным и до сих пор еще здоровым государством германским.

Отныне, повторяю я, роль Франции, как первостепенной державы, окончена. Время ее политического могущества прошло также безвозвратно, как прошло время ее литературного классицизма, монархического и республиканского. Все старые основы государства в ней сгнили, и напрасно силится Тьер построить на них свою консервативную республику, т. е. старое монархическое государство с подновленною мнимо-республиканскою вывескою. Но также напрасно глава нынешней радикальной партии, г. Гамбетта, очевидный наследник г. Тьера, обещает построить новое государство, будто бы искренне республиканское и демократическое, на основаниях будто бы новых, потому что эти основания не существуют и существовать не могут.

В настоящее серьезное время, сильное государство может иметь только одно прочное основание — военную и бюрократическую централизацию. Между монархиею и самою демократическою республикою существенное различие: в первой чиновный мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привиллегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно также теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которою его будут бить, будет называться палкою народной.

Социальный вопрос, страсть социальной революции овладела ныне французским пролетариатом. Ее нужно или удовлетворить, или обуздать и усмирить; но удовлетвориться она может только тогда, когда рушится государственное насилие, этот последний оплот буржуазных интересов. Значит, никакое государство, как бы демократичны ни были его формы, хотя бы самая красная *политическая* республика, народная только в смысле лжи, известной под именем народного представительства, не в силах дать народу того,

что ему надо, т. е. вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, насилия сверху, потому что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо-народное государство, задуманное г. Марксом, в сущности своей не представляет ничего, иного, как управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и по этому самому привилегированного меньшинства, будто-бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ.

Итак, удовлетворение народной страсти и народных требований для классов имущих и управляющих решительно невозможно; поэтому остается одно средство—*государственное насилие*, одним словом *государство*, потому что государство именно и значит *насилие*, господство посредством насилия, замаскированного, если можно, а в крайнем случае бесцеремонного и откровенного. Но г. Гамбетта столько же представитель буржуазных интересов, как и сам г. Тьер; наравне с ним он хочет сильного государства и безусловного господства среднего класса, с присоединением, быть может, обуржуазившегося слоя рабочих, составляющего во Франции весьма незначительную часть всего пролетариата. Вся разница между ним и г. Тьером состоит в том, что последний, одержимый предубеждениями и предрассудками своего времени, ищет опоры и спасенья только в чрезвычайно богатой буржуазии и с недоверием смотрит на десятки или даже сотни тысяч новых претендентов на управление из мелкой буржуазии и из вышеупомянутого класса рабочих, стремящихся к буржуазии; в то время как, г. Гамбетта, отвергнутый высшими классами, до сих пор исключительно правившими Франциею, стремится основать свое политическое могущество, свою республикански-демократическую диктатуру именно на том огромном и чисто буржуазном большинстве, которое до сих пор оставалось вне выгод и почестей государственного управления.

Он уверен, впрочем, и мы думаем совершенно справедливо, что лишь только ему удастся с помощью этого большинства овладеть властью, сами богатые классы, банкиры, крупные землевладельцы, купцы и промышленники, одним словом, все значительные спекуляторы, обогащающиеся более других народным трудом, обратятся к нему, признают его в свою очередь и будут искать его союза и дружбы, в которых он им разумеется не откажет, потому что, как настоящий государственный человек, он слишком

хорошо знает, что никакое государство и особенно сильное не может существовать без их союза и дружбы.

Это значит, что Гамбеттовское государство будет столь же притеснительно и разорительно для народа, как и все его более откровенные, но не более насильственные предшественники; и именно потому, что оно будет облечено в широкие демократические формы, оно сильнее и, гораздо вернее, будет гарантировать хищному и богатому меньшинству спокойную и широкую эксплоатацию народного труда.

Как государственный человек новейшей школы, г. Гамбетта нисколько не боится самых широко-демократических форм, ни права поголовного избирательства. Он лучше всякого знает, как мало в них ручательств для народа и как много, напротив, для эксплоатирующих его лиц и классов; он знает, что никогда правительственный деспотизм не бывает так страшен и так силен, как тогда, когда он опирается на мнимое представительство мнимой народной воли.

Итак, еслибы французский пролетариат мог увлечься обещаниями честолюбивого адвоката, еслибы г. Гамбетта удалось уложить этот беспокойный пролетариат на Прокрустову кровать своей демократической республики, то, нет сомнения, он успел бы восстановить французское государство во всем его прежнем величии и преобладании.

Но в том-то и дело, что эта попытка удасться ему не может. Нет теперь на свете такой силы, нет такого политического или религиозного средства, которое могло бы задушить в пролетариате какой бы то ни было страны, а особенно во французском пролетариате стремление к экономическому освобождению и к социальному равенству. Что ни делай Гамбетта, грози он штыками, ласкай он словами, ему не справиться с богатырскою силою, скрывающейся ныне в этом стремлении, и никогда не удастся ему запречь по прежнему массы чернорабочих в блестящую государственную колесницу. Никакими цветами красноречия не с'умеет он забросать и сравнять пропасть, отделяющую безвозвратно буржуазию от пролетариата, положить конец отчаянной борьбе между ними. Эта борьба потребует употребления всех государственных средств и сил, так что для удержания за собою внешнего преобладания между европейскими государствами у французского государства не останется средств, ни сил. Куда же ему тягаться с империею Бисмарка.

Что ни говори и как ни хвастай французские государственные патриоты, Франция, как государство, осуждена от-

ныне занимать скромное, весьма второстепенное место, мало того она должна будет подчиниться верховному руководству, дружески-попечительному влиянию германской империи, точно также, как до 1870 года итальянское государство подчинялось политике французской империи.

Положение, пожалуй, довольно выгодное для французских спекуляторов, обретающих значительное утешение на всемирном рынке, но отнюдь не завидное с точки зрения национального тщеславия, которым так преисполнены французские государственные патриоты. До 1870 года можно было думать, что это тщеславие так сильно, что оно в состоянии бросить самых упорных поборников буржуазных привилегий в Социальную Революцию, лишь бы только избавить Францию от позора быть побежденною и покоренною немцами. Но уже после 1870 года этого никто ждать от них не будет; все знают что они скорее согласятся на всякий позор, даже на подчинение немецкому покровительству, чем отказаться от своего прибыльного господства над своим собственным пролетариатом.

Не ясно ли, что французское государство никогда уже не восстановится, в своем прежнем могуществе? Но значит ли это, что всемирная и, легко сказать, передовая роль Франции кончилась? Отнюдь нет; это значит только, что потеряв безвозвратно свое величие, как государство, Франция должна будет искать нового величия в Социальной Революции.

Но если не Франция, то какое другое государство в Европе может состязаться с новою германскою империею.

Разумеется не Великобритания. Во первых, Англия никогда собственно не была государством в строгом и новейшем смысле этого слова, т. е. в смысле военной, полицейской и бюрократической централизации. Англия представляет скорее федерацию привилегированных интересов, автономное общество, в котором преобладала сначала поземельная аристократия, а теперь вместе с нею преобладает аристократия денежная, но в котором, точно также как во Франции, хотя и в несколько других формах, пролетариат ясно и грозно стремится к уравнению экономического состояния и политических прав...

Разумеется, влияние Англии на политические дела континентальной Европы было всегда велико, но оно основывалось всегда гораздо более на богатстве, чем на организации военной силы. В настоящее время, как всем известно,

оно значительно уменьшилось. Еще тридцать лет тому назад она не перенесла бы так спокойно ни завоевания рейнских провинций немцами, ни восстановления русского преобладания на Черном море, ни похода русских в Хиву. Такая систематическая уступчивость с ее стороны доказывает несомненную, и при том, с каждым годом все более возрастающую политическую несостоятельность. Главная причина этой несостоятельности все тот же антагонизм чернорабочего мира с миром эксплоатирующей, политически господствующей буржуазии.

В Англии Социальная Революция гораздо ближе, чем думают, и нигде она не будет так ужасна, потому что нигде она не встретит такого отчаянного и так хорошо организованного сопротивления, как именно в ней.

Об Испании и Италии даже и говорить нечего. Никогда не сделаются они грозными, ни даже сильными государствами, не потому, чтобы у них не было материальных средств, а потому, что народный дух, как той, так и другой, влечет их неотвратимо к совершенно иной цели.

Испания, совращенная с своего нормального пути католическим изуверством и деспотизмом Карла V и Филиппа II, и обогатившаяся вдруг не народным трудом, а американским серебром и золотом, в XVI и XVII веках, попробовала вынести на своих плечах незавидную честь насильственного основания всемирной монархии. Она дорого поплатилась за это. Время ее могущества было именно началом ее умственного, нравственного и материального обнищания. После короткого и неестественного напряжения всех сил, сделавшего ее страшною и ненавистною для целой Европы и даже успевшего остановить на минуту, но только на одну минуту, прогрессивное движение европейского общества, она как будто вдруг надорвалась и впала в крайнюю степень отупения, ослабления и апатии, в которой и оставалась, окончательно опозоренная чудовищным и идиотским управлением Бурбонов, до тех пор, пока Наполеон I-й своим хищническим вторжением в ее пределы не пробудил ее от двухвекового сна.

Оказалось, что Испания не умерла. Она спаслась от чужеземного ига чисто народным восстанием и доказала, что народные массы, невежественные и безоружные, в состоянии сопротивляться лучшим войскам в мире, если только они одушевлены сильною и единодушною страстью. Она доказала даже больше, а именно, что для сохранения

свободы, силы и страсти народной невежество даже предпочтительнее буржуазной цивилизации.

Напрасно немцы кичатся и сравнивают свое национальное, но далеко не народное восстание 1812 и 1813 годов с испанским. Испанцы восстали беззащитные против огромного могущества до тех пор непобедимого завоевателя; немцы же восстали против Наполеона лишь после совершенного поражения, нанесенного ему в России. До тех пор не было примера, чтобы какая-нибудь немецкая деревня или какой немецкий город посмел оказать, хотя самое ничтожное сопротивление победоносным французским войскам. Немцы так привыкли к повиновению, этой первой государственной добродетели, что воля победителей становилась для них священна, как скоро они фактически заменяли волю домашних властей. Сами прусские генералы, сдавая одну за другой крепости, самые крепкие позиции и столицы, повторяли достопамятные и обратившиеся в пословицу слова тогдашнего берлинского коменданта: „Спокойствие есть первая обязанность гражданина“.

Только один Тироль составил тогда исключение. В Тироле Наполеон встретил действительно народное сопротивление. Но Тироль, как известно, составляет самую отсталую и необразованную часть Германии, и пример его не нашел подражателей ни в одной из других областей просвещенной Германии.

Народное восстание, по природе своей стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату и жертву собственности своей и чужой. Народные массы на подобные жертвы всегда готовы: они потому и составляют грубую, дикую силу, способную к совершению подвигов и к осуществлению целей, повидимому, невозможных, что, имея лишь очень мало, или не имея вовсе собственности, они не развращены ею. Когда это нужно для обороны или для победы, они не остановятся перед истреблением своих собственных селений и городов, а так как собственность большею частью чужая, то в них обнаруживается нередко положительная страсть к разрушению. Этой отрицательной страсти далеко не достаточно, чтобы подняться на высоту революционного дела; но без нее последнее немыслимо, невозможно, потому что не может быть революции без широкого и страстного разрушения, разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно из него и, только посредством него, зарождаются и возникают новые миры.

Такое разрушение несовместно с буржуазным сознанием, с буржуазною цивилизациею, потому что она вся построена на фанатическом богопочитании собственности. Бюргер или буржуа отдадут скорее жизнь, свободу, честь, но не отступятся от своей собственности; самая мысль о посягательстве на нее, о разрушении ее для какой бы то ни было цели, кажется им святотатством; вот почему они никогда не согласятся на уничтожение своих городов и домов, даже когда этого потребует защита края; и вот почему французские буржуа в 1870 году и немецкое бюргерство до самого 1813 года так легко поддавались счастливым завоевателям. Мы видели, что обладания собственностью было достаточно, чтобы развратить французское крестьянство и убить в нем последнюю искру патриотизма.

Итак, чтобы сказать последнее слово о так называемом национальном восстании Германии против Наполеона повторим, во-первых, что оно воспоследовало только тогда, когда его уничтоженные войска бежали из России, и когда прусские и другие немецкие корпуса, незадолго перед тем составлявшие часть наполеоновской армии, перешли на сторону русских; и во-вторых, что даже и тогда в Германии не было собственно народного поголовного восстания, что города и села оставались спокойны попрежнему, а образовались только вольные отряды молодых людей, большею частью студентов, которые тотчас же были включены в состав регулярного войска, что совершенно противно методу и духу народных восстаний.

Одним словом, в Германии юные граждане или, точнее, верноподанные, возбужденные горячею проповедью своих философов и воспламененные песнями своих поэтов, вооружились для защиты и для восстановления германского государства, потому что именно в это время и пробудилась Германии мысль о государстве пангерманском. Между тем испанский народ встал поголовно, чтобы отстоять против дерзкого и могучего похитителя свободу, родины и самостоятельность народной жизни.

С тех пор Испания не засыпала, но в продолжении 60 лет мучилась, отыскивая себе новые формы для новой жизни. Бедная, чего она не перепробовала! От абсолютной монархии, два раза восстановляемой, до конституции королевы Изабеллы, от Эспартеро до Нарваэса, от Нарваэса до Прима и от последнего до короля Амедея, Сагасты и Сорильи: она как бы хотела примерить всевозможные видо-

изменения конституционной монархии, и все оказались для нее тесными, разорительными, невозможными. Также невозможна оказывается теперь консервативная республика, т. е. господство спекуляторов, богатых собственников и банкиров под республиканскими формами. Такою же невозможностью окажется скоро и политическая мелкобуржуазная федерация в роде швейцарской.

Испаниею овладел не на шутку чорт революционного социализма. Андалузские и эстремадурские крестьяне, не спрашиваясь никого, и не ожидая ничьих указаний, захватили уже и все далее захватывают земли прежних землевладельцев. Каталония и во главе ее Барселона громко заявляют своею независимостью, свою автономию. Мадридский народ провозглашает федеральную республику и не соглашается подчинить революцию будущим указам учредительного собрания. В северных провинциях, находящихся будто бы во власти карлистской реакции, совершается явно Социальная Революция: провозглашаются *Фуэросы*, независимость областей и общин, жгутся все судебные и гражданские акты; войско во всей Испании братается с народом и гонит своих офицеров. Началось всеобщее, публичное и частное банкротство—первое условие социально-экономической революции.

Одним словом, разгром и распадение окончательные и все это валится само собою, разбитое или раздробленное своею собственною гнилостью. Нет более ни финансов, ни войска, ни суда, ни полиции; нет государственной силы, нет государства, остается могучий, свежий народ, одержимый ныне единою социально-революционною страстью. Под коллективным руководством Интернационала и Союза Социальных Революционеров он сплочивает и организует свою силу и готовится на развалинах распадающегося государства и буржуазного мира основать собственный мир освобожденного работника-человека.

Италия столь же близка к Социальной Революции, как и сама Испания. В ней также, несмотря на все старания конституционных монархистов, и несмотря даже на геройские, но тщетные усилия двух великих вождей, Маццини и Гарибальди, не принялась, да и никогда не примется идея государственности, потому что она противна настоящему духу и всем современным инстинктивным стремлениям и материальным требованиям бесчисленного деревенского и городского пролетариата.

Также как Испания, Италия, утратившая уже очень давно и, главное, безвозвратно централистические или единодержавные предания древнего Рима, предания, сохранившиеся в книгах Данте, Макиавелли и в новейшей политической литературе, но отнюдь не в живой памяти народа— Италия, говорю я, сохранила только одну живую традицию абсолютной автономии даже не областей, а общины. К этому единственному политическому понятию, существующему собственно в народе, присоедините исторически-этнографическую разнородность областей, говорящих на диалектах столь различных, что люди одной области с трудом понимают, а иногда вовсе не понимают, людей других областей Понятно, стало быть, как далека Италия от осуществления новейшего политического идеала государственного единства Но это отнюдь не значит, что Италия была общественно раз'единена. Напротив, несмотря на все различия, существующие в наречиях, обычаях и правах, есть общий итальянский характер и тип, по которым вы сейчас отличите итальянца от человека всякого другого племени, даже южного.

С другой стороны, действительная солидарность материальных интересов и умственных стремлений самым тесным образом соединяют и сплочивают все итальянские области между собою. Но замечательно, что все эти интересы, ровно как и эти стремления обращены именно против насильственного политического единства и, напротив клонятся все к установлению единства общественного; так что можно сказать и доказать бесчисленными фактами из настоящей жизни Италии, что насильственно-политическое или государственное единство ее имело результатом общественное раз'единение и что, вследствии того, разрушение новейшего итальянского государства будет иметь непременно результатом ее вольно-общественное соединение.

Все это относится, разумеется, собственно только к народным массам, потому что в высших слоях итальянской буржуазии, также как и в других странах, с единством государственным создалось и теперь развивается и расширяется все более и более социальное единство класса привиллегированных эксплуататоров народного труда.

Этот класс обозначается теперь в Италии общим именем Консортерии. Консортерия обнимает весь официальный мир, бюрократический и военный' полицейский и судебный весь мир больших собственников, промышленников, купцов

и банкиров; всю официальную и официозную адвокатуру и литературу, а также весь парламент, правая сторона которого пользуется ныне всеми выгодами управления, а левая стремится захватить тоже самое управление в свои руки.

Итак, в Италии, как и везде, существует единый и нераздельный политический мир хищников, сосущих страну во имя государства и доведших ее, для вящей пользы последнего, до крайней степени нищеты и отчаяния.

Но нищета самая ужасная, даже когда она поражает многомиллионный пролетариат, не есть еще достаточный залог для революции. Человек одарен от природы изумительным и, право, иногда доводящим до отчаяния терпением и чорт знает чего он не переносит, когда вместе с нищетой, обрекающей его на неслыханные лишения и медленную голодную смерть, он еще награжден тупоумием, тупостью чувств, отсутствием всякого сознания своего права и тем невозмутимым терпением и послушанием, которыми между всеми народами особенно отличаются восточные индейцы и немцы. Такой человек никогда не воспрянет; умрет, но не взбунтуется.

Но когда он доведен до отчаяния, возмущение его становится уже более возможным. Отчаяние—острое, страстное чувство. Оно вызывает его из тупого, полусонного страдания и предполагает уже более или менее ясное сознание возможности лучшего положения, которого он только не надеется достигнуть.

В отчаянии, наконец, долго оставаться не может никто оно быстро приводит человека или к смерти, или к делу. К какому делу? Разумеется, к делу освобождения и завоевания условий лучшего существования. Даже немец в отчаянии перестает быть резонером; только надо много, очень много всякого рода обид, притеснений, страданий и зла, чтобы довести его до отчаяния.

Но и нищеты с отчаянием мало, чтобы возбудить Социальную Революцию. Они способны произвести личные или много, местные бунты, но недостаточны, чтобы поднять целые народные массы. Для этого необходим еще общенародный идеал; вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освещенного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов,—нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, рели-

гиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетою, доводящею его до отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка и никакая сила не может ей воспрепятствовать.

Именно в таком положении находится италианский народ. Нищета и претерпеваемые им всякого рода страдания—ужасны и мало уступают нищете и страданиям, удручающим русский народ. Но в тоже самое время в италианском пролетариате гораздо в большей степени, чем в нашем, развилось страстное революционное сознание, определяющееся в нем с каждым днем все яснее и сильнее. От природы умный и страстный, италианский пролетариат начинает наконец понимать, чего ему надо и чего он должен хотеть для всецелого и всеобщего освобождения. В это отношении пропаганда Интернационала, которая повелась энергично и широко только в последние два года, сказала ему громадную услугу. Она именно дала ему или вернее, она возбудила в нем этот идеал, крупно начертанный глубочайшим инстинктом его, без которого, как мы сказали, народное восстание, каковы бы ни были страдания народа, решительно невозможно она указала ему цель которую он должен осуществить и вместе с тем открыла ему пути и средства для организации народной силы.

Этот идеал представляет, разумеется, народу на первом плане конец нужды, конец нищеты и полное удовлетворение всех материальных потребностей посредством коллективного труда, для всех обязательного и для всех равного; потом—конец господам и всякому господству и вольное устройство народной жизни, сообразно народным потребностям, не сверху вниз, как в государстве, но снизу вверх, самим народом, помимо всех правительств и парламентов, вольный союз земледельческих, и фабричных рабочих товариществ, общин, областей и народов; и наконец в более отдаленном будущем, общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех государств.

Замечательно, что в Италии, равно как и в Испании, решительно не посчастливилось государственно-коммунистической программе Маркса, а напротив, приняли широко и страстно, программу пресловутого Альянса или Союза Социальных Революционеров, об'явившую беспощадную

войну всякому господству, правительственной опеке начальству и авторитету.

При этих условиях народ может освободиться, построить свою собственную жизнь на самой широкой воле всех и каждого, но отнюдь уже не может грозить свободе других народов; поэтому, ни со стороны Испании, ни со стороны Италии завоевательной политики ждать нельзя, а напротив должно ожидать близкой Социальной Революции.

Маленькие государства, каковы Швейцария, Бельгия, Голландия, Дания и Швеция, также, именно по тем же причинам, но главным образом вследствии своей политической незначительности, ни кому не грозят, а напротив, имеют много причин опасаться завоеваний со стороны новой германской империи.

Остаются Австрия, Россия и прусская Германия. Упоминать об Австрии не значит ли говорить о неизлечимом больном, быстрыми шагами приближающемся к смерти? Эта империя, созданная путем династических связей и военного насилия, состоящая к тому же из четырех противоположных и друг друга мало любящих рас, под преобладанием расы немецкой, единодушно ненавидимой тремя другими и числом своим едва равняющейся четвертой части всего населения, на половину же составленная из славян, требующих автономии и в последнее время распавшихся на два государства, мадьяро-славянское и германо-славянское,—такая империя, говорим мы, могла держаться, пока преобладал в ней военно-полицейский деспотизм. В продолжении последних двадцати пяти лет она претерпела три смертельных удара. Первое поражение было ей нанесено революцией 1848 года, положившей конец старой системе и управлению князя Меттерниха. С тех пор она поддерживает дряхлое существование свое героическими средствами и самыми разнообразными конфертативами. В 1849 году, спасенная императором Николаем, она под управлением надменного олигарха, князя Шварценберга, и славянофильствующего иезуита, графа Туна, редактора конкордата, бросилась искать спасения в самой отчаянной клерикальной и политической реакции и в водворении полнейшей и беспощаднейшей централизации во всех провинциях своих наперекор всем национальным различиям. Но второе поражение, нанесенное ей Наполеоном III в 1859 г. доказало, что военно-бюрократическая централизация ее спасти не может.

С тех пор она ударилась в либерализм. Вызвала из Саксонии неумелого и несчастного соперника князя (а тогда еще графа) Бисмарка, барона Бейста и стала отчаянно освобождать свои народы, но, освобождая их, хотела вместе с тем спасти и свое государственное единство, т. е. решить задачу просто-неразрешимую.

Надо было в одно и тоже время удовлетворить четыре главные племени, населяющие империю: славян, немцев, мадьяр и валахов, которые не только чрезвычайно различны по своей природе, по своим языкам, равно как и по различным характерам и степеням культуры, но даже относятся друг к другу большею частью враждебно и потому могли и могут быть удержаны в государственной связи только посредством правительственного насилия.

Надо было удовлетворить немцев, большинство которых, стремясь к завоеванию самой либерально-демократической конституции, вместе с тем требуют настоятельно и громко, чтобы за ними было оставлено *древнее право* на государственное преобладание в австрийской монархии, не смотря на то, что они вместе с евреями составляют только четвертую часть всего ее населения.

Не есть ли это новое доказательство той истины, которую мы неутомимо отстаиваем, в убеждении, что от всеобщего уразумения ее зависит скорейшее разрешение всех социальных задач; а именно, что государство, всякое государство, будь оно облечено в самые либеральные и демократические формы, непременно основано на преобладании, на господстве, на насилии, т. е. на деспотизме, скрытом, если хотите, но тем более опасном.

Немцы, государственники и бюрократы, можно сказать, от природы, опирают свои претензии на своем историческом праве, т. е. на праве завоевания и давности, с одной стороны, а с другой стороны, на мнимом превосходстве своей культуры. Мы еще будем иметь случай показать, как далеко простираются их претензии, теперь же ограничимся австрийскими немцами, хотя очень трудно отделить их претензии от общегерманских.

Австрийские немцы в последние годы, скрепя сердце поняли, что им надо отказаться, по крайней мере на первое время, от преобладания над мадьярами, за которыми они признали наконец право на самостоятельное существование. Из всех племен, населяющих австрийскую империю, мадьяры, после немцев, самый государственный народ: не

смотря на жесточайшие гонения и на самые крутые меры, которыми в продолжении девяти лет, от 1850 до 1859, австрийское правительство силилось сломить их упорство, они не только не отказались от своей национальной самостоятельности, но отстаивали и отстояли свое право, по их мнению равно же историческое, на государственное преобладание над всеми другими племенами, населяющими вместе с ними венгерское королевство, несмотря на то, что сами составляют немного более третьей части всего королевства *).

Таким образом несчастная австрийская империя распалась на два государства, почти одинаковой силы и соединенные только под одною короною—на государство цислейтанское или славяно-немецкое с 20.500.000 жителей (из которых 7.200.000 немцев и евреев, 11.500.000 славян и около 1.800.000 итальянцев и других племен) и на государство транслейтанское, венгерское или мадьяро-славяно-румыно-немецкое.

Замечательно то, что ни одно из этих двух государств даже в своем внутреннем составе, не представляет никаких залогов ни настоящей, ни даже будущей силы.

В венгерском королевстве, не смотря на либеральную конституцию и на несомненную ловкость мадьярских правителей, борьба рас, это коренная болезнь австрийской монархии, нисколько не утихла. Большинство населения, подчиненное мадьярам, не любит их и никогда не согласится добровольно нести их иго, вследствие чего между ним и мадьярами происходит беспрерывная борьба, причем славяне опираются на турецких славян, а румыны на братское население в Валахии, Молдавии, Бессарабии и Буковине, мадьяры, составляющие только одну треть населения, поневоле должны искать опоры и покровительства в Вене; а императорская Вена, которая не может переварить мадьярского отторжения, питает, равно как и все одряхлевшие и падшие династические правительства, тайную надежду на чудесное восстановление утраченного могущества, чрезвычайно рада этим внутренним раздорам, не позволяющим венгерскому королевству установиться, и втайне разжигает славянские и румынские страсти против мадьяр. Мадьярские правители и политические люди это

*) В венгерском королевстве считается 5.500.000 мадьяр, 5.000.000 славян, 2.700.000 румын, 1.800.000 евреев и немцев и около 500.000 других племен; всего 15.500.000 жителей.

знают и в отплату с своей стороны поддерживают тайное сношение с князем Бисмарком, который, предвидя неизбежную войну против австрийской империи, обреченной на гибель, заигрывает с мадьярами.

Цислейтанское или германо-славянское государство находится в положении ничуть не лучшем. Тут немного больше семи миллионов немцев, включая евреев, заявляют претензию управлять одинадцатью с половиною миллионами славян.

Претензия эта, разумеется, странная. Можно сказать, что с самых древних времен историческою задачей немцев было завоевывать славянские земли, истреблять, покорять и цивилизовать, т. е. немечить или мещанить славян. Отсюда возникла между обоими племенами глубокая историческая взаимная ненависть, обусловленная с обеих сторон специальным положением каждой.

Славяне ненавидят немцев, как ненавидят всех победителей народы завоеванные, но не примирившиеся и в душе своей не покорившиеся. Немцы ненавидят славян, как господа ненавидят обыкновенно своих рабов; ненавидят их за их ненависть, которую они, немцы, заслужили со стороны славян; ненавидят их за ту невольную и беспрестанную боязнь, которую возбуждают в них неугасимая мысль и надежда славян на освобождение.

Как все завоеватели чужой земли и покорители чужого народа, немцы в одно и тоже время совершенно несправедливо и ненавидят, и презирают славян. Мы сказали, за что они их ненавидят; презирают же они их за то, что славяне не умели и не хотели онемечиться. Замечательно, что прусские немцы самым серьезным образом и горько упрекают австрийских немцев и обвиняют австрийское правительство чуть ли не в измене за то, что они не умели онемечить славян. Это по их убеждению, да и в самом деле, составляет величайшее преступление против обще-немецких патриотических интересов, против *пангерманизма*.

Угрожаемые, или вернее, уже теперь отовсюду гонимые не совсем раздавленные этим ненавистным для них пангерманизмом, австрийские славяне, за исключением поляков противопоставили ему другую отвратительнейшую нелепость

другой не менее свободо-противный и народо-убийственный идеал—*панславизм**).

Мы не утверждаем, чтобы все австрийские славяне, даже помимо поляков, поклонялись этому столь же уродливому, сколько и опасному идеалу, к которому, заметим мимоходом, между турецкими славянами, не смотря на все происки русских агентов, беспрестанно шляющихся между ними, проявляется чрезвычайно мало симпатии. Но тем не менее верно, что чаяние избавления и избавителя от Петербурга довольно сильно распространено между австрийскими славянами. Страшная и, прибавим, совершенно законная ненависть довела их до такой степени безумия, что, позабыв или не зная всех бедствий, претерпеваемых Литвою, Польшею, Малороссиею, да и самим великорусским народом под деспотизмом московским и петербургским, они стали ждать спасения от нашего всероссийски-царского кнута!

Что такие нелепые ожидания могли развиться в славянских массах, удивляться не следует. Они не знают истории, не знают также и внутреннего состояния России, они слышали только, что на смех и наперекор немцам образовалась огромная, будто бы чисто славянская империя, до такой степени могущественная, что перед нею дрожат ненавистные немцы. Немцы дрожат, следовательно, славянам, надо радоваться, немцы ненавидят, значит славяне должны любить.

Все это естественно. Но странно, грустно и непростительно, что среди образованного класса в австрийско-славянских землях создалась партия, во главе которой стоят люди опытные, умные, сведующие, и открыто проповедуют

*) Мы столько же отявленные враги *пангерманизма*, сколько и *пангерманизма* и намереваемся в одной из будущих книжек посвятить этому вопросу, по нашему чрезвычайно важному, особую статью; теперь же скажем только, что считаем священною и неотлагаемою обязанностью для русской революционной молодежи противодействовать всеми силами и всевозможными средствами панславистической пропаганде, преизводимой в России и главным образом в славянских землях правительственными оффициальными и вольно—славянофильствующими или оффициальными русскими агентами, они стараются уверить несчастных славян, что петербургский славянский царь, проникнутый горячею отеческою любовью к славянским братьям, и подлая народо-ненавистная, народо-губительная всероссийская империя, задушившая Малороссию и Польшу, а последнюю даже продавшая частью немцам, могут и хотят освободить славянские страны от немецкого ига и это в то самое время, когда петербургский кабинет явным образом продает и предает всю Богемию с Моравиею князю Бисмарку в вознаграждение за обещанную помощь на Востоке

панславизм или, по крайней мере в смысле одних, освобождение славянских племен посредством могучего вмешательства русской империи, а в смысле других — даже создание *великого царства славянского* под державою русского царя.

Замечательно, до какой степени эта проклятая немецкая цивилизация, по существу своему буржуазная и потому государственная, успела проникнуть в души даже патриотов славянских. Они родились в онемечившемся буржуазном обществе, учились в немецких школах и университетах, привыкли думать, чувствовать, хотеть по немецки и стали бы совершенными немцами, если бы цель которую они преследуют, не была антинемецкая: немецкими путями и средствами они хотят, думают, освободить славян из под немецкого ига. Не понимая по своему немецкому воспитанию другого способа освобождения, как посредством образования славянских государств, или единого могущественного славянского государства, они задаются и целью совершенно немецкою, потому что новейшее государство, централистическое, бюрократическое и полицейско-военное вроде, например, новой германской или всероссийской империи, есть создание чисто немецкое; в России оно было прежде с примесью татарского элемента, но за татарскою любезностью, право, и в Германии теперь дела не станет.

По всей природе и по всему существу своему, славяне решительно племя не политическое, т. е. не государственное. Напрасно чехи помнят свое великое царство Моравское, а Сербы царство Душана. Все это или эфемерные явления, или древние басни. Верно то, что ни одно славянское племя само собой не создало государства.

Польская монархия республика создалась под двойным влиянием германизма и латинизма после совершенного поражения, нанесенного крестьянскому народу (хлопам) и после рабского покорения его под иго шляхты, которая по свидетельству и по мнению многих польских историков и писателей (между прочим Мицкевича) не была даже славянского происхождения.

Богемское или чешское королевство было слеплено чисто по образу и подобию немецкому, под прямым влиянием немцев, вследствии чего Богемия так рано стала органическим членом, неотрывною частью германской империи.

Ну, а историю образования всероссийской империи все знают; тут участвовали и татарский кнут, и византийское благословение, и немецкое чиновно-военное и полицейское

просвещение. Бедный великорусский народ, а потом и другие народы: малороссийский, литовский и польский, присоединенные к ней, участвовали в ее создании только своею спиною.

Итак, несомненно, что славяне никогда сами собою, своею собственною инициативой государства не слагали. А не слагали они его потому, что никогда не были завоевательным племенем. Только народы завоевательные создают государство и создают его непременно себе в пользу, в ущерб покоренным народам.

Славяне были по преимуществу племенем мирным и земледельческим. Чуждые воинственного духа, которым одушевлялись германские племена, они были поэтому самому чужды тем государственным стремлениям, которые с ранних пор проявились в германцах. Живя отдельно и независимо в своих общинах, управляемых по патриархальному обычаю стариками, впрочем на основании выборного начала и пользуясь все одинаково общинною землею, они не имели и не знали дворянства, не имели даже особой касты жрецов, были все равны между собою, осуществляя, правда, еще только в патриархальном, и следовательно, в самом несовершенном виде, идею человеческого братства. Не было постоянной политической связи между общинами. Но когда угрожала общая опасность, например, нападение чужеземного племени, они временно заключали оборонительный союз, и лишь только опасность миновала, эта тень политического соединения исчезала. Значит, не было и не могло быть славянского государства. Но существовала за то связь общественная, братская между всеми славянскими племенами, в высшей степени гостеприимными.

Естественно, что при такой организации славяне должны были оказаться беззащитными против нападений и захватов воинственных племен, особенно германцев, стремившихся распространить повсюду свое господство. Славяне были отчасти истреблены, большею же частью покорены турками, татарами, мадьярами, а главным образом немцами.

Со второй половины X века начинается мученическая история их рабства, но не только мученическая, а также и героическая. В многовековой, беспрерывной и упорной борьбе против завоевателей, они пролили много крови за свою земскую волю. Уже в XI веке мы встречаем два факта: всеобщее восстание славянских язычников, обитавших между Одером, Эльбою и Балтийским морем, против немецких ры-

царей и попов, и столь же знаменательное возмущение великопольских хлопов против шляхетского господства. Затем до XV века продолжалась мелкая, незаметная, но беспрерывная борьба западных славян против немцев, южных против турок, северовосточных против татар.

В XV веке мы встречаем великую и на этот раз победоносную, а также чисто народную революцию чешских гуситов. Оставляя в стороне их религиозный принцип, который однако, заметим мимоходом, был несравненно ближе к началу человеческого братства и народной свободы, чем принцип католический и последовавший за ним протестантский принцип,—мы обратим внимание на чисто-социальный и противо-государственный характер этой революции. Это был бунт славянской общины против немецкого государства.

В XVII веке, вследствие целого ряда измен пражского, полуонемеченного мещанства, гуситы претерпели окончательное поражение. Почти половина чешского народонаселения была истреблена, и земли отданы колонистам из Германии. Немцы и вместе с ними и иезуиты восторжествовали, и в продолжении двух слишком веков после этого кровавого поражения, западно-славянский мир оставался неподвижен, нем, под гнетом католической церкви и восторжествовавшего германизма. В то же самое время южные славяне влачили рабскую долю под преобладанием мадьярского племени или под игом турецким. Но за то славянский бунт во имя тех же народно-общинных начал воспрянул на северо-востоке.

Не говоря уже об отчаянной борьбе Великого Новгорода, Пскова и других областей против царей московских в XVI веке, ни о союзном ополчении велико-русского земства против польского короля, иезуитов, московских бояр и вообще против преобладания Москвы в начале XVII века, вспомним знаменитое восстание малороссийского и литовского населения против польской шляхты, а вслед за ним еще более решительное восстание приволжского крестьянства под предводительством Степана Разина; наконец, сто лет спустя, не менее знаменательный бунт Пугачева. И во всех этих чисто народных движениях, восстаниях и бунтах, мы находим ту же ненависть к государству, то же стремление к созданию вольно-общинного крестьянского мира.

Наконец, XIX век может быть назван веком общего пробуждения для славянского племени. О Польше и говорить нечего. Она никогда не засыпала, потому что со времени разбойнического похищения ее свободы, правда не народ-

ной, а шляхетской и государственной, со времени ее разделения между тремя хищническими державами, она не переставала бороться, и что ни делай Муравьевы и Бисмарки, она будет бунтовать, пока не добунтуется до свободы. К несчастью для Польши, руководящие партии ее, до сих пор еще преимущественно шляхетские, не умели отказаться от своей государственной программы и, вместо того чтобы искать освобождения и обновления своей родины в социальной революции, повинуясь древним преданиям, ищут их то в покровительстве какого-нибудь Наполеона, то в союзе с иезуитами и австрийскими феодалами.

Но в нашем веке пробудились также западные и южные славяне. Наперекор всем немецким политическим, полицейским и цивилизаторским усилиям, Богемия после трехвекового сна, воспрянула вновь как страна чисто славянская и стала естественным средоточием для всего западно-славянского движения. Тем же самым стала турецкая Сербия для движения южно-славянского.

Но вместе с возрождением славянских племен возбуждается вопрос чрезвычайно важный и, можно сказать роковой.

Каким образом должно совершиться это славянское возрождение? Древним ли путем государственного преобладания или путем действительного освобождения всех народов, по крайней мере, европейских, освобождения всего европейского пролетариата от всякого ига, и прежде всего от ига государственного?

Должны ли и могут ли славяне избавиться от чужеземного, главным образом, от немецкого ига, наиболее для них ненавистного, прибегая в свою очередь к немецкому методу завоевания, захвата и принуждения завоеванных народных масс к ненавистному им, прежде немецкому, теперь же славянскому верноподанничеству или только путем солидарного восстания всего европейского пролетариата, посредством Социальной Революции?

Все будущее славян зависит от того, какой из этих двух путей они выберут. На который же из них они должны решиться?

По нашему убеждению, поставить этот вопрос значит разрешить его. Вопреки премудрому изречению царя Соломона, старое никогда не повторяется, новейшее государство, только вполне осуществившее древнюю идею господства, точно также как христианство осуществляет последнюю

форму богословского верования или религиозного рабства; государство бюрократическое, военно-полицейское и централистическое, стремящееся по самой необходимости своего внутреннего существа захватывать, покорять, душить все, что вокруг него существует, живет, движется, дышет; это государство, нашедшее последнее выражение свое в пангерманской империи, отживает ныне свой век. Его дни сочтены, и от падения его все народы ждут своего окончательного избавления.

Неужели славянам суждено повторить человеко-ненавистный, народо-ненавистный, уже теперь осужденный историею ответ? И для чего? Чести нет никакой; напротив — преступление, бесславие, проклятие современников и потомков. Или славянам стало завидно, что немцы заслужили ненависть всех остальных народов Европы? Или им нравится роль всемирного Бога? Чорт побери всех славян, со всею их военною будущностью, если после многолетнего рабства, мучения, молчания они должны принести человечеству новые цепи!

А польза для славян какая? Какая может быть польза для славянских народных масс от образования великого славянского государства? В таких государствах есть выгода несомненная, но только не для многомиллионного пролетариата, а для привилегированного меньшинства, поповского, дворянского, буржуазного или, пожалуй, хотя интеллектуального, т. е. такого, которое, во имя своей патентованной учености и своего мнимо умственного превосходства, считает себя призванным заправлять массами; выгода есть для нескольких тысяч притеснителей, палачей и эксплоататоров пролетариата. Для самого пролетариата, для чернорабочих масс чем обширнее государство, тем тяжелее цепи и тем теснее тюрьма.

Мы сказали и доказали выше, что общество не может быть и оставаться государством, если не сделается завоевательным государством. Та самая конкуренция, которая на экономическом поле уничтожает и поглощает небольшие и даже средние капиталы, фабричные заведения, поземельные владения и торговые дома в пользу огромных капиталов, фабрик, имуществ и торговых домов, уничтожает и поглощает маленькие и средние государства в пользу империй. Отныне всякое государство, если оно хочет существовать не на бумаге только и не по милости его соседей, пока им угодно терпеть его существование, но, действительно, са-

мостоятельно, независимо должно непременно быть завоевательным.

Но быть завоевательным государством, значит быть вынужденным держать в насильном подчинении много миллионов чужого народа. Для этого необходимо развитие громадной военной силы. А где торжествует военная сила, прощай свобода! Особенно прощай воля и благоденствие рабочего народа. Из этого следует, что образование великого славянского государства есть ни что иное, как образование громадного славянонародного рабства.

„Но, ответят нам славянские государственники, мы не хотим одного великого славянского государства, мы желаем только образования нескольких чисто славянских государств, средней величины, как необходимого залога для независимости славянских народов“. Но это мнение противно логике и историческим фактам, силе вещей; никакое государство средней величины существовать самостоятельно теперь не может. Значит, или славянских государств не будет, или будет одно громадное и всепоглощающее государство панславистское, кнутовое, С.-Петербургское.

Да и может ли славянское государство бороться против громадного могущества новой пангерманской империи, если оно само не будет столь же громадно и столь же могущественно? Рассчитывать на дружное действие многих отдельных государств, связанных одними интересами, никогда не следует; во первых, потому что соединение разнородных организаций и сил, хотя бы равнялось или даже превышало по числу сил противников, все-таки слабее последних, потому что последние однородны и организация их, повинующаяся одной мысли, одной воли, крепче и проще; во вторых, потому что никогда не следует рассчитывать на дружное содействие многих держав, даже и тогда, когда их собственные интересы требуют такого союза. Правители государств, точно также как и простые смертные, большею частью поражены слепотою, мешающею им видеть за интересом и за страстями минуты существенные требования их собственного положения.

В 1863 г. прямым интересом Франции, Англии, Швеции и даже Австрии было вступиться за Польшу против России, однако никто не вступился. В 1864 г. интерес еще более прямой предписывал Англии, Франции, особенно Швеции и даже России вступиться за Данию, которой угрожало Прусско-Австрийское, или вернее Прусско-Германское завоевание,

и опять таки никто не вступился. Наконец, в 1870 г. Англия, Россия и Австрия, не говоря о маленьких северных государствах, должны были в своем очевидном интересе остановить торжественное вторжение прусско-германских войск во Францию до самого Парижа и чуть не до самого юга; но и на этот раз никто не вмешался, а только, когда создалось новое, всем грозящее германское могущество, державы поняли, что должны были вмешаться, но было уже поздно.

Значит, на правительственный ум соседних держав рассчитывать не должно, надо рассчитывать на свои собственные силы, и эти силы должны, по крайней мере, равняться силам противника. Стало быть, ни одно славянское государство, взятое отдельно, не будет в состоянии противиться напору пангерманской империи.

Но нельзя ли будет противопоставить пангерманской централизации панславянскую федерацию, т. е. союз самостоятельных славянских государств или штатов, в роде Северо-Американского или Швейцарского? И на этот вопрос мы должны отвечать отрицательно.

Во первых, чтобы какой-нибудь союз мог состояться, необходимо, чтобы всероссийская империя рушилась, чтобы она распалась на много отдельных и друг от друга независимых и только федеративно друг с другом связанных государств, потому что соблюдение независимости и свободы небольших или даже средних славянских государств в таком федеративном союзе с такою громадною империею просто немыслимо.

Положим даже, что петербургская империя распадется на большее или меньшее число вольных штатов, и что организованные с своей стороны как самостоятельные государства, Польша, Богемия, Сербия, Болгария и т. д. образовали вместе с этими новыми русскими штатами, великую славянскую федерацию. И в таком случае, утверждаем мы, эта федерация не будет в состоянии бороться против пангерманской централизации по той простой причине, что военно-государственная сила будет всегда на стороне централизации.

Федерация штатов может до некоторой степени гарантировать буржуазную свободу, но государственно-военной силы создать не может, потому именно, что она федерация; государственная сила требует непременно централизации. Нам укажут на пример Швейцарии и Соединенных Штатов

Америки. Но Швейцария именно, ради увеличения своих военных и государственных сил стремится теперь явным образом к централизации, а федерация остается поныне возможною в Северной Америке потому только, что на американском континенте, в соседстве с великою республикою, нет ни одного могучего централизованного государства в роде России, Германии или Франции.

Итак, чтобы противодействовать на государственном или политическом поприще торжествующему пангерманизму, остается одно только средство — создать панславянское государство. Средство во всех других отношениях чрезвычайно невыгодное для славян, потому что оно непременно повлечет за собою общее славянское рабство под всероссийским кнутом. Но верно ли оно, по крайней мере, в отношении к своей цели, т. е. низложению германского могущества и покорению немцев панславянскому, т. е. петербургско-императорскому игу?

Нет, не только не верно, но даже наверное недостаточно. Правда, немцев в Европе всего 50 миллионов с половиною, (включая разумеется 9 миллионов австрийских немцев). Но положим, что мечта немецких патриотов сбылась окончательно, и что в состав германской империи вошли бы вся фламандская часть Бельгии, Голландия, немецкая Швейцария, вся Дания и даже Швеция с Норвегией, что вместе составляет народонаселение немного более 15 миллионов. Ну что же? и тогда немцев будет в Европе много, много 66 миллионов, а славян считается около 90 миллионов. Значит, в количественном отношении славянское население Европы превосходит почти на треть германское, но мы все таки утверждаем, что никогда панславянское государство не сравняется могуществом и настоящею государственно-военною силою с империей пангерманской. Почему? Потому что в немецкой крови, в немецком инстинкте, в немецкой традиции есть страсть государственного порядка и государственной дисциплины, в славянах же не только нет этой страсти, но действуют и живут страсти совершенно противные; поэтому, чтобы дисциплинировать их, надо держать под палкою, в то время как всякий немец с убеждением, свободно съел палку. Его свобода состоит именно в том, что он вымуштрован и охотно преклоняется перед всяким начальством.

Притом немцы народ серьезный и работящий, они учены, бережливы, порядливы, отчетливы и расчетливы, что не-

мешает им, когда надо, а именно когда того хочет начальство, отлично драться. Они доказали это в последних войнах. К тому же их военная и административная организация доведена до наивозможнейшей степени совершенства, степени, которой никакой другой народ никогда не достигнет. Так вообразимо ли, чтоб славяне могли состязаться с ними на поле государственности!

Немцы ищут жизни и свободы своей в государстве: для славян же государство есть гроб. Славяне должны искать своего освобождения вне государства, не только в борьбе против немецкого государства но во всенародном бунте против всякого государства, в Социальной Революции.

Славяне могут освободить себя, могут разрушить ненавистное им немецкое государство не тщетными стремлениями подчинить в свою очередь немцев *своему* преобладанию, сделать их рабами своего славянского государства, а только призывом их к общей свободе и к общему человеческому братству на развалинах всех существующих государств. Но государства сами не валятся: их может только повалить всенародное и всеплеменная, интернациональная Социальная Революция.

Организировать народные силы для совершения такой революции—вот единственная задача людей, искренно желающих освобождения Славянского племени из под многолетнего ига. Эти передовые люди должны понять, что то самое, что в прошедшие времена составляло слабость славянских народов, а именно их неспособность образовать государство, в настоящее время составляет их силу, их право на будущность, дает смысл всем их настоящим народным движениям. Не смотря на громадное развитие новейших государств и вследствие этого окончательного развития, доведшего, впрочем, совершенно логически и с неотвратимою необходимостью самый принцип государственности до абсурда, стало ясно, что дни государств и государственности сочтены, и что приближаются времена полного освобождения чернорабочих масс и их вольной общественной организации снизу вверх, без всякого правительственного вмешательства из вольных экономических, народных союзов, помимо всех старых государственных границ и всех национальных различий, на одном основании производительного труда, совершенно очеловеченного и вполне солидарного при всем своем разнообразии.

Передовые славянские люди должны наконец, понять,

что время невинной игры в славянскую филологию прошло и что нет ничего нелепее и вместе вреднее, народоубийственнее, как ставить идеалом всех народных стремлений мнимый принцип национальности. Национальность не есть общечеловеческое начало, а есть исторический, местный факт имеющий несомненное право, как все действительные и безвредные факты, на общее признание. Всякий народ или даже народец имеет свой характер, свою особую манеру существовать, говорить, чувствовать, думать и действовать; и этот характер, эта манера, составляющие именно суть национальности, суть результаты всей исторической жизни и всех условий жизни народа.

Всякий народ, точно также как и всякое лицо, есть по неволе то, что он есть и несомненное право быть самим собою. В этом заключается все так называемое национальное право. Но если народ или лицо существуют в таком виде и не могут существовать в другом из этого не следует, чтобы они имели право и что для них было бы полезно ставить—одному свою национальность, другому свою индивидуальность, как особые начала, и чтобы они должны были вечно возиться с ними. Напротив, чем меньше они думают о себе и чем более проникаются обще-человеческим содержанием, тем более оживотворяется и получает смысл национальность одного и индивидуальность другого.

Так точно и славяне. Они останутся чрезвычайно ничтожны и бедны, пока будут продолжать хлопотать о своем узком, эгоистическом и вместе с тем отвлеченном славянизме, постороннем, а потому самому противном обще-человеческому вопросу и делу, и завоюют они только тогда, как славяне, свое законное место в истории и в свободном братстве народов, когда проникнутся вместе с другими мировым интересом.

Во всех эпохах истории существует интерес общечеловеческий, преобладающий над всеми другими, более частными и исключительно народными интересами, и тот народ или те народы, которые находят в себе признание, т. е. достаточно понимания, страсти и силы, чтоб предаться ему исключительно, становятся главным оброзом народами историческими. Интересы, преобладавшие таким образом в разные эпохи истории, были различны. Так, чтобы не идти слишком далеко, был интерес не столько человеческий, сколько божеский, а потому и противный свободе и благоденствию народов, интерес преобладающий и в высшей

степени завоевательный католической веры и католической церкви, а те народы, которые тогда находили в себе наиболее склоности и способности предатся ему — немцы, французы, испанцы, отчасти поляки были именно вследствие того каждый в своем кругу народами первенствующими.

Последовал другой период умственного возрождения и религиозного бунта. Общечеловеческий интерес возрождения вывел на первый план прежде всего итальянцев, потом французов и в гораздо слабейшей степени англичан, голландцев и немцев. Но религиозный бунт, еще прежде поднявший южную Францию, выдвинул на самое видное место в XV веке наших славянских гуситов. Гуситы после вековой геройской борьбы были задавлены, также как раньше их были задавлены французские альбигойцы. Тогда реформация оживотворила народы немецкий, французский, английский, голландский, швейцарский и скандинавский. В Германии она очень скоро утратила характер бунта, несвойственный немецкому темпераменту и приняла вид мирной государственной реформы, послужившей немедлено основанием для самого правильного, систематического, ученого государственного деспотизма. Во Франции, после долгой и кровавой борьбы, послужившей не мало к развитию свободной мысли в этой стране, она была раздавлена торжествующим католицизмом. За то в Голландии, в Англии, а вслед за тем и в Соединеных Штатах Америки она создала новую цивилизацию по сущности своей анти-государственную, но буржуазно-экономическую и либеральную.

Таким образом религиозное реформационное движение, обнявшее почти всю Европу в XVI веке, породило в цивилизованном человечестве два главные направления: экономически и либерально-буржуазное, имевшее во главе своей главным образом Англию, а потом Англию и Америку: и деспотически-государственное, по сущности своей также буржуазное и протестантское, хотя смешанное с дворянским католическим элементом, впрочем вполне подчинившемся государству. Главными представителями этого направления были Франция и Германия—сначала австрийская, потом прусская.

Великая революция, ознаменовавшая конец XVIII века выдвинула опять на первенствующее место Францию. Она создала новый обще-человеческий интерес, идеал полнейшей человеческой свободы, но только на *исключительно политическом* поприще; идеал, заключавший неразрешимое

противоречие, а потому и неосуществимый; политическая свобода без экономического равенства и вообще политическая свобода, т. е. свобода в государстве есть ложь.

Французская революция породила таким образом в свою очередь два главные направления, друг другу противуположные, друг с другом вечно борющиеся и вместе с тем неразрывные, скажем более, сходящиеся непременным образом в одинаковом стремлении к одной и той же цели—систематического эксплоатирования чернорабочего пролетариата в пользу имущего и численно постепенно уменьшающегося, а вместе с тем все более и более обогащающегося меньшинства.

На этой эксплоатации народного труда одна партия хочет построить демократическую республику—другая, более последовательная, стремится основать на ней монархический т. е искренний государственный деспотизм, централистическое, бюрократическое, полицейское государство, с военною диктатурою, еле, еле замаскированною невинными конституционными формами.

Первая партия под предводительством г-на Гамбетты стремится ныне захватить власть во Франции. Вторая, предводимая князем Бисмарком, уже вполне воцарилась в прусской Германии.

Трудно решить, которое из этих двух направлений полезнее для народа или, говоря точнее, которое из них представляет наименее вреда и зла для народа, для чернорабочих масс, для пролетариата; оба стремятся с одинаково упорною страстью к основанию или к укреплению сильного государства, т. е. полнейшего рабства пролетариата.

Против этих народопритеснительных направлений государственных, республиканских и ново-монархических, порожденных великою буржуазною революциею 1789 и 1793 г. из глубины самого пролетариата сначала французского и австрийского, а потом и других стран Европы, выработалось наконец, направление совершенно новое и прямо идущее к уничтоженпю всякого эксплоатированья и всякого политического или юридического, равно как и правительственно-административного притеснения, т. е. к уничтожению всех классов посредством экономического управления всех состояний и к уничтожению их последней опоры, государства.

Такова программа Социальной Революции.

Итак, в настоящее время существует для всех стран цивилизованного мира только один всемирный вопрос, один

мировой интерес—полнейшее и окончательное освобождение пролетариата от экономической эксплоатации и от государственного гнета. Очевидно, что этот вопрос без кровавой, ужасной борьбы разрешиться не может и что настоящее положение, право, значение всякого народа будут зависеть от направления, характера и степени участия которое он примет в этой борьбе.

Не ясно ли, стало быть, что славяне должны искать и могут завоевать свое право и место в истории и в братском союзе народов только путем Социальной Революции?

Но Социальная Революция не может быть одинокою революциею одного народа; она по существу своему революция интернациональная, значит, славяне, отыскивающие своей свободы и ради своей свободы, должны связать свои стремления и организацию своих народных сил с стремлениями и с организацией народных сил всех других стран: славянский пролетариат должен войти целою массою в Интернациональную Ассоциацию Рабочих.

Мы уже имели случай упомянуть о великолепном заявлении интернационального братства венскими работниками в 1868 г., отказавшимися, не смотря на все убеждения австрийских и швабских патриотов, поднять пангерманское знамя, об'явив решительно, что рабочие целого мира их братья и что они не признают другого лагеря, кроме интернационально-солидарного пролетариата всех стран; они вместе с тем очень справедливо рассудили и высказали, что именно им, как австрийским работникам, нельзя поднять никакого национального знамени, так как австрийский пролетариат состоит из самых разных племен: мадьяр, итальянцев, румын, главнейшим образом из славян и немцев; и что поэтому они должны искать практического разрешения своих вопросов вне, так называемого, национального государства.

Еще несколько шагов в этом направлении и австрийские работники поняли бы, что освобождение пролетариата невозможно, решительно, ни в каком государстве, и что первое условие его—разрушение всякого государства; а такое разрушение возможно только при дружном содействии пролетариата всех стран, первая организация которого на почве экономической составляет именно предмет Интернациональной Ассоциации Рабочих.

Поняв это, немецкие работники в Австрии сделались бы инициаторами не только своего собственного освобожде-

ния, но вместе с тем и освобождения всех не немецких народных масс в австрийской империи, включая разумеется и всех славян, которых мы бы первые стали уговаривать вступить с ними в союз, имеющий целью разрушение государства, т. е. народной тюрьмы, и основание нового интернационального рабочего мира на началах полнейшего равенства и свободы.

Но австрийские рабочие этих необходимых первых шагов не сделали и не сделали их потому, что были остановлены на первом шагу германо-патриотической пропагандою г-на Либкнехта и других социальных демократов, приехавших вместе с ним в Вену, кажется, в июле 1868 года, именно с целью совратить верный социальный инстикт австрийских работников с пути интернациональной революции и направить его к политической агитации в пользу основания единого государства, называемого ими *народным* разумеется пангерманского—одним словом для осуществления патриотического идеала князя Бисмарка, только на социально-демократической почве и посредством, так называемой, легальной народной агитации.

По этому пути не только славянам, но даже и немецким работникам идти не следует, по той простой причине, что государство, называйся оно десять раз народным, и будь оно разукрашено наидемократичнейшими формами, для пролетариата будет непременно тюрьмою,—славянским же идти по этому направлению еще невозможнее, потому что это значило бы подчиниться охотно немецкому игу, а это противно всякому славянскому сердцу. Вследствие того, мы не только не станем уговаривать братьев славян вступить в ряды социально-демократической партии немецких рабочих, во главе которых стоят прежде всего, в виде дуумвирата, облеченного диктаторскою властью, г.г. Бебель, Либкнехт и несколько литературствующих евреев; мы, напротив, должны употребить все усилия, чтобы отвратить славянский пролетариат от самоубийственного вступления в союз с этою партиею, отнюдь не народною, но по своему направлению, по цели и средствам чисто буржуазною и к тому же исключительно немецкою, т. е. славяно-убийственною.

Но чем энергичнее славянский пролетариат ради своего спасения должен отвергать не только союз, но и сближение с этой партией—мы не говорим, с работниками находящимися в ней, но с ее организацией, а главное с ее началь-

ством везде и всегда буржуазным—тем теснее, ради того же спасения, должен он сблизиться и связаться с Интернациональным Обществом Рабочих. Отнюдь не должно смешивать немецкую партию социальных демократов с Интернационалом. Политически—патриотическая программа первой не только не имеет почти ничего общего с программой последнего, но даже совершенно противна ей. Правда, на подтасованном Гаагском Конгрессе марксисты попробовали было навязать свою программу всему Интернационалу. Но эта попытка вызвала со стороны Италии, Испании, части Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Англии, также отчасти Северных Штатов Америки такой громадный протест, что всему свету стало ясно, что немецкой программы кроме самих немцев не хочет никто. Да, без сомнения, придет время, когда и сам немецкий пролетариат, поняв лучше и свои собственные интересы, нераздельные с интересами пролетариата всех других стран, и пагубное направление этой программы, ему навязанной, но далеко не им созданной, откажется от нее и оставит при ней своих буржуазных предводителей, фюреров.

Славянский же пролетариат, повторяем, ради собственного освобождения из под великого ига, должен войти массами в Интернационал, образовать фабричные, ремесленные и земледельческие секции и соединить их в местные федерации, а если окажется нужным, то пожалуй и в общеславянскую федерацию. На почве Интернационала, освобождающего всех и каждого от государственного отечества, славянские работники должны и могут без малейшей опасности для своей самостоятельности встретиться братски с немецкими работниками, союз с которыми на другой почве для них решительно невозможен.

Таков единственный путь для освобождения славян. Но путь, по которому идет ныне огромное большинство западно и юго-славянской молодежи под предводительством своих маститых и более или менее заслуженных патриотов совершенно противный, исключительно государственный и для народных масс гибельный.

Возьмем для примера турецкую Сербию, и именно сербское княжество, как единственный пункт вне России, да еще Черногорию, где славянский элемент дошол до политического существования, более или менее сомостоятельного.

Сербский народ пролил много крови, чтобы освобо-

диться из под турецкого ига; но едва освободился он от турок, как его запрягли в новое на этот раз домашнее государство под именем княжества сербского, иго которого в действительности чуть ли не тяжелее турецкого. Едва эта часть сербской земли получила вид, устройство, законы учреждения более или менее правильного государства, как народная жизнь, и народная сила, возбудившие героическую борьбу против турок и одержавшие над ними окончательную победу, как будто вдруг замерли. Народ, правда, невежественный и чрезвычайно бедный, но энергический, страстный и от природы вольнолюбивый, вдруг обратился в безгласное и как бы неподвижное стадо, отданное на жертву бюрократическому грабежу и деспотизму.

В турецкой Сербии нет ни дворянства, ни очень больших поземельных собственников, нет ни промышленников, ни чрезвычайно богатых купцов—за то образовалась новая бюрократическая аристократия, состоящая из молодых людей, воспитанных, большею, частью на казенный счет в Одессе, в Москве, в Петербурге, в Вене, в Германии, в Швейцарии, в Париже. Пока они молоды и не успели развратиться на государственной службе, эти молодые люди отличаются, большею частью, горячим патриотизмом, народолюбием, довольно искренним либерализмом и даже в последнее время демократизмом и социализмом. Но лишь только они поступают на службу, железная логика положения, сила вещей, присущая известным иерархическим и выгодным политическим отношениям, берут свое, и молодые патриоты становятся с ног до головы чиновниками, продолжая пожалуй быть и патриотами, и либералами. Но известно ведь, что такое либеральный чиновник; он несравненно хуже простого и откровенного чиновника—палки.

К тому же требования известного положения всегда оказываются сильнее чувств, замыслов и добрых побуждений. Возвратившись домой, молодые сербы, получившие образование за границей, по образованию, а главным образом по обязательствам своим в отношении правительства, на счет которого они, большею частью, содержались за границею, а также и потому, что для них решительно невозможно отыскать другие средства существования, должны идти в чиновники, сделаться членами единственной аристократии, существующей в крае, членами бюрократического класса. Вступив же раз в этот класс, они становятся по неволе врагами народа. Им хотелось бы, может быть и

весьма вероятно, особенно в начале, хотелось бы освободить свой народ или, по крайней мере, улучшить его положение, а они должны его давить и грабить. Достаточно прожить года два, три в таком положении, чтобы с ним освоиться и, наконец, примириться, при помощи какой нибудь либеральной или даже демократически-доктринерной лжи; а такою ложью наше время богато. Раз примирившись с железною необходимостью, против которой они бунтовать не в силах, они становятся уже от'явленными мошенниками тем более опасными для народа, чем либеральнее и демократичнее их публичные заявления.

Тогда те из них, которые половчее и похитрее, приобретают в микроскопическом правительстве микроскопического княжества преобладающее влияние и, едва успев приобресть его, начинают продавать себя во все стороны: дома—владетельному князю или какому нибудь претенденту на престол (акт низвержения одного князя для заменения его другим в сербском княжестве называется революцией); или вместо того, а иногда в то же самое время правительствам великих покровительствующих держав, России, Австрии, Турции, теперь Германии, заступившей на востоке как и везде, место Франции, и даже нередко всех вместе.

Можно себе представить, как легко и свободно живется народу в таком государстве, а между тем не должно забывать, что сербское княжество, государство конституционное, где все законы пекутся скупщиною, избираемою народом.

Иные сербы утешают себя мыслью, что это положение, по своему существу переходное, представляет неотвратимое зло в настоящее время, но что оно непременно изменится, как только маленькое княжество, расширив свои границы и приняв в свой состав все сербские, иные даже говорят, все юго-славянские земли, восстановит во всем его об'еме царство Душана. Тогда, говорят они, настанет для народа время полнейшей свободы и самого широкого раздолья.

Да, есть между сербами люди, которые до сих пор преинаивно верят в это!

Да, они воображают, что когда это государство расширит свои пределы и когда число его подданных удвоится, утроится, удесятерится, оно сделается народнее и его учреждения, все условия его существования, его правительственные действия будут менее противны народным интересам и всем народным инстинктам. Но на чем основывается такая надежда или такое предположение? На теории? Но

теоретически, напротив, кажется ясно, что чем обширнее государство, тем многосложнее его организм и тем более чуждо оно народу, и именно вследствие того, тем противнее интересы его интересам народных масс, тем более подавляющим гнетом оно ложится на них и тем невозможнее для народа всякий контроль над ним, тем далее государственное управление от народного самоуправления.

Или основываются их ожидания на практическом опыте других стран? В ответ достаточно указать на Россию, на Австрию, на расширенную Пруссию, на Францию, на Англию, на Италию, даже на Соединенные Штаты Америки где заправляет всеми делами особый, совершенно буржуазный класс, так называемых, политиканов или политических дельцов, а чернорабочим массам живется почти также тесно и жутко, как и в монархических государствах.

Найдутся, пожалуй, много-образованные сербы, способные возразить, что дело совсем не в народных массах, которые, имеют и будут иметь всегда своим назначением материальным грубым трудом кормить, одевать и вообще содержать цвет отечественной цивилизации, настоящей представительницы страны, и что по этому дело лишь в образованных, более или менее имущих и привиллегированных классах.

В том то и дело, что эти, так называемые, образованные классы, дворянство, буржуазия, когда-то действительно процветавшие и стоявшие во главе живой и прогрессивной цивилизации в целой Европе, в настоящее время отупели и опошлели от ожирения и от трусости, что если они еще что нибудь представляют, то разве самые зловредные и подлые свойства человеческой природы. Мы видим, что эти классы в такой высокообразованной стране, как Франция неспособны были даже отстоять независимость своей родины против немцев. Мы видели и видим, что в самой Германии эти классы способны только к верноподданическому лакейству.

И наконец заметим, что в турецкой Сербии эти классы даже совсем не существуют: там существует только класс бюрократический. Итак, сербское государство будет давить сербский народ для того только, чтобы жирнее жилось сербским чиновникам.

Другие, ненавидя от всей души настоящее устройство сербского княжества, терпят его однако, смотря на него, как на средство или орудие, необходимое для освобождения

славян, еще подвластных турецкому или австрийскому игу В известный момент, говорят они, княжество может сделаться основою и точкою отправления для обще-славянского бунта. Это еще одно из тех пагубных заблуждений, которые надо непременно разрушить для собственного блага славян.

Их соблазняет пример пьемонтского королевства, будто бы освободившего и соединившего всю Италию. Италия освободилась сама рядом бесчисленных героических жертв которые не переставала приносить в продолжении пятидесяти лет. Она обязана своею политическою независимостью главным образом сорокалетним, непрерывным и неудержимым усилиям своего великого гражданина, Джузеппе Мадзини, умевшего, можно сказать, воскресить, а потом воспитать итальянскую молодежь в опасном, но доблестном деле патриотической конспирации. Да, благодаря двадцатилетней работе Мадзини, в 1848 г., когда восставший народ позвал опять на праздник революции весь европейский мир, во всех городах Италии, от самого крайнего юга до крайнего севера, нашлась кучка смелых молодых людей поднявших знамя бунта. Вся итальянская буржуазия за ними последовала. А в ломбардо-венецианском королевстве находившемся еще тогда под австрийским владычеством, встал целый народ. И сам народ без всякой военной помощи выгнал австрийские полки из Милана и Венеции.

Что же сделал королевский Пьемонт? Что сделал король Карл Альберт, отец Виктора Эммануила, тот самый, который будучи еще наследным принцем (1821), выдал австрийским и пьемонтским палачам своих товарищей по заговору в пользу освобождения Италии. Первым делом пьемонтского короля в 1848 г. было парализовать революцию во всей Италии посредством обещаний, происков и интриг. Ему очень хотелось овладеть Италиею, но он столько же ненавидел революцию, сколько боялся ее. Он действительно парализовал революцию, силу и движение народа в Италии после чего австрийским войскам не трудно было справиться с его войском.

Сына его, Виктора Эммануила, называют освободителем и соединителем итальянских земель. Это гнусная клевета на него! Уж если кого называть освободителем Италии, то скорее Людовика Наполеона, императора французов. Но Италия освободилась сама, а главное, она соединилась сама помимо Виктора Эммануила и против воли Наполеона III.

В 1860 г., когда Гарибальди предпринял свою знаме-

нитую высадку в Сицилию, в то самое время, когда он отправился из Генуи, граф Кавур, министр Виктора Эммануила, предупредил неаполитанское правительство об угрожавшем ему нападении. Но когда Гарибальди освободил и Сицилию и все неаполитанское королевство, Виктор Эммануил принял от него, разумеется, даже без большой благодарности и то и другое.

И в продолжении тринадцати лет, что сделало его управление с этою несчастною Италией? Он ее разорил, просто ограбил, а теперь, ненавидимый всеми за свой деспотизм, заставляет почти жалеть изгнанных Бурбонов.

Так освобождают короли и государства своих соплеменников: и никому не было бы так полезно, как именно сербам изучить в ее действительных подробностях новейшую историю Италии.

Одно из средств сербского правительства успокоивать патриотическую горячку своей молодежи состоит в периодических обещаниях об'явить войну Турции будущею весною; а иногда осенью, по окончании сельских работ, и молодые люди верят, волнуются и всякое лето и всякую зиму готовятся, после чего всегда какое-нибудь непредвиденное препятствие, какая нибудь нота одной из покровительствующих держав, становится поперек обещанного об'явления войны: она откладывается на полгода или на год, и таким образом вся жизнь сербских патриотов проходит в томительном и тщетном ожидании никогда не приходящего исполнения.

Сербское княжество не только не в состоянии освободить южно славянские, сербские и не сербские племена, оно, напротив, своими происками и интригами положительно их раз'единяет и обессиливает. Болгары, напр., готовы признать братьями сербов, но и слышать не хотят о сербском Душановском царстве; точно также и хорваты, также и черногорцы и боснийские сербы.

Для всех этих стран спасение одно и путь к соединению один — Социальная Революция, но никак не государственная война, которая может привести только к одному — к покорению всех этих стран или Россией или Австрией или, по крайней мере, в начале вернее всего, разделение их между обеими.

Чешская Богемия не успела еще, благодаря небесам восстановится во всем их древнем величии и славе державу и корону Венцеслава; центральное правительство Вены

обходится с Богемиею, как с простою провинциею, не пользующеюся даже привиллегиями Галиции, а между тем в Богемии столько же политических партий, сколько их в любом славянском государстве. Да, этот проклятый немецкий дух политиканства и государственности так проник в образование чешского юношества, что оно подвергается серьезной опасности утратить в конец способность понимать свой народ.

Чешский крестьянский народ представляет один из великолепнейших славянских типов. В нем течет гуситская кровь, горячая кровь таборитов, живет память Жижки; и что, по нашему собственному опыту и по воспоминаниям, вынесенным нами из 1848 г., составляет одно из завиднейших преимуществ чешской учащейся молодежи, это ее родственное, истинно-братское отношение к этому народу. Чешский городской пролетарий не уступает в энергии и в горячей преданности крестьянину; он также доказал это в 1848 году.

Пролетариат и крестьянство до сих пор любят учащуюся молодежь и верят в нее. Но молодые чешские патриоты не должны слишком рассчитывать на эту веру. Она необходимым образом должна будет ослабеть и под конец совсем исчезнуть, если они не обретут в себе достаточно справедливости, широкого чувства равенства, свободы и настоящей любви к народу, чтобы идти вместе с ним. Народ же чешский—а мы под словом народ разумеем всегда главным образом пролетариат—птак славянский пролетариат в Богемии стремится естественным и неотвратимым образом туда, куда стремится ныне пролетариат всех стран, к экономическому освобождению, к Социальной Революции.

Он был бы народом чрезвычайно обиженным природою и забитым историею или, говоря откровенно, чрезвычайно глупым и мертвым, если бы оставался чуждым этому стремлению, составляющему единственный существенный мировой вопрос нашего времени. Такого комплимента чешская молодежь не захочет сделать своему народу, а если бы захотела, то народ не оправдает его, Да к тому же мы имеем неопровержимое доказательство живого интереса западно-славянского пролетариата к социальному вопросу. Во всех австрийских городах, где славянское население смешано с немецким, славянские работники принимают самое энергическое участие во всех общих заявлениях пролетариата. Но в этих городах не существует почти

других рабочих ассоциаций, кроме тех, которые признали программу социальных демократов Германии, так что выходит на деле, что славянские работники, увлеченные своим социально—революционным инстинктом, вербуются в партию прямая и громко признанная цель которой—создание пангерманского государства. т. е. огромной немецкой тюрьмы.

Этот факт очень печален, но он столь же естествен, Славянским работникам предстоят два выбора: или, увлекаясь примером немецких работников, своих братьев по социальному положению, по общей судьбе, по голоду, по нужде и по всем притеснениям, вступить в партию, которая им обещает государство, правда, немецкое, но зато вполне народное, и со всеми возможными экономическими льготами в ущерб капиталистов и собственников и в пользу пролетариата; или же, увлекаясь патриотической пропагандою своих маститых, знаменитых вождей и своей пылкой, но мало еще смыслящей молодежи, вступить в партию, в рядах и во главе которой они встречают своих ежедневных эксплуататоров и притеснителей, буржуазов, фабрикантов, купцов, денежных спекуляторов, попов-иезуитов и феодальных владетелей огромных наследственных или благоприобретенных поместий. Эта партия, впрочем, с гораздо большею последовательностью, чем первая, обещает им тюрьму национальную, т. е. славянское государство, восстановление во всем ее древнем блеске короны Венцеслава—точно будто от этого блеска чешским работникам станет легче!

Если бы славянским работникам действительно не было другого исхода кроме этих двух путей, то, признаемся мы сами посоветывали бы им избрать первый. Там, по крайней мере, они ошибаются, делят общую судьбу с братьями по труду, по преданиям, по жизни, немцами или не немцами, все равно; здесь же их заставляют называть братьями своих непосредственных палачей, своих кровопийц и принуждают налагать на себя самые тяжелые цепи во имя общеславянского освобождения. Там они обманываются, здесь их продают.

Но существует третий, прямой и спасительный выход—образование и союзная организация рабочих фабричных и земледельческих ассоциаций на основании программы Интернационала, разумеется не той программы, которая под именем Интернационала проповедуется партиею, почти исключительно патриотическою и политическою социальных демократов Германии; но той, которая теперь признается

всеми вольными федерациями Интернационального Общества Рабочих, а именно работниками итальянскими, испанскими юрскими, французскими, бельгийскими, английскими и отчасти американскими, не признается же в сущности одними немцами

Мы убеждены, что этот выход единственный выход, как для чехов, так и для всех других славянских народов ищущих своего полного освобождения от всякого ига, немецкого и не немецкого; вне его остается только обман, для бесчестных и честолюбивых вожаков и предводителей партий—почести да карманная прибыль, а для чернорабочих масс—рабство.

Вопрос для чешской и вообще для всякой славянской образованной молодежи поставлен теперь очень ясно: хочет ли она эксплуатировать свой народ, обогащаться его трудом и на плечах его удовлетворять подлое честолюбие? Она пойдет с старыми славянофильствующими партиями, с Палацкими, Ригерами, Браунерами и компаниею. Спешим впрочем, прибавить, что между молодыми приверженцами этих вождей есть и много ослепленных, обманутых, которые для себя собственно ничего не приобретают, но служат в руках искусных людей приманкою для народа. Роль во всяком случае весьма не завидная.

Те же, которые хотят искренно и действительно полной эмансипации народных масс, те пойдут с нами путем Социальной Революции, потому что нет другого пути для завоевания народной свободы.

До сих пор однако во всех западно-славянских странах преобладала политика старая, государственность самая узкая, разыгрывалась просто на просто немецкая комедия, переведенная только на чешский язык; и даже не одна комедия, а целых две: одна чешская, другая польская. Кто не знает плачевной истории союзов и разрывов перемежавшихся между государственными людьми Богемии и Галиции, и ряд уморительных представлений, данных чешскими и галицийскими депутатами, то вместе, то порознь, в австрийском рейхсрате? В основе же всего лежала и лежит иезуитско-феодальная интрига. И такими жалкими, можно сказать, подлыми средствами эти господа надеются освободить

своих сограждан! Странные государственные люди, и как должно быть, потешается, глядя на их игру в государство их близкий сосед, князь Бисмарк!

Раз однако, после знаменитого поражения претерпенного им в Вене, вследствие одной из бесчисленных измен их галицийских союзников, чешский государственный триумвират, Палацкий, Ригер и Браунер, решился сделать смелую демонстрацию. По поводу славянской этнографической выставки, нарочно для этого открытой в Москве в 1867 г., они отправились сами и увлекли за собой большое количество западных и южных славян на поклонение белому царю, палачу славяно-польского народа. В Варшаве их встретили русские генералы, русские чиновники и русские чиновные дамы, и в польской столице, при гробовом молчании всего польского населения, эти свободолюбивые славяне целовались, обнимались с этими русскими братоубийцами, пили с ними и кричали ура за славянское братство!

Все знают, какие речи они произносили потом в Москве и Петербурге. Одним словом, более постыдного поклонения дикой и беспощадной власти и более преступной измены и славянскому братству, и истине, и свободе со стороны маститых либералов, демократов и народолюбцев никогда не было видано—и эти господа преспокойно возвратились со всем синклитом своим в Прагу, и никто не сказал им, что они совершили не только подлость, но даже глупость.

Да, глупость, совершенно бесполезную, потому что она нисколько им не послужила и не поправила их дел в Вене Теперь это ясно; кароны Венцеслава с ее старой независимостью они не восстановили и дожили до того, что новая парламентская реформа отняла у них и ту последнюю политическую почву, на которой они играли в государственную игру.

После своего поражения в Италии австрийское правительство, принужденное отпустить в известной мере на волю венгерское королевство, долго думало, как ему устроить свое цислейтанское государство.

Его собственные инстинкты и требования немецких либералов и демократов клонили его к централизации: но славяне, особенно Богемия и Галиция, опираясь на феодально-клерикальную партию, громко требовали федеративной системы. Это колебание продолжалось до нынешнего года. Наконец, правительство решилось к ужасу славян и

к величайшей радости немецких либералов и демократов на все земли, входящие в состав цислейтанского государства, надеть опять старые немецкие бюрократические шапки.

Должно заметить однако, что от этого австрийская империя сильнее не сделалась. Она утратила настоящее сосредоточие. Все немцы и жиды в империи ищут отныне своего центра в Берлине. В тоже время часть славян смотрит на Россию; другие руководимые инстинктом более верным, ищут спасения в образовании народной федерации. От Вены никто более не ждет ничего. Не ясно ли, что австрийская империя собственно кончилась и что, если она хранит еще вид существования, то только благодаря расчетливому долготерпению России и Пруссии, которые медлят и не хотят еще приступить к ее разделу, потому что каждая надеется в тайне, что при удобном случае, ей удастся захватить львиную часть.

Ясно, стало быть, что Австрия не в состоянии состязаться с новою прусско-германскою империею. Посмотрим, в состоянии ли сделать это Россия.

Не правда ли, читатель, Россия сделала неслыханные успехи во всех отношениях со времени вступления на престол ныне благополучно царствующего императора Александра II.

И в самом деле, если мы захотим измерить успехи, сделанные ею за последние двадцать лет, сравним расстояние, которое во всех отношениях отделяло ее тогда, напр. в 1856 г., от Европы, с тем расстоянием, которое существует между ними теперь, то успех окажется удивительный. Россия поднялась, правда, не слишком высоко, но за то западная Европа, оффициальная и оффициозная, бюрократическая и буржуазная, упала значительно, так что расстояние решительно уменьшилось. Какой немец или француз посмеет, например говорить о русском варварстве и палачестве после ужасов, совершенных немцами во Франции в 1870 г. Какой француз посмеет толковать о подлости и продажности русских чиновников и государственных людей после всей грязи, выступившей наружу и чуть не затопившей французский бюрократический и политический мир. Нет, решительно, глядя на французов и немцев, русским подлецам, пошлякам, ворам и палачам не осталось более никакой причины краснеть. В нравственном отношении, в целой оффициальной и оффициозной Европе, установилось скотство или, по крайней мере, скотообразие удивительное.

Другое дело в отношении политического могущества, хотя и тут, по крайней мере, о сравнении с французским государством, наши красные патриоты могут кичится, потому что в политическом отношении Россия стоит несомненно самостоятельнее и выше, чем Франция. За Россией ухаживает сам Бисмарк, а за Бисмарком ухаживает побежденная Франция. Весь вопрос в том, каково отношение могущества всероссийской империи к могуществу пангерманской империи, несомненно преобладающему, по крайней мере, на континенте Европы?

Мы, русские, все до последнего, можно сказать, человека знаем, что такое, с точки зрения внутренней жизни ее, наша любезная всероссийская империя. Для небольшого количества, может быть, для нескольких тысяч людей, во главе которых стоит император со всем августейшим домом и со всею знатною челядью, она—неистощимый источник всех благ, кроме умственных и человечески-нравственных; для более обширного, хотя все еще тесного меньшинства, состоящего из нескольких десятков тысяч людей, высоких военных, гражданских и духовных чиновников, богатых землевладельцев, купцов, капиталистов и паразитов, она—благодушная, благодетельная и снисходительная покровительница законного и весьма прибыльного воровства; для обширнейшей массы мелких служащих, все таки еще ничтожной в сравнении с народною массою—скупая кормилица; а для бесчисленных миллионов чернорабочего народа—злодейка-мачиха, безжалостная обирательница и в гроб загоняющая мучительница.

Такою она была до крестьянской реформы, такою осталась теперь и будет всегда. Доказывать это русским нет никакой необходимости. Какой же взрослый русский не знает, может не знать этого? Русское образованное общество разделяется на три категории; на таких, которые, зная это находят для себя слишком невыгодным признавать эту истину, несомненную точно также для них, как и для всех на таких, которые не признают ее, не говорят о ней из боязни; и наконец, на тех, которые за неимением другой смелости, по крайней мере, дерзают ее высказывать. Есть еще четвертая категория, к несчастью слишком малочисленная и состоящая из людей не на шутку преданных народному делу и не довольствующихся высказыванием.

Есть, пожалуй, пятая, даже и не столь малочисленная

категория людей, ничего невидящих, и ничего несмыслящих Ну, да с этими и говорить нечего.

Всякий сколько-нибудь мыслящий и добросовестный русский должен понимать, что наша империя не может переменить своего отношения к народу. Всем своим существованием она обречена быть губительницею его, его кровопийцею. Народ инстинктивно ее ненавидит, а она неизбежно его гнетет, так как на народной беде построено все ее существование и сила. Для поддержания внутреннего порядка, для сохранения насильственного единства и для поддержания внешней даже не завоевательной, а только самоохраняющей силы, ей нужно огромное войско, а вместе с войском нужна полиция, нужна бесчисленная бюрократия казенное духовенство... одним словом, огромнейший оффициальный мир, содержание которого, не говоря уже о его воровстве, неизбежно давит народ.

Нужно быть ослом, невеждою, сумасшедшим, чтобы вообразить себе, что какая-нибудь конституция, даже самая либеральная и самая демократическая, могла бы изменить к лучшему это отношение государства к народу; ухудшить сделать его еще более обременительным, разорительным, пожалуй—хотя и трудно, потому что зло доведено до конца но освободить народ, улучшить его состояние это просто нелепость! Пока существует империя, она будет заедать наш народ. Полезная конституция для народа может быть только одна—разрушение империи.

Итак, мы не будем говорить о ее внутреннем состоянии убежденные, что оно не может быть хуже; но посмотрим, достигает ли она действительно той внешней цели, которая дает, разумеется не человеческий, а политический смысл ее существованию. Ценою огромных и бесчисленных народных жертв, правда невольных, но тем еще более жестоких умело ли оно создать, по крайней мере, военную силу, способную состязаться с военною силою, например, новой германской империи?

В этом, собственно, в настоящее время состоит весь *политический* русский вопрос; вопрос же внутренний, мы знаем, остается теперь один—вопрос Социальной Революции Но мы остановимся теперь на внешнем вопросе и спросим способна ли Россия бороться против Германии?

Взаимные любезности, клятвы, лобызания и слезопролития, расточаемые теперь между двумя императорскими дворами, между берлинским дядею и петербургским племян-

ником, ничего не значат. Известно, что в политике все это не стоит и гроша. Вопрос, затронутый нами, поставлен с неотвратимою необходимостью новым положением Германии которая за одну ночь выросла в огромное всесильное государство. Но вся история свидетельствует и самая рациональная логика подтверждает, что два равносильных государства не могут существовать рядом, что это противно их существу, состоящему и выражающемуся неизменно и необходимо в преобладании; но преобладание не терпит равносилия. Одна сила непременно должна быть сломлена должна покориться другой.

Да, это составляет теперь существенную необходимость для Германии. После долгого, долгого политического унижения она вдруг стала могущественнейшей державою на континенте Европы. Может ли она терпеть, чтобы рядом, так сказать у самого ее носа, стояла держава вполне от нее независимая, ею еще не побежденная и смеющая равняться с нею, говорим мы, как с равною! И какая еще держава, русская, т. е. самая ненавистная!

Мы думаем, что мало русских, которые не знали бы до какой степени немцы, все немцы, а главным образом немецкие буржуазы, и под их влиянием, увы! и сам немецкий народ ненавидят Россию. Они ненавидят и ненавидели французов, на эта ненависть ничто в сравнении с тою которою они питают против России. Эта ненависть составляет одну из сильнейших национальных немецких страстей.

Каким образом создалась эта обще-национальная страсть Начало ее было довольно почтенно. Это был протест, все-таки несравненно более гуманный, хотя и немецкий, цивилизации против нашего татарского варварства. Потом, а именно в двадцатых годах, она приняла характер протеста более определенного политического либерализма против политического деспотизма. Известно, что в двадцатых годах немцы не на шутку называли себя либералами и верили в свой либерализм. Они ненавидели Россию, как представительницу деспотизма. Правда, что, еслибы, они могли и хотели быть справедливы, они должны были-бы, по крайней мере, разделить эту ненависть поровну между Россией, Пруссией и Австрией. Но это было-бы противно их патриотизму, и потому они возложили всю ответственность за политику Священного Союза на Россию.

В начале тридцатых годов польская революция возбудила живейшую симпатию в целой Германии, и кровавое

усмирение ее усилило негодование немецких либералов против России. Все это было весьма естественно и законно хотя и тут справедливость требовала бы, чтобы хоть какая-нибудь часть этого негодования пала на Пруссию, которая очевидно помогала России в отвратительном деле усмирения поляков; и помогала совсем не из великодушия, а потому что того требовал ее собственный интерес, так как освобождение царства польского и Литвы имело бы непременным последствием восстание всей Польши прусской, что убило-бы в корне возникавшее могущество прусской монархии.

Но во второй половине тридцатых годов возникла новая причина для ненавести немцев против России, придавшая этой ненависти совершенно новый характер, уже не либеральный, а политически-национальный—поднялся славянский вопрос и вскоре между австрийскими и турецкими славянами образовалась целая партия, которая стала надеяться и ждать помощи из России. Уже в двадцатых годах тайное общество демократов, а именно южная отрасль этого общества, руководимая Пестелем, Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, возъимело первую мысль о вольной всеславянской федерации. Император Николай овладел этой мыслью, но переделал ее по своему. Всеславянская вольная федерация обратилась в его уме в панславистское единое и самодержавное государство, разумеется под его железным скипетром.

В начале тридцатых и в начале сороковых годов стали отправляться из Петербурга и из Москвы русские агенты в славянские земли, одни оффициальные, другие добровольные и бесплатные. Последние принадлежат к московскому, далеко не тайному обществу славянофилов. Поднялась между западными и южными славянами панславистическая пропаганда. Появилось много брошюр. Эти брошюры были частью написаны, частью же переведены по немецки, и перепугали пангерманскую публику не на шутку. Поднялся гвалт между немцами.

Мысль, что Богемия, древняя имперская земля, входящая в самое сердце Германии, может отторгнуться, стать самостоятельною славянскою страною или, чего Боже упаси, русскою провинциею, лишила их апетита и сна, и с тех пор посыпались на Россию проклятия, с тех пор по самый настоящий час ненависть немцев росла против России. Теперь она проявляется в громадных размерах. Рус-

ские, с своей сторены, также не жалуют немцев; возможно ли, чтобы при существовании такого трогательного взаимного отношения, две соседние империи, всероссийская и пангерманская, могли оставаться долго в мире?

А между тем, побудительных причин для соблюдения мира между ними по самое настоящее время было, да и теперь еще существует достаточно. Первая причина Польша. Державных хищников, разделивших между собою самым разбойническим образом Польшу, было трое—австрийский, прусский и всероссийский. Но и в самый момент деления и потом, всякий раз, когда поднимался вновь польский вопрос, наименее заинтересованною была и осталась Австрия. Известно, что в самом начале австрийский двор протестовал даже против деления, и только по настоятельному требованию Фридриха II иЕкатерины II императрица Мария Терезия согласилась принять долю, выпадавшую на ее часть. Она пролила даже по этому случаю добродетельные слезы, сделавшиеся историческими, но все таки приняла. И как было не принять? Но она и была венценосной особой, чтобы забирать. Для царей законы не писаны, а аппетитам их границ нет. В своих записках Фридрих II замечает, что, решившись раз принять участие в союзном грабеже, учиненном над Польшей, австрийское правительство, отыскивая какую то небывалую реку, поспешило занять своими войсками гораздо более земли, чем ей было нужно по договору.

Но все таки замечательно, что Австрия молилась и плакала, грабя, в то время как Россия и Пруссия совершали разбойничье дело, остря и смеясь. Известно, что Екатерина II и Фридрих II вели в то же время преостроумнейшую и самую филантропическую переписку с французскими философами. Еще замечательнее, что потом, даже до нашего времени всякий раз, когда несчастная Польша делала отчаянную попытку освободиться и восстановиться, российский и прусский дворы приходили в трепет и бешенство и явно или тайно спешили соединить усилия, чтобы раздавить восстание, тогда как Австрия, как бы невольная и увлеченная сообщница, не только не приходила в волнение и не присоединялась к их мероприятиям, но, напротив, при начале, всякого нового польского восстания, как будто из'являла готовность помочь полякам и в некоторой степени действительно помогала. Так было в 1831 г., а еще яснее в 1862 г., когда Бисмарк открытым образом

взял на себя роль русского жандарма; Австрия же, напротив, дозволила полякам перевозить, разумеется секретно, оружие в Польшу.

Каким образом об'яснить эту разницу в поведении? Не благородством же, не человеколюбием и не справедливостью Австрии? Нет, просто на просто ее интересом. Не даром плакала Мария Терезия. Она чувствовала, что, посягая вместе с другими на политическое существование Польши, она рыла гроб австрийской империи. Что могло быть для нее выгоднее, как соседство на ее северо-восточной границе этого дворянского, правда, не умного, но строго консервативного и вовсе не завоевательного государства; оно не только освобождало ее от неприятного соседства России, но отделяло ее и от Пруссии, служило ей драгоценною охраною против обеих завоевательных держав.

Нужно было иметь всю рутинную глупость, а главное, продажность министров Марии Терезии, и потом высокомерное мелкоумие и злостно-реакционное упорство старого Меттерниха, который впрочем, как известно, также был на пенсии у петербургского и берлинского дворов, надо было быть обреченным на гибель историею, чтобы не понять этого.

Всероссийская империя и прусское королевство очень хорошо понимали свою обоюдную выгоду. Первой деление Польши давало значение великой *европейской* державы; второе вступило на путь, по которому ныне дошло до бесспорного преобладания. А вместе с тем, бросив окровавленный кусок растерзанной Польши австрийской империи, обжорливой от природы, они приготовили эту империю себе на заклание, обрекая ее на позднейшую жертву своему столь же неутомимому аппетиту. Пока они не удовлетворят этому аппетиту, пока не поделят австрийские владения между собою, до тех пор останутся и принуждены оставаться союзниками и друзьями, хотя от всей души ненавидят друг друга. Не мудрено, что самый дележ Австрии поссорит их, но до этого ничто в мире не в состоянии поссорить их.

Им не выгодно ссориться. У новой прусско-германской империи нет в настоящее время в Европе, и в целом мире ни одного союзника, кроме России. да может быть еще при России Соединенные Штаты Америки. Все ее бояться и все ее ненавидят, все будут радоваться ее падению, потому что она давит всех. А между тем ей надо

еще совершить много завоеваний, чтобы вполне осуществить план и идею пангерманской империи. Ей надо отобрать у французов не часть, а всю Лотарингию; надо завоевать Бельгию, Голландию, Швейцарию, Данию и весь Скандинавский полуостров; надо также прибрать в свои руки и наши прибалтийские провинции, чтобы одной хозяйничать на Балтийском море. Ну, словом, за исключением венгерского королевства, которое она оставит мадьярам, и Галиции, которую вместе с австрийскою Буковиною уступит России, она же, повинуясь той же силе вещей, непременно будет стремиться к захвату всей Австрии по самый Триест включительно, и разумеется, включая Богемию, которую петербургский кабинет и не подумает оспаривать у нее.

Мы уверены и положительно знаем, что на счет более или менее отдельного деления австрийской империи уже давно ведутся тайные переговоры между дворами петербургским и германским, причем, разумеется, как и всегда бывает в дружеских сношениях двух великих держав, всегда стараются надуть друг друга.

Как ни огромно могущество прусско-германской империи, ясно однако, что она одна не довольно сильна, чтобы осуществить такие огромные предприятия против воли целой Европы. Поэтому союз России составляет и будет еще долго составлять насущную необходимость.

Существует ли такая необходимость для России?

Начнем с того, что наша империя, более чем всякие другие, есть государство, по преимуществу, военное, потому что для образования, по возможности, огромной военной силы она с самого первого дня своего основания жертвовала и теперь жертвует всем, что составляет жизнь, преуспевание народа. Но, как военное государство, она хочет иметь одну цель, одно дело, дающее смысл ее существованию—завоевание. Вне этой цели она просто нелепость. Итак, завоевания во все стороны и во чтобы то ни стало—вот вам нормальная жизнь нашей империи. Теперь вопрос, в какую сторону должна, захочет направиться эта завоевательная сила?

Два пути открываются перед нею: один западный, другой восточный. Западный направлен прямо против Германии. Это путь панславистский и вместе с тем путь союза с Францией против соединенных сил прусской Германии

и австрийской империи при вероятном нейтралитете Англии и Соединенных Штатов.

Другой путь прямо ведет в восточную Индию, в Персию и в Константинополь. На нем встанут врагами Австрия, Англия и вероятно вместе с ними Франция, а союзниками—прусская Германия и Соединенные Штаты.

По которому из этих двух путей захочет пойти наша воинственная империя? Говорят, что наследник страстный панславист, ненавистник немцев, от'явленный друг французов и стоит за первый путь; но зато ныне благополучно царствующий император—друг немцев, любящий племянник своего дяди и стоит за второй. Однако дело не в том куда влекут чувства того или другого; вопрос в том, куда может идти империя с надеждою на успех и не подвергаясь опасности сломиться.

Может ли она идти первым путем? Правда, что на нем встречается союз с Францией, союз далеко не представляющий теперь тех выгод, той материальной и той нравственной силы, которую он обещал еще за три или четыре года тому назад. Национальное единство Франции рушилось безвозвратно. В пределах так называемой единой Франции существуют теперь три или, пожалуй, даже четыре различные и друг к другу решительно враждебно расположенные Франции: Франция аристократически-клерикальная, состоящая из дворян, из богатой буржуазии и из попов: Франция чисто буржуазная, обнимающая среднюю и мелкую буржуазию; Франция рабочая, заключающая весь городской и фабричный пролетариат и, наконец, Франция крестьянская. За исключением двух последних, которые могут сойтись и, например на юге Франции уже начинают сходиться, между этими классами исчезла всякая возможность единодушия на каком бы то ни было пункте, даже когда дело идет об охране отечества.

Мы видели это на днях. Немцы еще стоят во Франции, занимают Бельфор в ожидании последнего миллиарда. Какие нибудь три или четыре недели оставались до очищения ими страны. Нет, большинство версальской палаты, состоящее из легитимистов, орлеанистов и бонапартистов, реакционерных до безумия, до бешенства, не захотело выждать этого срока—свалило Тьера, посадило на его место маршала Мак Магона, который силою штыков обещает восстановить нравственный порядок во Франции... Государственная Франция переставала быть страною жизни, ума,

великодушных порывов. Она как будто вдруг переродилась и стала передовою страною грязи, подлости, продажничества, зверства, измены, пошлости, непроходимой и изумительной глупости. Надо всем же парит невежество, которому нет конца. Она обрекает себя папе, попам, инквизиции, иезуитам, Селетской Божией матери и святому Лавру. Она не на шутку ищет в католической церкви своего возрождения, в защите католических интересов свое назначение. Религиозные процессии покрыли страну и заглушают своими торжественными литаниями протесты и жалобы побежденного пролетариата. Депутаты, министры, префекты, генералы, профессора, судьи парадируют на них со свечами в руках, не краснея, без всякой веры в сердце, а потому только, *„что вера нужна для народа“*. Впрочем, есть и целый сонм верующих дворян ультрамонтанцев и легитимистов, воспитанных иезуитами, которые громко требуют, чтобы Франция торжественно посвятила себя Христу и его непорочной матери. И в то самое время, когда народное богатство или, вернее народный труд, производитель всех богатств, отдан на разграбление биржевых спекуляторов, аферистов, богатых собственников и капиталистов, в то самое время, как все государственные люди, министры, депутаты, чиновники всякого рода, гражданские и военные, адвокаты, а главным образом, все эти ханжи-иезуиты самым бессовестным образом набивают свои карманы, вся Франция действительно отдается на управление попов. Попы забрали в руки все просвещение, университеты, гимназии, народные школы; они стали вновь исповедниками и духовными путеводителями храброго французского воинства, которое скоро окончательно потеряет способность драться против внешних врагов, но зато сделается врагом тем более опасным для собственного народа.

Вот настоящее положение государственной Франции! Она в самое короткое время перещеголяла шварценберговскую Австрию (после 1849 г.), а мы знаем, чем кончила эта Австрия—поражением в Испании, поражением в Богемии и всеобщим крушением.

Правда, Франция, несмотря даже на последнее разорение, богата, несомненно богаче Германии, извлекшей в промышленном и торговом отношении немного пользы от пяти миллиардов, уплоченных Францией. Это богатство позволило французскому народу восстановить в очень ко-

роткое время все внешние признаки силы и правильного устройства. Но не надо даже вглядываться глубоко, достаточно чуть-чуть приподнять лживо-блестящую поверхность, чтобы убедиться, как все внутри гнило потому, что во всем этом еще громадном государственном теле не осталось даже искры живой души.

Государственная Франция безвозвратно кончается, и жестоко обманется тот, кто будет рассчитывать на ее союз. Кроме бессилия и страха он в ней ничего не найдет; она посвящена папе, Христу, Божьей Матери, божественному разуму и человеческому бессмыслию. Она отдана на жертву ворам и попам; и если у нее еще осталась военная сила, то вся она пойдет на укрощение и усмирение своего собственного пролетариата. Какая же может быть польза от ее союза?

Но есть чрезвычайно важная причина, которая никогда не позволит нашему правительству, будь во главе его Александр II или Александр III, следовать по пути западного или панславистического завоевания. Это путь революционный в том смысле, что ведет прямо к возмущению народов, по преимуществу славянских, против их *законных* государей, австрийского и прусско-германского. Он был предложен князем Паскевичем императору Николаю.

Положение Николая было опасное; он имел против себя две могущественнейшие державы, Англию и Францию Благодарная Австрия грозила ему. Только одна обиженная им Пруссия оставалась верна, но и эта, уступая натиску трех государств, начала колебаться и вместе с австрийским правительством делала ему внушительные представления. Николай, полагавший всю свою славу главным образом в том, чтобы отличаться непреклонностью, должен был или уступить, или умереть. Уступить было стыдно, а умереть, разумеется не хотелось. И в эту критическую минуту ему было сделано предложение поднять панславистское знамя; мало того, надеть на свою императорскую корону фригийскую шапку и звать не только славян, но и мадьяр, румын, италианцев *) на бунт.

---

*) Мы слышали от самого Маццини, что в это самое время русские оффициозные агенты в Лондоне просили у него свидания и делали ему предложения...

Император Николай призадумался, но, должно отдать ему справедливость, колебался не долго; он понял, что ему не следует кончать свое многолетнее поприще, ознаменованное чистейшим деспотизмом, на поприще революционном. Он предпочел умереть.

Он был прав. Нельзя было кичиться своим деспотизмом внутри и поднимать революции вне своего государства. Особенно невозможно было это для императора Николая, так как на первом шагу, который он сделал бы по этому пути, он встретился бы лицом к лицу с Польшей. Возможно ли было звать славянские и другие народы к восстанию и продолжать душить Польшу! Но что же делать с Польшею? Освободить ее? Но, не говоря уже о том, как это было противно всем инстинктам императора Николая, нельзя не признать, что для всероссийской государственности освобождение Польши решительно невозможно.

Целые века длилась, борьба между двумя формами государства. Вопрос шел о том кто победит, шляхетская ли воля, или царский кнут. Собственно о народе не было речи ни в том, ни в другом лагере: в обоих он был одинаково рабом, тружеником, кормильцем и немым пьедесталом государства. Казалось сначала, что должны победить поляки На их стороне была образованность, военное искусство и храбрость, и так как войска их состояли по преимуществу из малой шляхты, они дрались, как вольные люди, а русские, как рабы. Все шансы казались на их стороне. И действительно, в продолжении очень долгого времени они выходили победителями из каждой войны, громили русские области и даже один раз покорили Москву. и посадили на царский престол своего королевича.

Сила, выгнавшая их из Москвы, была не царская и даже не боярская, а народная. Пока народные массы не вмешивались в борьбу, полякам счастливилось. Но лишь только сам народ выступил действующим лицом на сцену один раз в 1612 г., другой раз в виде поголовного восстания малороссийского и литовского холопства под предводительством Богдана Хмельницкого, счастье совершенно оставило их. С тех пор вольно-шляхетское государство стало чахнуть и падать, пока не погибло окончательно.

Русский кнут победил благодаря народу и, вместе с тем, разумеется, в великий ущерб народу, который в знак истинной государственной благодарности был отдан в наследственное рабство царским холопам, дворянам-помещикам

Ныне царствующий император Александр II освободил, говорят, крестьян. Мы знаем, каково это освобождение.

А между тем, именно на развалинах шляхетско-польского государства основалась всероссийская кнутовая империя. Лишите ее этой основы, отберите области, входившие до 1772 г. в состав польского государства, и всероссийская империя исчезнет.

Она исчезнет потому, что с потерей этих провинций, самых богатых, самых плодородных и самых населенных, богатство ее, и без того не чрезвычайное, и сила уменьшатся на половину. За этой потерей не замедлит последовать потеря прибалтийского края, а предположив, что восстановляемое польское государство будет восстановлено не только на бумаге, а в действительности и заживет новою, сильною жизнью, империя очень скоро утратит всю Малороссию, которая сделается или польскою областью, или независимым государством, утратит по этому также и свою черноморскую границу, будет отрезана со всех сторон от Европы и загнана в Азию.

Иные полагают, что империя может отдать Польше по крайней мере Литву. Нет, не может по тем же причинам. Соединенные Москва и Польша послужили бы непременно и, можно сказать, с неотвратимою необходимостью, польскому государственному патриотизму широкою точкою отправления для завоевания прибалтийских провинций и Украйны. Довольно освободить только царство польское, и того достаточно. Варшава тотчас сойдется с Вильною, с Гродно, с Минском, пожалуй, с Киевом, не говоря уже о Подоле и Волыни.

Как же быть? Поляки такой беспокойный народ, что им нельзя оставить ни одного местечка свободным; сейчас в нем законспирируют и поведут тайные связи со всеми забранными областями с целью восстановления польского государства. В 1841 г., например, оставался один вольный город Краков, и Краков сделался центром общепольского революционного предприятия.

Не ясно ли, что такая империя может продолжать свое существование только под условием душить Польшу по Муравьевской системе. Мы говорим империя, а не народ русский, который по нашему убеждению, не имеет ничего общего с империей, и интересы, а также и все инстинктивные стремления которого абсолютно противуположны интересам и сознательным стремлениям империи.

Как скоро империя рушится и народы великорусский малорусский, белорусский и другие восстановят свою свободу, для них не страшны будут честолюбивые замыслы польских государственных патриотов; они могут быть убийственны только для Империи.

Вот почему никакой всероссийский император, если он только в своем уме и если его не заставит железная необходимость, никогда не согласится отпустить на волю ни малейшей части Польши. А, не освободив поляков, может ли он призвать к бунту славян?

Причины, помешавшие ему поднять панславистически-бунтовское знамя, всецело существуют и теперь с тою разницею, что тогда этот путь обещал более выгод, чем в настоящее время. Тогда можно было еще рассчитывать на восстание мадьяр, Италии. находившихся под ненавистным игом Австрии. Теперь Италия осталась бы без сомнения нейтральною. так как Австрия отдала бы ей вероятно, без всяких споров, лишь бы от нее отделаться, те немногие остатки итальянской земли, которые она еще удерживает в своем владении. Что касается мадьяр, то можно сказать наверное, что они со всею страстью, внушаемой им их собственным господствующим отношением к славянам, приняли бы сторону немцев против России.

Итак, в случае панславистической войны, которую русский император поднял бы против Германии, он мог бы рассчитывать на содействие, более или менее деятельное, только славян, и то только австрийских славян, потому что если бы ему вздумалось поднять и турецких, то он вызвал бы против себя нового врага, Англию, эту ревнивую защитницу самостоятельного существования оттоманского государства. Но в Австрии славян считается около 17 миллионов, за вычетом 5 миллионов жителей Галиции, где более или менее симпатизирующие руссины были бы парализированы враждебными поляками, останется 12 миллионов, на восстание которых русский император мог бы, *может быть*, рассчитывать, исключая, разумеется, еще тех. которые завербованы в австрийское войско и которые по обычаю всякого войска стали бы драться против кого начальство прикажет.

Прибавим, что „эти 12 миллионов даже не сосредоточены в одном или нескольких пунктах, а разбросаны по всему пространству австрийской империи, говорят на совершенно разных наречиях и перемешаны то с немцами, то с мадьярами, то с румынами. то, наконец, с итальянским

населением. Этого очень много, чтобы держать в постоянной тревоге австрийское правительство и вообще немцев, но слишком мало, чтобы доставить русским войскам серьезную опору против соединенных сил прусской Германии и Австрии.

Увы! русское правительство это знает и всегда очень хорошо понимало и потому никогда не имело и не будет иметь намерения вести панславистическую войну против Австрии, которая необходимо превратилась бы в войну против целой Германии. Но если наше правительство такого намерения не имеет, зачем же оно ведет посредством своих агентов настоящую панславистическую пропаганду в австрийских владениях? По очень простой причине, по той самой, на которую сейчас указали, а именно потому, что русскому правительству очень приятно и полезно иметь такое множество горячих и вместе с тем слепых, чтобы не сказать глупых, приверженцев во всех австрийских областях. Это парализует, связывает, беспокоит австрийское правительство, и усиливает влияние России не только на Австрию, но на целую Германию. Императорская Россия возбуждает австрийских славян против мадьяр и немцев, очень хорошо зная, что в конце концов предаст их в руки тех же мадьяр и немцев. Игра подлая, но за то вполне государственная.

Итак, союзников и действительной опоры на западе, в случае панславистической войны против немцев. всероссийская империя найдет немного. Посмотрим теперь с кем ей придется бороться. Во-первых, со всеми немцами прусскими и австрийскими, во-вторых, с мадьярами и, в-третьих с поляками.

Оставляя в стороне поляков и даже мадьяр, спросим, способна-ли императорская Россия вести наступательную войну против соединенных сил всей Германии, прусской и австрийской, или хотя даже одной прусской. Мы говорим, войну наступательную, потому что здесь предполагается, что предпримет ее Россия в виду мнимого освобождения, собственно же завоевания австрийских славян.

Прежде всего несомненно, что никакая наступательная война в России не будет войною национальною. Это почти общее правило: народы редко принимают живое участие в войнах, предпринимаемых и ведущихся их правительствами за пределами отечества. Такие войны бывают чаще всего исключительно политическими, если не примешивается интерес или религиозный, или революционный. Таковы

были для немцев, французов, голландцев, англичан и даже для шведов в XVI веке войны между реформаторами и католиками. Таковы же были для Франции в конце XVIII века революционные войны. Но в новейшей истории мы знаем только два исключительные примера, когда народные массы относились с действительною симпатиею к политическим войнам, предпринятым их правительствами в виду расширения пределов государств или ради других исключительно государственных интересов.

Первый пример был дан французским народом при Наполеоне I. Но он еще недостаточно доказателен, потому что императорские войска были непосредственным продолжением и как бы естественным результатом революционных войск, так что французский народ даже после падения Наполеона, продолжал смотреть на них, как на проявление того же самого революционного интереса.

Гораздо доказательнее второй пример, а именно, пример горячего упоения, принятого, можно сказать, всем немецким народом в нелепой громадной войне, предпринятой вновь образовавшимся прусско-германским государством против второй французской империи. Да, в эту знаменательную, едва прошедшую эпоху весь немецкий народ, все слои немецкого общества, за исключением разве только небольшой кучки работников, были проникнуты исключительно политическим интересом, интересом основания и расширения пределов пангерманского государства. И теперь еще этот интерес преобладает над всеми другими в уме и сердце всех немцев без различия сословий, и это то составляет в настоящее время специальную силу Германии.

Для всякого, сколько нибудь знающего и понимающего Россию, должно быть ясно, что никакая война наступательная, предпринятая нашим правительством, не будет национальною в России. Во-первых потому, что наш народ не только чужд всякого государственного интереса, но даже инстинктивно противен ему. Государство—это его тюрьма: какая же ему нужда укреплять свою тюрьму? Во-вторых, между правительством и народом нет никакой связи, ни одной живой нити, которая могла бы соединить их, хотя на одну минуту, в каком бы то ни было деле, нет даже способности, ни возможности взаимного разумения; что для правительства бело, то для народа черно, и обратно, что

народу кажется очень бело, что для него жизнь, раздолье; что для правительства смерть.

Спросят может быть с Пушкиным:

„Иль русского царя уже бессильно слово?“.

Да, бессильно, когда оно требует от народа, что противно народу. Пусть он только мигнет и кликнет народу: вяжите и режьте помещиков, чиновников и купцов, заберите и разделите между собою их имущество—одного мгновенья будет достаточно, чтобы встал весь русский народ и чтобы на другой день даже и следа купцов, чиновников и помещиков не осталось на русской земле. Но, пока он будет приказывать народу платить подати и давать солдат государству, а на пользу помещиков и купцов работать, народ будет повиноваться нехотя, под палкою, как теперь, а когда сможет, то и не послушается. Где же тут магическое или чудотворное влияние царского слова?

И что же может царь сказать народу такого, чтобы могло взволновать его сердце или разгорячить его воображение? В 1828 г., об'являя войну оттоманской порте, под предлогом обид претерпеваемых греческим и славянскими единоверцами нашими в Турции, император Николай попробовал было своим манифестом, прочитанным народу в церквах, расшевелить в нем религиозный фанатизм. Попытка оказалась вполне неудачною. Если где у нас существует страшная и упорная религиозность, то разве только в раскольниках, менее всех признающих и государство, и даже самого императора. В православной же и казенной церкви царствует мертвый, рутинный церемониал рядом с глубочайшим индиферентизмом.

В начале крымской компании, когда Англия и Франция об'явили войну, Николай еще раз попытался возбудить религиозный фанатизм в народе, и столь же неудачно. Вспомним, что говорилось между народом во время этой войны: „француз требует, чтобы нас отпустили на волю“.— Были народные ополчения. Но всем известно, как они были сформированы. Большею частью по царскому приказанию и по начальствующему распоряжению. Это была тоже рекрутчина, только в другом виде и срочная. Во многих же местах крестьянам обещали, что по окончании войны их отпустят на волю.

Вот каков государственный интерес нашего крестьянства! В купечестве и дворянстве патриотизм выразился самым оригинальным образом: неумными речами, громкими

верноподданническими заявлениями, а главное, обедами, да попойками. Когда же надо было одним давать деньги, другим самолично идти на войну во главе своих мужиков, охотников оказалось очень немного. Всякий старался поставить за себя другого. Ополчение наделало много шуму, а пользы не приносило никакой. Но крымская война была даже не наступательная, а оборонительная, значит могла, должна была сделаться национальною, и почему же однако не сделалась? Потому, что наши высшие классы гнилы, пошлы, подлы, а народ естественный враг государства.

И этот то народ надеются поднять во имя славянского вопроса! Есть между нашими славянофилами несколько честных людей, которые не на шутку верят, что русский народ горит нетерпением лететь на помощь „братьям славянам“, про существование которых он даже не знает. Его чрезвычайно удивили бы, сказав ему, что он сам славянский народ. Г. Духинский с своими польскими и французскими последователями отрицает конечно, чтобы славянская кровь текла в жилах великорусского народа, греша этим против исторической и этнографической истины. Но г. Духинский, так мало знающий наш народ, вероятно и не подозревает, что этот народ нисколько не заботится о своем славянском происхождении. До того ли ему, измученному, голодающему и раздавленному под гнетом мнимо славянской, в действительности же татаро-немецкой империи?

Мы не должны обманывать славян. Те, которые говорят им о каком бы то ни было участии русского народа в славянском вопросе или сами себя жестоко надувают, или бессовестным образом лгут и, разумеется, лгут с нечистыми целями. И если мы, русские социалисты-революционеры, зовем славянский пролетариат и славянскую молодежь на общее дело, то вовсе не предлагаем им, как общую почву для дела, наше общее более или менее славянское происхождение. Мы можем признать только одну почву: Социальную Революцию, вне которой мы не видим спасения ни для их народов, ни для нашего, и думаем, что именно на этой почве, вследствие многих одинаковых черт в характере, в исторической судьбе, в прошедших и настоящих стремлениях всех славянских народов, а также и вследствие их одинакового отношения к государственным поползновениям германского племени, они могут братски соединиться не для того, чтобы создать общее государство,

а для того, чтобы разрушить все государства, и не для того, чтобы составить между собою замкнутый мир, а для того, чтобы вместе вступить на всемирное поприще, начиная по необходимости с заключения тесного союза с народами латинского племени, которым, также как и славянам, угрожает теперь завоевательная политика немцев.

Но и этот союз против немцев должен длиться только пока немцы, познав собственным опытом, с какими бесчисленными бедами сопряжено собственно для народа, существование государства даже мнимо народного, не сбросят с себя государственного ига и не откажутся навсегда от своей несчастной страсти к государственному преобладанию. Тогда и только тогда, три главные племени, населяющие Европу, латинское, славянское и германское организуются в союз свободно, как братья.

Но до тех пор союз славянских народов с народами латинскими против завоевания, грозящего им всем одинаково со стороны немцев, останется горькою необходимостью.

Странное назначение немецкого племени! Возбуждая против себя общие опасения и общую ненависть, они соединяют народы. Таким образом они соединили славян; ибо нет сомнения, что ненависть к немцам, глубоко укорененная в сердце всех славянских народов, гораздо более способствовала успехам панславистической пропаганды, чем все проповеди и интриги московских и петербургских агентов. Теперь же вероятно также ненависть будет привлекать народ славянский к союзу с латинским.

В этом смысле и русский народ вполне славянский народ. Немцев он не любит; но обманывать себя не должно, нелюбовь его к немцам не простирается так далеко, чтобы он собственным движением отправился воевать против них. Она скажется, лишь когда немцы сами придут в Россию и вздумают хозяйничать в ней. Но глубоко ошибется тот, кто будет рассчитывать на какое либо участие нашего народа в наступательном движении против Германии.

Отсюда следует, что если наше правительство когда либо вздумает предпринять какое либо движение, оно должно будет совершить его без всякой помощи народной, одними лишь своими государственными, финансовыми и военными средствами. Но достаточно ли этих средств, чтобы бороться против Германии, мало того, чтобы с успехом вести против нее наступательную войну.

Надо быть чрезвычайно невежественным или слепым квасным патриотом, чтобы не признать, что все наши военные средства и наша пресловутая, будто бы бессчисленная армия ничто в сравнении с настоящими средствами и с армией германской.

Русский солдат храбр несомненно, но ведь и немецкие солдаты не трусы; они это доказали в трех кампаниях сряду. Притом в предполагаемой наступательной со стороны России войне немецкие войска будут драться у себя дома, и поддержанные патриотическим и на этот раз действительно поголовным восстанием решительно всех классов и всего населения Германии, поддержанные также своим собственным патриотическим фанатизмом в то время, как русские войны будут драться без смысла, без страсти, повинуясь только команде.

Что же касается сравнения русских офицеров с немецкими, то с точки зрения просто человеческой, мы отдадим преимущество нашему офицерскому типу, не потому что он наш, а на основании строгой справедливости. Не смотря на все старания нашего военного министра, г. Милютина, огромная масса нашего офицерства осталась тем же, чем была и прежде—грубой, невежественной и почти во всех отношениях вполне бессознательной,—ученье, кутеж, карты, пьянство и когда есть чем поживиться, именно в высших чинах, начиная с ротного или эскадронного или батарейного командира, правильное чуть ли не узаконенное воровство—составляют до сих пор ежедневную поблажку офицерской жизни в России. Это мир чрезвычайно пустой и дикий, даже когда говорят по французски, но в этом мире, среди грубой и нелепой безалаберщины его наполняющей, можно найти человеческое сердце, способность инстинктивно полюбить и понять все человеческое и при счастливой обстановке, при добром влиянии, способность сделаться совершенно сознательным другом народа.

В немецком офицерском мире нет ничего кроме формы, военного регламента и отвратительной специально офицерской фанаберии, состоящей из двух элементов: из лакейского повиновения в отношении ко всему, что иерархически выше, и из дерзко-презрительного отношения ко всему, что по их мнению, стоит ниже,—к народу прежде всего, а потом и ко всему, что не носит военного мундира, за исключением самых высших гражданских чиновников и дворян.

В отношении своего государя, герцога, короля, а теперь всегерманского императора немецкий офицер, раб по убеждению, по страсти, По мановению его он готов всегда и везде совершить самые ужасные злодеяния, сжечь, истребить и перерезать десятки, сотни городов и селений, не только чужих, но даже своих.

К народу он чувствует не только презрение, но ненависть, потому, что, делая ему слишком много чести, предполагает его всегда бунтующим или же готовым взбунтоваться. Впрочем не один он это предполагает; в настоящее время все привилегированные классы, а немецкий офицер, да и вообще всякий офицер правильного войска может быть назван привилегированною сторожевою собакою привиллегированных классов. Весь мир эксплоататоров в Германии и вне Германии смотрят на народ со страхом и недоверием, которые к несчастью не всегда оправдываются, но которые, тем не менее, несомненно доказывают, что в народных массах уже начинает подниматься та сознательная сила, которая разрушит этот мир.

И так у немецкого офицера, как у доброй сторожевой собаки, ус становится дыбом при одном воспоминании о народных толпах. Понятия его о правах и обязанностях народа самыя патриархальные. По его мнению, народ должен работать, что бы господа были одеты и сыты, повиноваться, не рассуждая, властям, платить государственные подати и общинные повинности и в свою очередь исполнять службу солдата, чистить ему сапоги, подавать лошадь, а когда он закомандует и замахает саблей, стрелять, колоть и рубить всякого встречного и поперечного и когда, велят —идти на смерть за кайзера и фатерланд. По истечении же срока действительной службы, если ранен и искалечен, жить милостынею, если же вышел цел и невредим, идти в резерв и служить в нем до самой смерти, всегда повинуясь властям, преклоняясь перед всяким начальником и быть готовым умереть по востребованию.

Всякое явление в народе; противоречащее этому идеалу способно довести немецкого офицера до бешенства. Не трудно себе представить, как он должен ненавидеть революционеров; а под этим общим названием он разумеет всех демократов и даже либералов, одним словом, всякого, кто в какой-бы то ни было степени и форме осмеливается делать, хотеть, думать противное священной мысли и воли Е. И. В. повелителя всех Германий...

Можно себе представить, с какою специальною ненавистью он должен относиться к революционерам-социалистам или хотя даже к социальным демократом своей родины. Одно воспоминание о них приводит его в бешенство и он не считает приличным иначе о них говорить, как с пеною у рта. беда тому из них, кто попадет к нему в руки — и к несчастью должно сказать, что в последнее время много социальных демократов в Германии перешли через офицерские руки. Не имея права их истерзать или немедленно расстрелять, не смея давать воли рукам, он рядом самых оскорбительных мер; придирок, жестов, слов. силится выместить свою бешенную, пошлую злобу. Но еслибы ему позволили, еслибы начальство приказало, с какою неистовою ревностью и, главное, с какою офицерской гордостью он взял бы на себя роль мучителя, вешателя и палача.

А посмотрите на этого цивилизованного зверя, на этого лакея по убеждению и палача по призванию. Если он молод, вы вместо страшилища с удивлением увидите белокурого юношу, кровь с молоком и с легким пушком на рыльце, скромного, тихого и даже застенчивого, и гордого — фанаберия сквозит—и непременно сантиментального. Он знает наизусть Шиллера и Гете и вся гуманистическая литература великого, прошлого века прошла через его голову, не оставив в ней ни одной человеческой мысли и ни одного человеческого чувства в душе.

Немцам и по преимуществу немецким чиновникам и офицерам было предоставлено разрешить задачу кажется неразрешимую: соединить образованис с варварством, ученость с лакейством. Это делает их в общественном отношении отвратительными и в то жэ время чрезвычайно смешными, в отношении к народным масам злодеями систематическими и беспощадными, но за то людьми драгоценными в отношении к государственной службе.

Немецкие бюргеры это знают и, зная это патриотически переносят от них всевозможные оскорбления, потому что узнают в них свою собственную природу, а главное потому, что смотрят на этих народных привилегированных императорских псов, так часто их от скуки кусающих, как на самый верный оплот пангерманского государства.

Для регулярной армии нельзя действительно представить себе ничего лучше немецкого офицера. Человек, соединяющий в себе ученость с хамством, а хамство с храбростью. строгую исполнительность с способностью иницна-

тивы, регулярность с зверством и зверство с своеобразною честностью, известную, правда, одностороннюю и даже худосторонною экзальтацию с редким повиновением воле начальства; человек, всегда способный перерезать или перекрошить десятки, сотни, тысячи людей по малейшему знаку начальства—тихий, скромный, смирный, послушный, всегда на вытяжку перед старшими и высокомерный, презрительно-холодный, а когда нужно и жестокий в отношении к солдату, человек, которого вся жизнь выражается в двух словах: слушаться и командовать—такой человек незаменим для армии и для государства.

Что касается муштрования солдат, то это дело одно из главных в организации хорошего войска, доведено в немецкой армии до систематического, глубоко обдуманного и практически испытанного и осуществленного совершенства. Главное начало, положенное в основание всей дисциплины состоит в следующем афоризме, повторение которого мы не так давно еще слышали от многих прусских, саксонских, баварских и других немецких офицеров, со времен французской компании прогуливающихся целыми гурьбами по Швейцарии, вероятно для изучения местности и снимки планов—вперед пригодится—афоризм этот следующий:

„Чтобы овладеть душою солдата, надо прежде всего овладеть его телом“.

Как овладеть его телом? Посредством беспрерывного учения. Вы не думайте, чтобы немецкие офицеры презирали шагистику, ничуть не бывало—они видят в ней одно из лучших средств для того, чтобы выломать члены и для того, чтобы овладеть телом солдата, а потом ружейные приемы, уход за оружием, чистка мундиров; надо чтобы солдат был с утра до вечера занят, и чтобы он не переставал чувствовать над собою и за каждым шагом своим строгое, холодно-магнитизирующее око начальства. Зимою, когда времени остается побольше, солдат гонят в школу, там их доучивают читать, писать, считать, но главное заставляют твердить наизусть военный устав, проникнутый боготворением императора и презрением к народу: императору делать накараул, а в народ стрелять. Вот квинт-эссенция нравственно-политического учения солдат.

Проживя три, четыре года, пять лет в этом омуте, солдат не может иначе выйти из него как уродом. Но и для офицеров тоже самое, хотя и в другой форме. Из солдат хотят сделать палку бессознательную; офицер же должен

быть палкою сознательною, палкою по убеждению, по мысли по интересу, по страсти. Его мир—офицерское общество; из него он ни шагу, и вся офицерская коллективность, проникнутая вышеописанным духом, смотрит за каждым. Беда несчастному, если увлеченный неопытностью или каким нибудь человеческим чувством, он позволит себе сдружиться с другим обществом. Если это общество в политическом отношении невинно, то над ним будут только смеяться Но если оно имеет направление политическое, несогласное с обще-офицерским направлением, либеральное демократическое, не говорю уже о социально-революционном, тогда несчастный пропал. Каждый товарищ сделается для него доносчиком.

Вообще высшее начальство предпочитает, чтобы офицерство бывало больше между собою, и старается оставить им, равно как и солдатам, как можно менее свободного времени. Муштрование солдат и беспрестанный надсмотр за ними уже забирает три четверти дня: остальная четверть должна быть посвящена усовершенствованию в военных науках. Офицер, прежде чем дослужится до майорского чина, должен выдержать несколько экзаменов; кроме того им задаются срочные работы по разным вопросам и по этим работам судят о их способности к повышению.

Как видим, военный мир в Германии, впрочем точно также как и во Франции, составляет совершенно замкнутый мир, и эта замкнутость есть верное ручательство в том, что этот мир будет врагом для народа.

Но немецкий военный мир имеет перед французским, да и перед всеми европейскими огромное преимущество: немецкие офицеры превосходят всех офицеров в мире положительностью и обширностью своих познаний, теоретическим и практическим знанием военного дела, горячею и вполне педантическою преданностью военному ремеслу, точностью, аккуратностью, выдержкою, упорным терпением а также и относительною честностью.

Вследствие всех этих качеств организация и вооружение немецких армий существует действительно, и не на бумаге только, как это было при Наполеоне III во Франции как это бывает сплошь да рядом у нас. К тому же, благодаря все тем же немецким преимуществам, административный, гражданский и в особенности военный контроль устроен так, что продолжительный обман невозможен. У нас же, напротив, снизу до верху и сверху до низу рука руку моет

вследствие чего дознание истины становится почти невозможным.

Сообразите все это и спросите себя, возможно ли чтобы русская армия могла надеяться на успех в наступательной войне против Германии? Вы скажете, что Россия может поставить миллион войска. Ну, хорошо организованного и вооруженного войска пожалуй не будет миллион; однако положим что есть миллион; половину надо будет оставить разбросанною по огромному пространству империи для соблюдения спокойствия в счастливом народе, который того и гляди от большого жира может взбеситься. Для одной Украины, Литвы и Польши сколько понадобиться войска! Много, много если вы будете в состоянии выслать против Германии пятисоттысячную армию. Такой армии Россия никогда еще не ставила.

Ну, а в Германии вас встретит действительно миллионная армия, по организации, по вымуштровке, по науке, по духу и по вооружению первая в мире, А за нею будет стоять громадным ополчением весь немецкий народ, который может быть и даже вероятно не встал бы против французов если бы в последней войне победил не Франц прусский, а Наполеон III, но который, повторим еще раз, против русского вторжения встанет поголовно.

Скажете вы, что, в случае нужды, Россия, т. е. всероссийская империя в состоянии поставить еще миллион войска; отчего же и не поставить, да только на бумаге. Стоит для этого только предписать указом новый рекрутский набор по столько-то с тысячи. Вот вам и ваш миллион. Да как его собрать? Кто будет его собирать? Ваши резервные генералы, генерал-ад'ютанты, флигель-ад'ютанты, командиры резервных и гарнизонных батальонов на бумаге, ваши губернаторы, чиновники, Боже мой, сколько же десятков, а пожалуй и сотен тысяч уморят они с голоду прежде, чем их соберут. Да где вы, наконец, возьмете достаточное количество офицеров для организации нового миллионного войска, и чем вооружите его? Палками? Ведь у вас нет достаточного количества денег для порядочного вооружения одного миллиона, а вы грозитесь вооружить другой миллион. Ни один банкир не даст вам в займы; ну а если и даст, ведь на вооружение миллиона требуются года.

Сравним вашу бедность и вашу беспомощность с германским богатством и с германскою силою. Германия полу-

чила от Франции пять миллиардов, положим что три миллиарда были потрачены на вознаграждение разных издержек, на вознаграждение принцев, государственных людей, генералов, полковников, офицеров, разумеется не солдат, а также и на разные внутренние и заграничные поездки. Остаются два миллиарда, которые исключительно употреблены на вооружение Германии, на постройку новых или на укрепление старых бесчисленных крепостей, на заказ новых пушек, ружей и т. д. Да, вся Германия обратилась теперь в грозный, во все стороны щетинящийся арсенал. И вы, обученные и вооруженные кое как, надеясь ее победить.

При первом шаге, лишь только сунете нос на немецкую землю, вы будете самым страшным образом разбиты на голову, и ваша наступательная война тотчас же обратится в оборонительную; немецкие войска вступят в пределы всероссийской империи.

Но тогда, по крайней мере, возбудят ли они против себя всеобщее восстание русского народа? Да, если немцы вступят в русские области и пойдут, например, прямо в Москву; но если этой глупости не сделают, а пойдут севером на Петербург, через балтийские провинции, в которых найдут, не только между мещанством, протестанскими пасторами и жидами, но и посреди недовольных баронов и их детей, студентов, а через их посредство и в наших бесчисленных остзейских генералах, офицерах, высших и нисших чиновниках, наполняющих Петербург и разбросанных по всей России, много приятелей: мало того, они подымут против русской империи Польшу и Малороссию.

Правда, что из всех, врагов, притеснителей Польши, со дня ее разделения, Пруссия оказалась самым назойливым, самым систематическим, а потому и самым опасным; Россия действовала, как варвар, как дикая сила, всех резала, вешала, мучила, ссылала тысячи в сибирь и все-таки обрусить доставшейся ей части Польши не умела, да и до сих пор, несмотря на Муравьевские рецепты, не умеет; Австрия с своей стороны, также нисколько не онемечила Галиции, да и не старалась об этом. Пруссия, как истый представитель германского духа и великого германского дела, насильственного и искусственного германизирования стран немецких, сейчас приступила к онемечиванию, во что бы то ни стало, данцигской области и познанского герцог-

ства, не говоря уже о кенигсбергском крае, доставшемся ей гораздо прежде.

Было бы слишком долго говорить о средствах, которые она употребила для достижения этой цели; между ними широкое колонизирование немецких крестьян на польской земле занимало огромное место. Полное освобождение крестьян в 1807 г. с правом выкупа земли и со всеми возможными облегчениями для совершения этого выкупа также много способствовало к популяризованию прусского правительства даже между польскими крестьянами. Потом основались сельские школы и в них и через них введен был немецкий язык. Вследствие подобных мер оказалось уже в 1848 г., что более трети Познанского герцогства совсем онемечилось. О городах же и говорить нечего. С самого начала польской истории в них говорилось по-немецки благодаря массе немецких бюргеров, ремесленников, а главное жидов, получивших в них широкое гостеприимство Известно, что с самых древних времен, большинство городов в этой части Польши управлялись так называемым магдебургским правом.

Таким образом Пруссия достигала своей цели в мирное время. Когда же польский патриотизм подымал или силился поднять народное движение, она не останавливалась разумеется перед самыми решительными и варварскими мерами. Мы уже имели случай заметить, что в деле укрощения польских бунтов не только в своих собственных пределах, но также в Царстве Польском, Пруссия не переставала оказывать неизменную верность и самую горячую готовность на помощь русскому правительству. Прусские жандармы, что говорим, прусские благородные офицеры всякого оружия, гвардейские и армейские, с какою то особенною страстью охотились на поляков, скрывавшихся в прусских владениях, ловили их и с злостною радостью выдавали русским жандармам, с выражением нередко надежды, что их в России повесят. В этом отношении Муравьев-вешатель не мог довольно нахвалиться князем Бисмарком.

До вступления в министерство князя Бисмарка, Пруссия постоянно делала тоже самое, но она делала это стыдливо, втихомолку и когда было возможно, отпиралась от своих собственных действий. Князь Бисмарк первый сбросил маску. Он цинически, громко не только признался, но хвастался в прусском парламенте и перед европейскою дипломатией тем, что прусское правительство употребляло все

свое влияние на правительство русское, чтобы уговорить его задушить Польшу до конца, не останавливаясь ни перед какими кровавыми мерами, и что в этом отношении Пруссия всегда будет оказывать самую деятельную помощь России.

Наконец, в настоящее время, еще недавно, князь Бисмарк прямо высказал в парламенте неизменное решение правительства искоренить остатки польской национальности в польских областях, наслаждающихся ныне прусско-германским управлением. К несчастью, как мы это заметили выше, поляки познанские, точно также как и поляки галицийские, связали теперь, теснее чем когда нибудь, свое польско-национальное дело с вопросом о преобладании папской власти. Их адвокатами стали иезуиты, ультрамонтанцы, монашеские ордена и епископы. Не поздоровиться полякам от такого союза и от такой дружбы, как не поздоровилось в XVII веке. Но это не наше, а их польское дело.

Мы упомянули об всем этом для того только, чтобы показать, что у поляков нет врага опаснее и злее князя Бисмарка. Кажется, что он поставил задачею своей жизни стереть их с лица земли. И всетаки это не помешает ему позвать поляков к бунту против России, когда того потребуют интересы Германии. И несмотря на то, что поляки ненавидят его и Пруссию, чтобы не сказать всю Германию, в этом поляки не хотели бы сознаться, хотя в глубине их души, не менее, чем у всех других славянских народов живет та же самая историческая ненависть против немцев, несмотря на то, что они не могут забыть кровных обид, вынесенных ими со стороны прусских немцев, поляки несомненно подымутся на зов Бисмарка.

В Германии и в самой Пруссии, уже очень давно существует многочисленная и серьезная политическая партия, даже три партии: либерально-прогрессивная, чисто демократическая и социально-демократическая вместе составляющих несомненное большинство в парламентах германском и прусском, и еще более решительное в самом обществе, партии, которые предвидя и отчасти желая и как-бы вызывая войну Германии против России, поняли, что восстание и восстановление Польши в *известных пределах*, будет необходимым условием этой войны.

Разумеется, что ни князь Бисмарк и ни одна из этих партий никогда не согласится возвратить Польше всех областей, забранных у нее Пруссиею. Не говоря уже о Кенигсберге, они ни за что в мире не отдадут ни Данцига, ни

даже малейшего клочка западной Пруссии. Даже в познанском герцогстве, они отделят себе значительную часть, будто бы уже совсем онемеченную, и оставят полякам, в сущности из всей части Польши, доставшейся на долю пруссакам, очень немного. Зато, отдадут им всю Галицию, со Львовом и с Краковом, так как все это принадлежит теперь Австрии, и отдадут им еще охотней столько земли далеко в глубь России, сколько у поляков станет сил захватить и удержать за собою. Вместе с тем она предложит полякам нужные деньги, разумеется в виде польского займа за поручительством Германии, оружие и военную помощь.

Кто может сомневаться в том, что поляки не только согласятся, но с радостью ухватятся за немецкое предложение: их положение так отчаянно, что если бы им сделали предложение во сто раз хуже, они бы его приняли.

Целый век прошел со времени разделения Польши, и в продолжение этих-то лет не прошло почти ни одного года, в который бы не была пролита мученическая кровь патриотов польских. Сто лет непрерывной борьбы, отчаянных бунтов! Есть ли другой народ, который мог бы похвастаться подобною доблестью?

Чего поляки не перепробовали? Шляхетские конспирации, мещанские заговоры, вооруженные банды, народное восстание, наконец, все ухищрения дипломатии и даже помощь церковную. Все они перепробовали, за все цеплялись и все порвалось, все изменило. Как же им отказаться, когда сама Германия, их опаснейший враг, предлагает им свою помощь на известных условиях!

Найдутся, пожалуй, славянофилы; которые упрекнут их за то в измене. В измене чему? Славянскому союзу, славянскому делу? А чем проявился этот союз, в чем состоит это дело? Не проявился ли он в поездке г.г. Палацкого и Ригера в Москву на панславистическую выставку и на поклонение царю. Чем и когда, каким именно делом, славяне, как славяне, выразили свою братскую симпатию полякам? Не тем ли, что те же самые г.г. Палацкий и Ригер и вся их многочисленная свита западно и юго славянская в Варшаве лобызались с русскими генералами, еле-еле омывшимися от польской крови, пили за славянское братство и за здоровье царя-палача.

Поляки мученики и герои, у них в прошедшем великая слава; славяне же дети и все значение их в будущем. Славянский мир, славянский вопрос, это не действительность,

а надежда, и надежда, которая осуществиться может только посредством Социальной Революции; а к этой революции у поляков, говоря, разумеется о патриотах, принадлежащих большею частью к образованному сословию и по преимуществу к шляхте, до сих пор выказывалось очень немного охоты.

Что же может быть общего между славянским миром, еще не существующим и патриотически-польским миром, более или менее отжившим? И действительно, за исключением весьма немногих лиц, старающихся создать славянский вопрос в польском духе и на польской почве, поляки вообще нисколько не занимаются этим вопросом, им гораздо понятнее и ближе мадьяры; с которыми они имеют некоторое сходство и много общих исторических воспоминаний, от славян же южных и западных отделяют их главным и можно сказать решительным образом симпатии этих народов к России, т. е. к тому из врагов, которого они сами ненавидят более всех.

В Польше и в польской эмиграции, как и во всех странах, политический мир разделялся некогда на много политических партий. Была партия аристократическая, клерикальная и монархически-конституционная; была партия военной диктатуры; партия республиканцев умеренных, поклонников Соединенных Штатов; партия красных республиканцев по французскому образцу; наконец, даже немногочисленная партия демократов социальных, не говоря уже о мистически-сектаторских партиях или вернее церковных. В сущности, однако, стоило только проникнуть в каждую из них немного глубже, чтобы убедиться, что основа у всех одна и таже; страстное стремление у всех к восстановлению польского государства в границах 1772 г. Помимо же взаимных противоречий, происходящих от взаимной борьбы начальников партий, главное различие их состояло в том, что каждая была уверена, эта общая цель, восстановление старой Польши, может быть достигнута только на пути специально рекомендуемым ею.

До 1850 г. можно сказать, что огромное большинство польской эмиграции революционерное, именно потому, что большинство было уверено, что восстановление независимой Польши будет непременным результатом торжества революции в Европе. И что же, можно сказать, что в 1848 г. не было ни одного движения в целой Европе, в котором бы не участвовали и даже часто не предводительствовали поляки.

Нам помнится, как один саксонский немец выразил на этот счет свое удивление: где только беспорядок, там непременно поляки.

В 1850 г., вследствие повсеместного поражения, эта вера в революцию упала, поднялась наполеоновская звезда и множество, множество польских эмигрантов, огромное большинство сделались от'явленными и страшными бонапартистами. Боже мой, чего не ждали и не надеялись они от помощи Наполеона III! Даже явная, гнусная измена его в 1862—63 г. не в силах была убить в них этой веры. Она окончилась только в Седане.

После этой катастрофы оставалось для польской надежды только одно убежище, иезуитско-ультрамонтанское. Австрийские и большинство польских патриотов ринулось в Галицию, ринулось туда с отчаяния. Но вообразите себе, что Бисмарк, их от'явленный враг, вынужденный положением Германии, позовет их на восстание против России; покажет им не отдаленную надежду, нет даст им денег, оружие и военную помощь. Возможно ли, чтобы отказались от этого?

Правда, что взамен этой помощи, от них потребуется формальное отречение от большой части старых польских земель, находящихся теперь во владении Пруссии. Это будет им очень горько, но вынужденные обстоятельствами и в виду верного торжества над Россиею, утешая себя, наконец, мыслью, что лишь бы только восстановить Польшу, а потом они возвратят свое, они поднимутся все несомненно, и с своей точки зрения будут десять тысяч раз правы.

Правда, что Польша восстановляемая с помощью немецкого войска, под покровительством князя Бисмарка будет странною Польшею. Но лучше странная Польша, чем никакой; да наконец, потом, подумают непременно поляки, можно будет и освободиться от покровительства князя Бисмарка.

Одним словом, поляки на все согласятся и Польша встанет, Литва встанет, а немного погодя и Малороссия встанет, польские патриоты, правда, плохие социалисты, и у себя дома они не станут заниматься революционно-социалистической пропагандой; а если бы и захотели, то покровитель, князь Бисмарк не позволил бы—слишком близко к Германии; чего доброго, такая пропаганда могла бы проникнуть и в прусскую Польшу. Но чего нельзя будет делать в Польше, то можно будет делать в России и против

России. Чрезвычайно полезно будет и для немцев, и для поляков поднять в России крестьянский бунт, а поднять его будет правда не трудно и подумайте, сколько поляков и немцев рассеяно теперь по России. Большинство, если не все, будут естественными союзниками Бисмарка и поляков. Вообразите себе такое положение: войска наши, разбитые на голову, бегут; за ними вслед на севере к Петербургу идут немцы, а на западе и на юге, на Смоленск и на Малороссию, идут поляки—и в тоже самое время, возбужденный внешнею и внутреннею пропагандою, в России, и Малороссии всеобщий крестьянский, торжествующий бунт.

Вот почему можно сказать наверное, что никакое правительство и что ни один русский царь, если он только не сумасшедший не поднимет панславистического знамени и не пойдет никогда войною против Германии.

Поразив окончательно сначала Австрию, а потом Францию, новая и великая германская империя, низведет безвозвратно на степень второстепенных и от нее зависимых держав не только эти два государства, но позже и нашу всероссийскую империю, которую она навсегда отрезала от Европы. Мы говорим разумеется об империи, а не о руском народе, который, когда ему будет нужно, найдет или пробьет себе всюду дорогу.

Но для всероссийской империи ворота Европы отныне заперты; от этих ворот ключи же хранятся у князя Бисмарка, который ни за что в мире не дает их князю Горчакову.

Но если ворота северо-запада заперты для нее навсегда, не останутся ли открытыми, и может быть еще тем вернее и шире, ворота южные и юго-восточные: Бухара, Персия и Афганистан до самой восточной Индии, и наконец, последняя цель всех замыслов и стремлений, Константинополь? Уже давно русские политики, горячие ревнители величия и славы нашей любезной империи, обсуждают вопрос, не лучше ли перенесть столицу, а с ней вместе и средоточие всех сил, всей жизни империи с севера на юг, от суровых берегов моря Балтийского на вечно цветущие берега Черного и Средиземного морей, одним словом, из Петербурга в Константинополь.

Есть правда до того ненасытные патриоты, что они хотели бы сохранить Петербург и преобладание на Балтийском море и вместе овладеть Константинополем. Но это желание до того неосуществимо, что даже они, не смотря на

всю веру во всемогущество всероссийской империи, начинают отказываться от надежды на его исполнение, к тому же, за последний год, случилось происшествие, которое должно было открыть им глаза. Это происшествие: присоединение Гольштейна, Шлезвига и Ганновера к прусскому королевству, обратившемуся непосредственно через это в северную морскую державу.

Аксиома всем известная, что не может ни одно государство стать в числе первенствующих держав, если оно не имеет обширных морских границ, обеспечивающих непосредственное сообщение его с целом светом и позволяющих ему принять участие прямое в мировом движении, как материальном, там и общественном политически нравственном. Эта истина столь очевидна, что ее доказывать нечего. Предположим государство самое сильное, образованное и самое счастливое, — сколько в государстве общее счастье возможно — и вообразим, что какие нибудь обстоятельства уединили его от остального света. Можете быть уверены, что по прошествии каких нибудь пятидесяти лет, двух поколений, все в нем придет в застой: сила ослабеет, образованность станет граничить с глупостью, ну а счастье будет издавать запах лимбурского сыра.

Посмотрите на Китай, кажется был и умен, и учен и вероятно, также по своему, счастлив; отчего он сделался таким дряблым, что достаточно самых небольших усилий морским европейским державам для того, чтобы подчинить его своему уму и если не своему владычеству, то, по крайней мере, своей воле? От того, что в продолжении веков он оставался в застое, а оставался он в нем потому, что в продолжении этих веков, он, благодаря отчасти своим внутренним учреждениям, отчасти же тому, что течение мировой жизни происходило так далеко от него, что долго не могло его коснуться.

Есть много разных условий для того, чтобы народ замкнутый в государство мог принять участие в мировом движени; сюда принадлежит природный ум и прирожденная энергия, образованность, способность к производительному труду и самая обширная внутренняя свобода, столь невозможная, впрочем, для масс в государстве. Но к этим условиям также принадлежит непременно морское плавание, морская торговля, потому что морские сообщения по своей относительной дешевизне, скорости, а также и свободе, в том смысле, что море никем не присвоено, прево-

сходят все другие более известные, не исключая разумеется и железных дорог. Может быть воздухоплавание когда нибудь окажется еще более удобным во всех отношениях и будет особенно важным, так что оно окончательно уравняет условия развития жизни для всех стран. Но до сих пор о нем говорить нельзя, как о средстве серьезном, и мореплавание все-таки остается главным средством для преуспеяния народов.

Будет время, когда не будет более государств—а к разрушению их стремятся все усилия социально-революционной партии в Европе—будет время, когда на развалинах политических государств оснуется, совершенно свободно и организуясь снизу вверх, вольный братский союз вольных производительных ассоциаций, общин и областных федераций, обнимающих безразлично, потому что свободно, людей всех языков и народностей, ну тогда путь к морю будет равно открыт для всех: для береговых жителей непосредственно, а для живущих в отдалении от моря посредством железных дорог, освобожденных вполне от всяких государственных попечений, взиманий, пошлин, ограничений, придирок, запрещений, позволений и применений. Но и тогда даже морские береговые жители будут иметь множество естественных преимуществ не только материальных, но и умственно нравственных. Непосредственное прикосновение к мировому рынку и вообще к мировому движению жизни развивает чрезвычайно, и как не уравнивайте отношения, все-таки внутренние жители, лишенные этих преимуществ, будут жить и развиваться ленивее и медленне прибрежных.

Вот почему так важно будет воздухоплавание. Воздушная атмосфера, это океан, проникающий всюду, берег его везде, так что в отношении к нему все люди, даже живущие в самых отдаленных захолустьях, без исключения все прибрежные жители. Но до тех пор, пока воздухоплавание не заменит мореплавания, прибрежные жители останутся во всех отношениях передовыми и будут составлять род аристократии в человечестве.

Вся история, а главное большая часть прогресса в истории была сделана народами прибрежными. Первый народ, создатель всей цивилизации, греки—и что же, можно сказать, что вся Греция ни что иное, как берег. Древний Рим сделался государством могучим, мировым только с тех пор, как сделался морским государством. А в новейшей

истории, кому обязаны воскресением политической свободы, общественной жизни, торговли, искусств, наук, свободной мысли, одним словом возрождению человечества? Италии, которая почти вся, как Греция, берег. После Италии, кто унаследовал передовое место в мировом движении? Голландия, Англия, Франция и наконец, Америка.

Посмотрим же, напротив, на Германию. Почему, несмотря на много несомненных качеств, которыми наделены ее народы, как напр., чрезвычайное трудолюбие, способности к размышлению и к науке, эстетическое чувство, породившее великих артистов, художников и поэтов и глубокомысленный трансцендентализм, породивший не менее великих философов—почему, спрашиваем мы, Германия отстала так далеко от Франции и от Англии во всех других отношениях, кроме одного, в котором опередила всех, в развитии бюрократического, полицейского и военного государственного порядка, почему в торговом отношении она стоит еще теперь ниже Голландии, а в индустриальном ниже Бельгии.

Скажут, потому что у ней никогда не было свободы, любви к свободе, ни требования свободы. Это будет отчасти справедливо, но это не единственная причина. Другая, столь же важная, это отсутствие широкого прибрежья. Еще в XIII веке, именно в эпоху зарождения Ганзы, Германия не терпела недостатка в морском береге, по крайней мере, на западе. Голландия и Бельгия еще принадлежали к ней, и именно в этом столетии торговля Германии, казалось, обещала развитие довольно широкое. Но уже с XIV века, нидерландские города, увлеченные своим предприимчивым и смелым духом и своею любовью к свободе, стали видимым образом отделяться от Германии и чуждаться ее. В XVI веке это отделение окончательно совершилось и великая империя, неуклюжая наследница римской империи, оказалась государством почти совсем средиземным. Осталась у нее только узкая форточка в море между Голландией и Данией, далеко недостаточная для свободного дыхания такой огромной страны. Вследствие этого на Германию и напала сонливость, чрезвычайно похожая на китайский застой.

С тех пор все политическое *передовое* движение Германии, в смысле образования нового сильного государства, сосредоточилось на небольшом курфюршестве бранденбургском. И в самом деле бранденбургские курфюрсты по-

стоянным стремлением своим овладеть берегами Балтийского моря, оказали значительную услугу Германии, создали, можно сказать, условия ее настоящего величия, сначала овладели Кенигсбергом, а потом в эпоху первого деления Польши, взяли Данциг. Но всего этого было недостаточно, надо было овладеть Килем и вообще всем Шлезвигом и Гольштейном.

Эти новые завоевания были сделаны Пруссиею при рукоплескании целой Германии. Мы все были свидетелями с какой страстью немцы, решительно всех отдельных государственных фатерландов и северных, и южных, и западных, и восточных, и центральных следили с самого 1848 г. за развитием шлезвиг-гольштинского вопроса и ошибались глубоко те, которые об'ясняли себе эту страсть в смысле участия к родным братьям, немцам, будто бы задыхающимся под датским деспотизмом. Тут был интерес совсем другой, интерес государственный, пангерманский, интерес завоевания морских границ и морских сообщений, интерес создания могучего немецкого флота.

Вопрос о немецком флоте был уже поднят в 1840 и 41 г., и мы помним с каким энтузиазмом было принято целою Германиею стихотворение Гервега: германский флот.

Немцы, повторяем мы еще раз, народ в высшей степени государственный, что эта государственность преобладает в них над всеми другими страстями и решительно подавляет в них инстинкт свободы. Но она-то составляет именно в настоящее время их специальное величие; она служит и будет еще служить некоторое время неизменною и прямою подставкою для всех честолюбивых замыслов берлинского государя. На нее крепкой ногой опирается князь Бисмарк.

Немцы народ ученый и знают, что без непрочных морских границ нет и не может быть великого государства. Вот почему они, наперекор исторической, этнографической и географической истине, утверждают еще теперь, что Триест был, есть и будет немецким городом, что весь Дунай река немецкая. Они рвутся к морю. И если не остановит их социальная революция, можно быть уверенным, что прежде чем пройдут двадцать, десять лет, а может быть и еще менее—происшествия ныне идут так быстро друг за другом—можно быть уверенным, говорим мы, что в короткое время они завоюют всю *немецкую* Данию, всю *немецкую* Голландию, всю *немецкую* Бельгию. Все это лежит так

сказать в натуральной логике их политического положения и их инстинктивных стремлений.

Один этап на этом пути уже пройден.

Пруссия, нынешнее олицтворение, голова и вместе руки Германии, крепко основалась на Балтийском море, а вместе с тем и на Северном море. Независимость бременская, гамбургская, любекская, мекленбургская и ольденбургская—пустая и невинная шутка. Все это вместе с Гольштейном, Шлезвигом и Ганновером вошло в состав Пруссии, и Пруссия богатая французскими деньгами строит два сильных флота: один на Балтике, другой на Северном море и, благодаря судоходному каналу, который ныне копают для соединения двух морей, эти два флота скоро составят один флот. И немного лет надо будет ждать датский и шведский, сделался бы гораздо сильнее русского Балтийского флота. И тогда русское преобладание на море Балтийском канет в... Балтийское море. Прощай Рига, прощай Ревель, прощай Финляндия и прощай Петербург, вместе со своим неприступным Кронштадтом!

Все это для квасных патриотов, привыкших преувеличивать всероссийские силы, покажется бредом, злою сказкою, а между тем это ничто иное, как совершенно верное заключение из осуществившихся уже фактов, на основании справедливой оценки характера и способностей немецких и русских, не говоря уже о денежных средствах, о сравнительном количестве добросовестных, преданных и знающих чиновников всякого рода, и также не говоря о науке, которая дает решительный перевес всем немецким предприятиям перед русскими.

Немецкая государственная служба дает результаты некрасивые, неприятные, можно сказать мерзские, но зато положительные и серьезные.

Русская государственная служба дает результаты столь же неприятные и некрасивые, а по форме, нередко, еще более дикие и с этим вместе пустые. Возьмем пример: положим, что в одно и то же время в Германии и в России правительства назначили одну и ту же сумму, положим, миллион, на совершение какого нибудь дела, хоть на постройку нового судна. Что же вы думаете, в Германии украдут? Украдут быть может сто тысяч, положим двести тысяч, за то уж восемьсот тысяч прямо пойдут на дело, которое совершится с тою аккуратностью и с тем знанием, которым отличаются немцы. Ну, а в России? В России

прежде всего половину раскрадут, четверть пропадет вследствие нерадения и невежества, так что много много если на остальную четверть состряпают что нибудь гнилое, годящееся на показ, но для дела негодное.

Почему же русский флот способен устоять против немецкого, русские приморские укрепления, напр., Кронштадт, выдержать стрельбу немцев. умеющих бросать не только чугунные, но также и золотые снаряды?

Прощай господство на Балтийском море! Прощай все политическое значение и сила северной столицы, воздвигнутой Петром на финских болотах! Если наш маститый великий канцлер, князь Горчаков, не совсем выжил из ума, он должен был сказать себе это в те дни, когда союзная Пруссия грабила безнаказанно, и как бы с нашего согласия, столь же нам союзную Данию. Он должен был понять. что с того дня, как Пруссия, опирающаяся теперь на всю Германию и составляющая в неразрывном единстве с последней сильнейшую континентальную державу; с тех пор, одним словом, как новая германская империя, создавшаяся под скипетром прусским, заняла на Балтийском море свое настоящее и для всех других прибалтийских держав столь грозное положение, преобладанию петербургской России на этом море был положен конец, уничтожено великое политическое творение Петра, а с ним вместе уничтожено и самое могущество всероссийского государства, если в вознаграждение утраты вольного морского пути на севере, не откроется для него новый путь на юге.

Ясно, что на Балтийском море станут теперь господствовать немцы. Правда, что входы в него находятся еще в руках Дании. Но кто не видит, что этому бедному маленькому государству не остается уже теперь почти другого выбора, как сделаться с начала пожалуй вольно-федеративным, а вскоре потом и вполне *быть поглощенным* пангерманской государственной централизацией; а это значит, что Балтийское море в самое короткое время превратится в море исключительно немецкое, и что Петербург должен будет утратить всякое политическое значение.

Князь Горчаков должен был знать это, когда соглашался на раздробление датского королевства и на присоединение Гольштейна и Шлезвига к Пруссии. И силою самых происшествий мы приведены к следующей дилемме: или он изменил России, или в замен пожертвованного им преобладания всероссийского государства на северо-западе

он обеспечился формальным обязательством князя Бисмарка содействовать России в завоевании нового могущества на юго-востоке.

Для нас существование такого акта, существование оборонительного и наступательного союза, заключенного между Россиею и Пруссиею чуть ли не сейчас же после парижского мира или, по крайней мере, во время польского возстания, в 1863 г., когда увлеченные примером Франции и Англии почти все европейские державы, кроме Пруссии, громогласно и оффициально протестовали против всероссийского варварства; для нас, говорим мы, формальное и для обеих сторон равно обязательное согласие между Пруссиею и Россиею несомненно, только подобным союзом может быть об'яснена та спокойная, можно сказать, беззаботная уверенность, с какою Бисмарк предпринял войну против Австрии и против большой части Германии, с опасностью французского вмешательства, и еще более решительную войну против Франции. Малейшей враждебной демонстрации со стороны России, напр. движения русских войск к прусской границе было достаточно, чтобы остановить и в той, и в другой войне, особенно в последней, дальнейшие движения победоносного прусского воинства. Вспомним, что в конце последней войны вся Германия, по преимуществу же северная часть ее была совершенно очищена от войск, что невмешательство Австрии в пользу Франции не имело другой причины, как об'явление России, что если Австрия двинет свои войска, то она двинет против них свою армию, и что Италия и Англия только потому не вмешались, что этого не хотела Россия. Не заяви она себя таким решительным союзником прусско-германского императора немцы никогда бы не взяли Парижа.

Но Бисмарк видимо был уверен, что Россия не изменит ему. На чем же была основана такая уверенность? Ужели на родственных связях и на личной дружбе двух императоров? Но Бисмарк человек слишком умный и опытный, чтобы рассчитывать на чувства в политике. Положим даже, что наш император, одаренный, как всем известно, чувствительным сердцем и проливающий слезы чрезвычайно легко, мог увлечься подобными чувствами, не раз высказанными им в царских попойках, тогда окружающее его правительство, двор, наследник, ненавидящий будто бы немцев и, наконец, наш маститый государственный патриот, князь Горчаков, все вместе, общественное мнение и сама сила

вещей напомнили бы ему, что государства руководствуются интересами, а не чувствами.

Не мог же Бисмарк рассчитывать на тождество интересов русских и прусских. Такого тождества нет да и быть не может, оно существует только в одном пункте, а именно в польском вопросе. Ну, да этот вопрос уже давно порешен а во всех других отношениях, ничто не может быть так противно интересам всероссийского государства, как образование о бок его огромной и могущественной всегерманской империи. Существование двух огромных империй, друг подле друга, влечет за собой войну, которая не может кончиться иначе, как разрушением или одной, или другой.

Война эта, повторяем мы, неизбежна, но она может быть отдалена, если обе империи сознают что они еще недостаточно укрепились внутри, не довольно расширились для того, чтобы начать друг против друга войну решительную, борьбу на жизнь и на смерть. Тогда, хотя и ненавидя друг друга, они продолжают друг друга поддерживать, обмениваться услугами между собою, причем каждая надеется, что она воспользуется лучше другой невольным союзом приобретет больше силы и средств для будущей, неизбежной борьбы—таково именно взаимное положение России и прусской Германии.

Германская империя далеко еще не укрепилась ни внутри, ни снаружи. Внутри она представляет странное соединение многих самостоятельных средних и маленьких государств, правда обреченных на уничтожение, но еще не уничтоженных и стремящихся во чтобы то ни стало спасти остатки своей, видимо исчезающей самостоятельности. Снаружи хмурится против новой империи униженная, но не окончательно еще сраженная Австрия, побежденная и именно вследствие того непримиримая Франция. К тому-же новогерманская империя далеко еще не достаточно округлила свои границы. Повинуяся внутренней необходимости, свойственной военным государствам, она задумывает новые приобретения, новые войны. Поставив себе целью восстановление средне-вековой империи в первобытных границах, и к этой цели влечет ее неуклонно патриотизм пангерманский, обуявший все немецкое общество, она мечтает о присоединении всей Австрии, кроме Венгрии, отнюдь не кроме Триеста, не кроме Богемии, всей немецкой Швейцарии, части Бельгии, всей Голландии и Дании, необходимых для основания ее морского могущества—планы гигантские, осу-

ществление которых возбудит значительную часть западной и южной Европы против нее, и которые поэтому без согласия России решительно невозможны. Значит для ново-германской империи еще необходим русский союз.

Всероссийская империя с своей стороны также не может обойтись без прусско-германского союза. Отказавшись от всяких новых приобретений и расширений на северо-западе, она должна идти на юго-восток. Уступив Пруссии преобладание на Балтийском море, она должна завоевать и установить свое могущество на Черном море. Иначе она будет отрезана от Европы. Но для того, чтобы владычество ее на Черном море было действительно и полезно, она должна овладеть Константинополем, без которого не только выход в Средиземное море может быть возбранен ей во всякое время, но самый вход в Черное море будет всегда открыт для неприятельских флотов и армий, как это и было во время крымской компании.

Значит единая цель, к которой, больше чем когда нибудь, стремится завоевательная политика нашего государства—Константинополь. Осуществлению этой цели противны интересы всей южной Европы, не исключая разумеется Франции, противны английские интересы, а также и интересы Германии, так как безграничное владычество России на Черном море, поставит все дунайское прибрежье в прямую зависимость от России.

И, несмотря на это, нельзя сомневаться в том, что Пруссия, вынужденная опираться на русский союз для исполнения своих завоевательных планов на западе, формально обязалась помогать России в ее юго-восточной политике; также как нельзя сомневаться и в том, что она воспользуется первою возможностью для того, чтобы изменить обещанию.

Такого нарушения договора нельзя ожидать теперь, в самом начале исполнения его. Мы видели какую горячую поддержку прусско-германская империя оказала империи всероссийской в вопросе об уничтожении условий парижского трактата, стеснительных для России и, нет сомнения что она так же горячо продолжает ее поддерживать в хивинском вопросе. К тому же для немцев выгодно, чтобы русские удалились как можно глубже на восток.

Но что заставило русское правительство предпринять поход против Хивы? Нельзя же предполагать, чтобы оно предприняло его в защиту интересов русского купечества

и русской торговли. Если бы это было так, то можно было-бы спросить, почему оно не предпринимает таких-же походов внутри России, против самого себя, как напр., против московского генерал-губернатора и вообще против всех губернаторов и градоначальников, притесняющих и грабящих, как известно, самым наглым манером и всеми возможными способами и русскую торговлю и русских купцов.

Какая же польза может быть для нашего государства в завоевании песчаной пустыни? Иные пожалуй готовы ответить, что правительство наше предприняло этот поход ради исполнения великого призвания России внести цивилизацию запада на восток. Но такое об'яснение годится пожалуй для академических или оффициальных речей, а также для доктринерных книг, брошюр и журналов, всегда наполненных возвышенным вздором и говорящих всегда противное тому, что делается и что есть; нас же оно удовлетворить не может. Вообразите себе петербургское правительство, руководимое в своих предприятиях и действиях сознанием цивилизаторского назначения России! Для человека, сколько нибудь знакомого с природою и с побуждениями наших правителей, одного такого представления достаточно, чтобы уморить его со смеху.

Не станем говорить также об открытии новых торговых путей в Индию. Торговая политика, это политика Англии, она никогда не быле русскою. Русское государство, по преимуществу, и можно сказать, исключительно военное государство, В нем все подчинено единому интересу могущества всенасилующей власти. Государь, государство, вот главное; все же остальное—народ, даже сословные интересы, процветание промышленности, торговли и так называемой цивилизации, лишь средства для достижения этой единой цели. Без известной степени цивилизации, без промышленности и торговли никакое государство, и особливо новейшее, существовать не может, потому что так называемое богатство национальное, далеко не народное, а богатство привилегированных сословий есть сила. В России оно все поглощается государством, которое, в свою очередь становится кормильцем огромного государственного класса военного, гражданского и духовного. Казенное повсеместное воровство, казнокрадство и народообирание есть самое верное выражение русской государственной цивилизации.

Поэтому нет ничего мудреного, что между другими и более главными причинами, побудившими русское прави-

тельство к предпринятию похода против Хивы, были также и так называемыя торговые причины; надо было открыть для умножающегося оффициального люда, к которому мы причисляем и наше купечество, новое поприще, дать ему новые области на разграбление. Но значительное умножение богатства и силы для государства с этой стороны ждать нельзя. Напротив, можно быть уверенным, что в финансовом отношении предприятие представит гораздо более убытков чем прибыли.

Зачем же пошли в Хиву? Для того ли, чтобы дать занятие войску? В продолжение многих десятков лет Кавказ служил военною школою, но теперь Кавказ умиротворен, поэтому надо было открыть новую школу; вот и задумали хивинскую компанию. Такое об'яснение также не выдерживает критики, даже если мы предположим, что русское правительство из рук вон неспособно и глупо. Опыт, приобретенный войсками нашими в хивинской пустыне, отнюдь не применим к войне против запада, а с другой стороны, он слишком дорог, так что приобретенные выгоды далеко не могут сравниться с величиной затрат и издержек.

Но может быть русское правительство задумало не на шутку завоевание Индии? Мы не грешим излишнею верою в мудрость наших петербургских правителей, но все-таки не можем допустить, чтобы оно задалось такою нелепою целью. Завоевать Индию! Для кого, зачем и какими средствами? Ведь для этого надобно было бы двинуть, по крайней мере, четверть если не целую половину русского населения на восток, и почему именно завоевать Индию, до которой не иначе можно добраться, как покорив сперва воинственное и многочисленное племя Афганистана. Завоевать же Афганистан, вооруженный и отчасти даже дисциплинированный англичанами, было бы, по крайней мере, в три или в четыре раза труднее, чем совладать с Хивою.

Уж если пошло на завоевание, почему было не начать с Китая? Китай очень богат и во всех отношениях доступнее для нас, чем Индия, так как между ним и Россиею нет никого и ничего. Ступай и возьми, если можешь.

Да пользуясь неурядицею и междуусобными войнами, ставшими хроническою болезнью Китая, можно было бы распространить очень далеко завоевание в этом крае, и кажется, что русское правительство затевает что-то в этом роде; оно силится явным образом отделить от него Монголию и Манджурию; пожалуй в один прекрасный день мы услы-

шим, что русские войска совершили вторжение на западной границе Китая. Дело чрезвычайно опасное, ужасно напоминающее нам пресловутые победы древних римлян над германскими народами, победы, кончившиеся, как известно, разграблением и покорением римской империи дикими германскими племенами.

В одном Китае считают одни четыреста, а другие около шестисот миллионов жителей, которым видимым образом становится тесно жить в границах империи и которые все большими массами переселяются теперь неотвратимым течением одни в Австралию, некоторые через Тихий океан в Калифорнию, другие массы могут двинуться, наконец, на север и на северо-запад. И тогда? Тогда, в одно мгновение ока, Сибирь весь край, простирающийся от Татарского пролива до Уральских гор и до Каспийского моря, перестанет быть русским.

Подумайте, что в этом огромном крае, превосходящем об'емом своим (12,220,000 квадратных километров) более, чем в двадцать раз об'ем Франции (528,600 кв. кл.), считается до сих пор не более 6 миллионов жителей, из которых только около 2,600,000 русских, все же остальные туземцы, татарского или финского происхождения, а численность войска самая ничтожная. Будет-ли какая нибудь возможность остановить вторжение китайских масс, которые не только наводнят всю Сибирь, включая новые владения наши в центральной Азии, но перевалят и через Урал к самой Волге.

Такова опасность, грозящая нам чуть-ли не неизбежно со стороны востока. Напрасно презирают китайские массы. Они грозны уже одним своим огромным количеством, грозны, потому что чрезмерное умножение делает почти невозможным их дальнейшее существование в границах Китая; грозны также и потому, что о них не должно судить по китайским купцам, с которыми купцы европейские ведут дела в Шанхае, в Кантоне или в Маймачине. Внутри Китая живут массы, гораздо менее изуродованные китайскою цивилизациею, несравненно более энергические, к тому же непременно воинственные, воспитанные в военных привычках нескончаемою междоусобною войною, в которой гибнут десятки и сотни тысяч людей. Надо заметить еще, что в последнее время они стали знакомиться с употреблением новейшего оружия и также с европейскою дисциплиною—этим цветком и последним официальным словом государствен-

ной цивилизации Европы. Соедините только эту дисциплину и знакомство с новым оружием и с новою тактикою с первобытном варварством китайских масс с отсутствием в них всякого понятия о человеческом протесте, всякого инстинкта свободы, с привычкою самого рабского повиновения, а они соединяются именно теперь, под влиянием множества военных авантюристов, американских и европейских, наводнивших Китай после последнего франко-английского похода в эту страну в 1860 году; да примите в соображение чудовищную огромность населения, принужденного искать себе выхода, и вы поймете, как велика опасность, грозящая нам со стороны востока.

Вот с этою-то опасностью и играет наше русское правительство, невинное, как дитя. Подвигаемое нелепым стремлением расширения своих границ, и, не принимая в соображение того, что Россия так мало населена, так бедна и так беспомощна, что она до сих пор не в состоянии, да и никогда не сможет населить новоприобретенного Амурского края, в котором на пространстве 2,100,000 километров (почти в четыре раза более, чем Франция) считается вместе с войском и флотом всего 65,000 жителей. И при таком бессилии, при поголовной нищете всего русского народа взятого вместе, доведенного отеческим управлением во всех отношениях до положения столь отчаянного, что ему не остается другого выхода и спасения, как только в самом разрушительном бунте,—да, при таких условиях правительство русское надеется водворить свое могущество на всем азиатском востоке.

Для того, чтобы идти далее, с самыми малыми задатками успеха, оно должно было бы не только повернуть спину Европе и отказаться от всякого вмешательства в дела европейские—а этого князь Бисмарк только и желает теперь—оно должно бы было двинуть решительно всю свою военную силу в Сибирь и в центральную Азию и идти на завоевание Востока, как Тамерлан со всем своим народом. Но за Тамерланом народ его шел, за русским же правительством русский народ не пойдет.

Возвращаемся к Индии. Как оно не нелепо, русское правительство не может питать надежды на завоевание ее и на укрепление в ней своего могущества. Англия завоевала Индию прежде всего своими торговыми компаниями, у нас же таких компаний нет, а если они где и существуют так только карманные, для вида. Англия ведет свою громадную

эксплоатацию Индии или свою насильственную торговлю с нею морем, посредством огромных флотов купеческих и военных, у нас таких флотов нет, и вместо моря, нас отделяет от Индии нескончаемая пустыня — значит не может быть и речи о завоевании Индии.

Но если мы не можем завоевать, то мы можем разрушить или, по крайней мере, сильно поколебать в ней владычество Англии, возбуждая туземные бунты против нее и помогая этим бунтам, поддерживая их даже, когда это станет нужно, военным вмешательством.

Да, можем, хотя это и будет стоит нам, не богатым ни деньгами, ни людьми, огромных трат людей и денег. Но зачем же мы понесем эти траты? Неужели для того только, чтобы доставить себе невинное удовольствие напакостить англичанам без всякой пользы, а, напротив, с положительным ущербом для себя? Нет, потому, что англичане нам мешают. Где же они нам мешают? — В *Константинополе*. Пока Англия сохранит свою силу, она никогда и ни за что в мире не согласится, чтобы Константинополь в наших руках стал снова столицею уже не одной только всероссийской, не даже славянской, а восточной империи.

Так вот почему русское правительство предприняло войну в Хиве и почему оно вообще издавна стремится приблизиться к Индии. Она ищет пункта, где бы можно нанести вред Англии и не находя другого, грозит ей в Индии. Таким образом оно надеется помирить англичан с мыслью, что Константинополь должен сделаться русским городом, принудить их согласиться на это завоевание, более чем когда-нибудь необходимое для государственной России.

Преобладание ее на море Балтийском утрачено безвозвратно. Не одному всероссийскому государству, сплоченному штыком да кнутом, ненавистному для всех народных масс в нем заключенных и скованных, начиная с народа великорусского, деморализованному, дезорганизованному и разоренному родным самодурствующим произволом, родною глупостью и родным воровством, не его военной силе, существующей больше на бумаге, чем в действительности и только для безоружных, да и то пока только у нас решимости не хватает, не ей бороться против страшного и великолепно организованного могущества, вновь возникающей германской империи. Значит надо отказаться от Балтийского моря и ожидать того момента, когда вся прибалтийская область сделается немецкой провинцией. Помешать этому мо-

жет только народная революция. Ну, а такая революция для государства смерть, и не в ней будет наше правительство искать для себя спасения.

Ему не остается другого спасения, как только в союзе с Германиею, потому что принужденное отказаться в пользу немцев от Балтийского моря, оно должно теперь на Черном море искать новой почвы, новой основы для своего величия или просто даже для своего политического существования и смысла, но приобретать ее без позволения и помощи немцев оно не может.

Немцы обещали эту помощь. Да, как мы в этом уверены, они формальным договором заключенным между князем Бисмарком и князем Горчаковым, обязались оказать ее российскому государству, но никогда не окажут ее, в чем мы также уверены. Не окажут, потому что не могут отдать на произвол России своего дунайского прибрежья и своей дунайской торговли, а также и потому что не может быть в их интересах способствовать воздвижению нового русского могущества, великой пан-славянской империи на юге Европы. Это было бы просто нечто в роде самоубийства со стороны пан-германской империи.—Вот, направить и толкнуть русские войска в центральную Азию, в Хиву, под предлогом, что это самый прямой путь в Константинополь, это другое дело.

Нам кажется несомненным, что наш маститый государственный патриот и дипломат, князь Горчаков и высочайший патрон его государь Александр Николаевич разыграли во всем этом плачевном деле самую глупую роль и что знаменитый немецкий патриот и государственный мошенник, князь Бисмарк, надул их чуть ли даже не ловчее чем он надул Наполеона III.

Но дело сделано, его переменить невозможно. Новая германская империя встала величавая и грозная, смеясь над своими завистниками и врагами. Не русским дряблым силам свалить ее, это может сделать только одна революция, а до тех пор пока революция не восторжествовала в России или в Европе, будет торжествовать и всем повелевать государственная Германия, и русское государство, также как и все континентальные государства в Европе, будут существовать отныне только с ее позволения и милости.

Это разумеется чрезвычайно обидно для всякого русского государственно-патриотического сердца, но грозный факт остается фактом; немцы, более чем когда нибудь стали

нашими господами и не даром все немцы в России так горячо и шумно праздновали победы германских войск во Франции, не даром так торжественно принимали своего нового пангерманского императора все петербургские немцы.

В настоящее время, на целом континенте Европы осталось только одно истинно самостоятельное государство,— это Германия. Да, между всеми континентальными державами—мы говорим, конечно только о больших, так как само собою разумеется, что малые и средние обречены сначала на непременную зависимость, а в течение скорого времени и на гибель—между всеми первостепенными государствами, только одна германская империя представляет все условия полнейшей самостоятельности, все же другие поставлены в зависимость от нее. И это не потому только, что она одержала в течение последних лет блистательные победы над Даниею, над Австриею и над Франциею; что она овладела всем оружием последней и всеми военными запасами; что она заставила ее заплатить себе пять миллиардов; что она присоединением Эльзаса и Лотарингии заняла против нее в оборонительном, также как и в наступательном отношении великолепную военную позицию; а также и не потому только, что германская армия численностью, вооружением, дисциплиною, организациею, точною исполнительностью и военною наукою не только своих офицеров, но также и своих унтер-офицеров и солдат, не говоря уже о неоспоримом сравнительном совершенстве своих штабов, превосходит ныне решительно все существующие армии в Европе: не потому только, что масса германского народонаселения состоит из людей грамотных, трудолюбивых, производительных, сравнительно весьма образованных, чтобы не сказать ученых, к тому же смирных, послушных властям и законам, и что германская администрация и бюрократия чуть ли не осуществили идеала, к достижению которого тщетно стремятся бюрократия и администрация всех других государств.

Все эти преимущества разумеется способствовали и способствуют изумительным успехам нового пангерманского государства, но не в них должно искать главную причину его настоящей, всеподавляющей силы. Можно даже сказать, что они сами все не более, как проявления общей и более глубокой причины, лежащей в основании всей германской общественной жизни. Эта причина — *инстинкт общественности*, составляющий характеристическую черту немецкого народа.

Инстинкт этот разлагается на два элемента, повидимому противоположные, но всегда неразлучные; рабский инстинкт повиновения, во что бы то ни стало, смирного и мудрого подчинения себя торжествующей силе под предлогом послушания, так называемым, законным властям; а в то же самое время господский инстинкт систематического подчинения себе всего, что слабее, командования, завоевания и систематического притеснения. Оба эти инстинкта достигли значительной степени развития почти в каждом немецком человеке, исключая разумеется пролетариата, положение которого исключает возможность удовлетворения, по крайней мере, второго инстинкта, и всегда не разделяя, дополняя и об'ясняя друг друга, оба лежат в основании патриотического общества.

О классическом послушании немцев, всех чинов и разрядов, властям, гласит вся история Германии, а особливо новейшая, которая представляет непрерывный ряд подвигов покорности и терпения. В немецком сердце вырабатывалось веками истинное богопочитание государственной власти, богопочитание, которое создало постепенно бюрократическую теорию, и практику, и благодаря стараниям немецких ученых, легко потом в основание всей политической науки, проповедуемой поныне в университетах Германии.

О завоевательных и притеснительных стремлениях германского племени, начиная от средневековых германских крестоносцев-рыцарей и баронов до последнего филистера-бюргера новейших времен, также громко гласит история.

И никто не испытал на себе так горько этих стремлений, как славянское племя. Можно сказать, что все историческое назначение немцев, по крайней мере на севере и на востоке и, разумеется по немецким понятиям, состояло и чуть ли еще не состоит и теперь именно в истреблении, в порабощении и в насильственном германизировании славянских племен.

Эта длинная и печальная история, память о которой глубоко хранится в славянских сердцах и которая без сомнения отзовется в последней неизбежной борьбе славян против немцев, если социальная революция не помирит их прежде.

Для верной оценки завоевательных стремлений всего немецкого общества, достаточно бросить беглый взгляд на развитие германского патриотизма с 1815 года.

Германия с 1525 года, эпохи кровавого усмирения крестьянского бунта, до второй половины XVIII века, эпохи литературного возрождения ее, оставалась погруженною в сон непробудный, иногда прерываемый пушечным выстрелом и грозными сценами и испытаниями беспощадной войны, которой она была большею частью театром и жертвою. Тогда она с ужасом пробуждалась, но скоро вновь опять засыпала, убаюканная лютеранскою проповедью.

В этот период времени, т. е. в продолжении почти двух с половиною столетий, выработался до конца, именно под влиянием этой проповеди, ее послушный и до истинного героизма рабски-терпеливый характер. В это время образовалась и вошла в целую жизнь, в плоть и кровь каждого немца система безусловного повиновения и благословения власти. Вместе с этим развилась наука административная и педантически систематическая, бесчеловечная и безличная бюрократическая практика. Всякий немецкий чиновник сделался жрецом государства, готовый заколоть не ножом, а канцелярским пером, любимейшего сына на алтаре государственной службы. В то же самое время немецкое благородное дворянство, неспособное ни к чему другому, кроме лакейской интриги и военной службы, предлагало свою придворную и дипломатическую бессовестность и свою продажную шпагу лучше платящим европейским дворам; и немецкий бюргер, послушный до смерти, терпел, трудился, безропотно платил тяжелые подати, жил бедно и тесно и утешал себя мыслью о бессмертии души. Власть бесчисленных государей, разделявших между собою Германию была безгранична. Профессора били друг друга по щекам и потом друг на друга доносили начальству. Студенчество, разделявшее свое время между мертвою наукою и пивом, было вполне их достойно. А о чернорабочем народе никто даже не говорил и не подумал.

Таково было положение Германии еще во второй половине XVIII века, когда каким то чудом, вдруг, из этой бездонной пропасти пошлости и подлости возникла великолепная литература, созданная Лессингом и законченная Гете, Шиллером, Кантом, Фихте и Гегелем. Известно, что эта литература образовалась сначала под прямым влиянием великой французской литературы XVII и XVIII века, сначала классической, а потом философской; но она с первого же раза, в произведениях своего родоначальника Лессинга, приняла характер, содержание и формы совершенно само-

стоятельные, вытекшие, можно сказать, из самой глубины германской созерцательной жизни.

По нашему мнению, эта литература составляет самую большую и чуть ли не единственную заслугу новейшей Германии. Смелым и вместе широким захватом своим, она двинула значительно вперед человеческий ум и открыла новые горизонты для мысли. Главное ее достоинство состоит в том, что будучи с одной стороны вполне национальной, она была вместе с тем литературою в высшей степени гуманною, общечеловеческою, что впрочем, составляет характеристическую черту вообще всей, или почти всей, европейской литературы XVIII.

Но в то самое время, как напр., французская литература, в произведениях Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Дидро и других энциклопедистов стремилась перенесть все человеческие вопросы из области теории на практику, германская литература хранила целомудренно и строго свой отвлеченно теоретический и главным образом, пантеистический характер. Это была литература гуманизма, отвлеченно поэтического и метафизического, с высоты которого посвященные смотрели с презрением на жизнь действительную; с презрением, впрочем, вполне заслуженным, так как немецкая ежедневность была пошла и гадка.

Таким образом немецкая жизнь разделилась между двумя противоположными и друг друга отрицающими, хоть и дополняющими сферами. Один мир высокой и широкой, но совершенно абстрактной гуманности; другой мир исторически наследственной, верно-подданнической пошлости и подлости. В этом раздвоении застала Германию французская революция.

Известно, что эта революция была встречена весьма одобрительно и можно сказать с положительною симпатиею почти всею литературною Германиею. Гете немного поморщился и проворчал, что шум неслыханных происшествий помешал, прервал нить его ученых и артистических занятий и его поэтических созерцаний; но большая часть представителей или сторонников новейшей литературы, метафизики и науки приветствовали с радостью революцию, от которой ждали осуществления всех идеалов. Франкмассонство, игравшее еще очень серьезную роль в конце XVIII века и соединявшее невидимым, но довольно действительным братством передовых людей всех стран Европы, установило живую связь между французскими революционерами и бла-

гордыми мечтателями Германии. Когда республиканские войска после героического отпора данного Брюнсвигу, обращенному в постыдное бегство, переступили в первый раз через Рейн, они были встречены немцами, как избавители.

Это симпатическое отношение немцев к французам продолжалось недолго. Французские солдаты, как подобает французам, были разумеется очень любезны, и как республиканцы достойны всякой симпатии; но они были все таки солдаты, т. е. бесцеремонные представители и слуги насилия. Присутствие таких освободителей скоро стало тягостно для немцев и симпатия их охладилась значительно. К тому же сама революция приняла вслед за тем такой энергический характер, который уже никаким образом не мог совместиться с отвлеченными понятиями и с филистерски-созерцательными нравами немцев. Гейне рассказывает, что под конец в целой Германии, только один кенигсбергский философ Кант, сохранил свои симпатии к революции французской, несмотря на сентябрьскую резню, на казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты и несмотря на Робеспьеровский террор.

Притом республика заменилась сначала директорией, потом консульством, и наконец империей; республиканские войска стали слепым и долго победоносным орудием наполеоновского честолюбия, гигантского до безумия, и в конце 1806 г. после иенского сражения, Германия была порабощена окончательно.

С 1807 г. начинается ее новая жизнь. Кому неизвестна изумительная история быстрого возрождения прусского королевства, а посредством его и целой Германии. В 1806 г. вся государственная сила, созданная Фридрихом II его отцом и дедом, была разрушена. Армия, организованная и дисциплинированная великим полководцем, уничтожена. Вся Германия и вся Пруссия, исключая кенигсбергской окраины, была покорена французскими войсками и управлялась в действительности французскими префектами, а политическое существование прусского королевства пощажено только благодаря просьбам Александра I, императора всероссийского.

В этом критическом положении нашлась группа людей, горячих прусских, или даже более, германских патриотов, умных, смелых, решительных, которые, наученные уроками и примером французской революции, задумали спасение Пруссии и Германии посредством широких либе-

ральных реформ. В другое время, например, перед иенским сражением или пожалуй даже после 1815 года, когда вступила вновь во все свои права дворянско-бюрократическая реакция, они не посмели бы и подумать о таких реформах. Их задавила бы придворная и военная партия, и добродетельнейший и глупейший король Фридрих Вильгельм III, не знавший ничего кроме своего безграничного, богом постановленного права, засадил бы их в Шпандау, лишь только бы они осмелились пикнуть о них.

Но в 1807 г. положение было совсем иное. Военно-бюрократическая и аристократическая партия была уничтожена, осрамлена и унижена до такой степени, что потеряла голос, а король получил такой урок, от которого и дурак хоть на короткое время мог сделаться умным. Барон Штейн стал первым министром и смелою рукою он начал ломку старого порядка, и устройство новой организации в Пруссии.

Первым делом его было освобождение крестьян от прикрепления к земле, не только с правом, но и с действительною возможностью приобретать землю в личную собственность. Вторым делом было уничтожение дворянских привилегий и уравнение всех сословий перед законом в военной и гражданской службе. Третьим делом, устройство провинциальной и муниципальной администрации на основании выборного начала; главным же делом его было совершенное преобразование войска, вернее, обращение целого прусского народа в войско, разделенного на три категории: действующей армии, ландвера и штурмвера. В заключение всего барон Штейн открыл широкий вход и убежище в прусские университеты всего, что было тогда умного, горячего, живого в Германии, и принял в берлинский университет знаменитого Фихте, только что выгнанного из Иены герцогом веймарнским, другом и покровителем Гете, за то, что он проповедывал атеизм.

Фихте начал свои лекции пламенною речью, обращенною главным образом к германской молодежи, но опубликованной впоследствии под названием: „Речи к немецкой нации“, в которой он очень хорошо и ясно предсказал будущее политическое величие Германии, и высказал гордое патриотическое убеждение, что германской нации суждено быть высшим представителем, мало того управителем и как бы венцом человечества; заблуждение в которое впадали правда и прежде немцев другие народы, и с большим

правом, например, древние греки, римляне, а в новейшее время французы, но которое, укоренившись глубоко в сознании всякого немца, приняло в настоящее время в Германии размеры чрезмерно уродливые и грубые. У Фихте по крайней мере оно носило характер действительно героический, Фихте высказывал его под французским штыком, в то время как Берлин управлялся наполеоновским генералом, а на улицах раздавался французский барабан. К тому же миросозерцание, внесенное идеальным философом в патриотическую гордость, в самом деле дышало гуманностью, тою широкою, отчасти пантеистическою гуманностью, которою запечатлена великая германская литература XVIII века. Но современные немцы, сохранив всю громадность претензии своего философа-патриота, от гуманности его отказались. Они просто не понимают ее и готовы даже над нею смеяться, как над выродком абстрактного, отнюдь не практичного мышления. Для них доступнее патриотизм князя Бисмарка или г. Маркса.

Все знают, как немцы, воспользовавшись совершенным поражением Наполеона в России, его несчастным отступлением, или вернее бегством с кой-какими остатками армии, наконец сами восстали; они разумеется чрезвычайно славят себя за это восстание, и совершенно напрасно. Самостоятельного народного восстания собственно никогда не было; но когда разбитый Наполеон перестал быть опасным и страшным, немецкие корпуса, сначала прусский, а потом и австрийский, обратясь прежде против России, теперь обратились против Наполеона и присоединились к русскому победоносному войску, шедшему вслед за Наполеоном. Законный, но доселе несчастный прусский король Фридрих Вильгельм III, со слезами умиления и благодарности обнял в Берлине, своего избавителя императора всероссийского, и вслед за тем издал прокламацию, призывавшую своих верноподданных к законному восстанию против незаконного и дерзкого Наполеона. Послушные голосу своего короля и отца, немецкие, по преимуществу же прусские юноши поднялись и составили легионы, которые были включены в регулярную армию. Не очень ошибся прусский тайный советник и известный шпион, оффициальный доносчик, когда в брошюре возбудившей негодование всех патриотов, изданной в 1815 г., он, отрицая всякое самостоятельное действие народа в дело освобождения, сказал, „что прусские граждане взялись за оружие только, когда это

им было приказано королем, и что тут не было ничего героического, ни чрезвычайного, а только простое исполнение обязанности всякого верноподданного.“

Как бы то ни было, Германия была освобождена от французского ига и, по совершенном окончании войны, принялась за дело внутреннего преобразования, под верховным руководством Австрии и Пруссии. Первым делом было медиатизированье множества маленьких владений, которые таким образом из независимых государств, обратились в почетных и деньгами (насчет одного миллиарда, взятого у французов) богато вознагражденных подданных.

Вторым делом было установление взаимных отношений государей с подданными.

В эпоху борьбы, когда над всеми висела еще шпага Наполеона, и государи большие и маленькие нуждались в *верноподданнической* помощи своих народов, они надавали множество обещаний. Прусское правительство, а за ним и все другие, обещали конституцию. Теперь же когда беда миновала, правительства убедились в бесполезности конституции. Австрийское правительство, руководимое князем Меттернихом, прямо заявило решение возвратиться к старым патриархальным порядкам. Добрейший император Франц, пользовавшийся огромною популярностью между венскими бюргерами, прямо выразил это в аудиенции, данной им профессорам лайбахского лицея:

„Теперь мода на новые идеи, сказал он, я этого похвалить не могу и никогда не похвалю. Держитесь старых понятий; с ними наши предшественники были счастливы, почему же и нам не быть с ними также счастливыми? Мне не нужно ученых, а только честных и послушных граждан. Образование таковых, — вот ваша обязанность. Кто мне служит, тот должен учить тому, что я приказываю. Кто не может или не хочет этого делать, тот пусть себе идет, иначе я его удалю...“

Император Франц Иосиф сдержал слово. В Австрии до самого 1848 г. царствовал безграничный произвол. Самым строгим образом была проведена система управления, поставившая главною целью усыпление и оглупение подданных. Мысль спала и оставалась неподвижною в самых университетах. Вместо живой науки там проходили какие то рутинные зады. Не было литературы, кроме доморощенных романов скандального содержании и весьма плохих стихов; естественные науки были на пятьдесят лет назад от их современного положения в остальной Европе. Политической жизни никакой не было. Земледелие, промышлен-

ность и торговля были поражены китайскою неподвижностью Народ, чернорабочие массы находились в полнейшем порабощении. И если бы не Италия а отчасти и Венгрия, тревожившие своими крамольными волнениями счастливый сон австрийских верноподданных, можно было-бы принять всю эту империю за огромное царство мертвых.

Опираясь на это царство, Меттерних в продолжении тридцати тех лет силился привести всю Европу в такое же положение. Он сделался краеугольным камнем, душею, руководителем европейской реакции, и разумеется главною заботою его должно было быть уничтожение всяких либеральных поползновений в Германии.

Более всего его беспокоила Пруссия, государство не все, молодое, вступившее в ряд первостепенных держав только в конце последнего столетия. благодаря гению Фридриха II, благодаря Силезии, отнятой им у Австрии, а потом благодаря разделу Польши, благодаря смелому либерализму барона Штейна, Шарнгорста и других сподвижников прусского возрождения, и поэтому вставшего во главе общегерманского освобождения. Казалось, что все обстоятельства события недавно происшедшие, испытания, успех и победы и самый интерес Пруссии должны были побудить ее правительство идти смело по новому пути, оказавшемуся для нее столь счастливым и спасительным. Этого именно так страшно боялся и должен был бояться князь Меттерних.

Уже со времени Фридриха II, когда вся остальная Германия, дошедшая до самой крайней степени умственного и нравственного порабощения, была жертвою бесцеремонного, нахального и цинического управления, интриг и грабительства развратных дворов. в Пруссии был осуществлен идеал порядочной, честной и, по возможности, справедливой администрации. Там был только один деспот, правда неумолимый, ужасный—государственный разум или логика государственной пользы, которой решительно все приносилось в жертву и пред которою должно было преклоняться всякое право. Но за то там было гораздо менее личного, развратного произвола, чем во всех других немецких государствах. Прусский подданный был рабом государства, олицетворившегося в особе короля, но не игрушкою его двора, любовниц или временщиков, как в остальной Германии. Поэтому уже тогда вся Германия смотрела на Пруссию с особенным уважением.

Это уважение увеличилось чрезвычайно и обратилось в

положительную симпатию после 1807 г., когда прусское государство, доведенное почти до совершенного уничтожения стало искать своего спасения и спасения Германии в либеральных реформах; и когда после целого ряда, счастливых преобразований, прусский король позвал не только свой народ, но всю Германию к восстанию против французского завоевателя, причем он обещал по окончании войны дать своим подданным самую широкую либеральную конституцию. Даже был назначен срок, когда это обещание должно было исполниться, и именно 1 сентября 1815 г. Это торжественное королевское обещание было обнародовано 22 мая 1815 г. после возвращения Наполеона с о-ва Эльбы и перед ватерлооским сражением, и было только повторением коллективного обещания, данного всеми европейскими государями, собранными на конгрессе в Вене, когда известие о высадке Наполеона поразило их всех паническим страхом. Оно было внесено, как один из существеннейших пунктов в акты, только что созданного *германского союза*.

Некоторые из небольших владетелей средней и южной Германии довольно честно сдержали свое обещание. В северной же Германии, где преобладал решительно военно-бюрократической дворянский элемент, сохранилось старое аристократическое устройство, прямо и сильно покровительствуемое Австриею.

От 1815 до мая 1819 г. вся Германия надеялась, что в противоположность Австрии, Пруссия примет под свое могучее покровительство общее стремление к либеральным реформам. Все обстоятельства и очевидный интерес прусского правительства казалось должны были склонить ее в эту сторону. Не говоря уже о торжественном обещании короля Фридриха Вильгельма III, обнародованного в мае 1815 г., все испытания пережитые Пруссиею от 1807 г., ее изумительное восстановление, которым она была обязана главным образом либерализму своего правительства, должны были укрепить его в том направлении. Наконец было соображение еще более важное, которое должно было побудить прусское правительство заявить себя откровенным и решительным покровителем либеральных реформ. Это историческое соперничество юной прусской монархии с древнею австрийскою империею.

Кто станет во главе Германии—Австрия или Пруссия? Таков вопрос поставленный предыдущими событиями с силою логики их обоюдного положения. Германия, как раба,

привыкшая к послушанию, не умеющая и не желающая жить свободно, искала себе господина могущественного, верховного повелителя, которому бы она могла вполне отдаться и, который, соединив ее в одно нераздельное государственное тело, дал бы ей почетное положение между сильнейшими державами Европы. Таким господином мог быть или австрийский император, или прусский король. Оба вместе не могли занять этого места, не парализуя друг друга и не обрекая тем самым Германию на прежнюю беспомощность и на бессилие.

Австрия должна была естественным образом тянуть Германию назад. Она не могла действовать иначе. Отжившая и дошедшая уже до той степени старческого расслабления когда всякое движение становится смертельным, а неподвижность необходимым условием поддержки дряхлого существования, она, ради спасения самой себя, должна была защищать то же начало неподвижности не только в Германии, но и в целой Европе. Всякое проявление народной жизни, всякое стремление вперед в каком бы то ни было углу европейского континента было для нее оскорблением, угрозой. Умирая, она хотела, чтобы все вместе с нею умерло. В политической же жизни, также как и во всякой другой, идти назад или только оставаться на одном месте, значит умирать. Понятно поэтому, что Австрия употребила свои последние и в материальном отношении еще громадные силы, чтобы подавить безжалостно и неуклонно всякое движение в Европе вообще и в Германии в особенности.

Но именно потому, что такова была необходимая политика Австрии, политика Пруссии должна была быть совершенно противоположною. После наполеоновских войн, после венского конгресса, округлившего ее значительно в ущерб Саксонии, от которой она отобрала целую провинцию, особенно после роковой битвы при Ватерлоо, выигранной соединенными армиями, прусскою, под предводительством Блюхера и английскою, под предводительством Веллингтона после торжественного второго вступления русских войск в Париж, Пруссия заняла пятое место между первостепенными державами Европы. Но в отношении действительных сил государственного богатства, числа ее жителей и даже географического положения она еще далеко не могла сравняться с ними. Штетина, Данцига и Кенигсберга на Балтийском море было слишком недостаточно для образования не только сильного военного флота, но даже значительного

торгового. Уродливо растянутая и отделенная от вновь приобретенной Прирейнской провинции чужими владениями, Пруссия представляла в военном отношении чрезвычайно неудобные границы, делающие нападение на нее со стороны Южной Германии, Ганновера, Голландии, Бельгии и Франции очень легкими, а защиту весьма трудною. Наконец число ее жителей в 1815 г. еле-еле доходило до 15 миллионов.

Не смотря на такую материальную слабость, еще гораздо большую при Фридрихе II, административному и военному гению великого короля удалось создать политическое значение и военную силу Пруссии. Но создание его было обращено в прах Наполеоном. После Иенского сражение надо было все создать вновь, и мы видели, что единственно только рядом самых смелых и самых либеральных реформ просвещенные и умные государственные патриоты с'умели возвратить Пруссии не только прежнее значение и прежнюю силу, но и значительно их увеличить. И действительно они увеличили их до такой степени, что Пруссия могла занять не последнее место между великими державами, но не достаточно однако, чтобы она могла долго удержаться на нем, еслибы она не продолжала неуклонно стремиться к увеличению своего политического значения, нравственного влияния, а также к округлению и расширению своих границ.

Для достижения таких результатов перед Пруссиею открывались два различные пути. Один, по крайней мере с виду, более, народный; другой чисто государственный и военный. Следуя первому пути Пруссия смело должна была бы встать во главе конституционного движения Германии. Король Фридрих Вильгельм III, следуя великому примеру знаменитого Вельгельма Оранского (1688 г.), должен был бы написать на своем знамени: „За протестантскую веру и за свободу Германии“, и таким образом явиться открытым бойцом против австрийского католицизма и деспотизма. На втором же пути, нарушив свое торжественное королевское слово и отказавшись решительно от всяких дальнейших либеральных реформ в Пруссии, он должен был встать столь же открыто на сторону реакции в Германии и вместе с тем сосредоточить все внимание и все усилия на усовершенствование внутренней администрации и войска в виду будущих возможных завоеваний.

Был еще третий путь, открытый правда очень давно,

именно еще римскими императорами, Августами и их преемниками, но после их давно затерянный и вновь открытый лишь в последнее время Наполеоном III и вполне очищенный и улучшенный учеником его, князем Бисмарком. Это путь государственного, военного и политического деспотизма замаскированного и украшенного самыми широкими и вместе с тем самыми невинными народо-представительными формами.

Но в 1815 году этот путь был еще вполне неизвестен. Тогда никто и не подозревал истины, ставшей ныне известною даже самым глупым деспотам, что так называемые конституционные или народо-представительные формы не мешают государственному, военному, политическому и финансовому деспотизму, но как бы узаконяя его и давая ему ложный вид народного управления, могут значительно увеличить его внутреннюю крепость и силу.

Тогда этого не знали, да и не могли знать, потому что совершенный разрыв между эксплоатирующим классом и между эксплоатируемым пролетариатом далеко еще не был так ясен ни для буржуазии, ни для самого пролетариата, как в настоящее время. Тогда все правительства, да и сами буржуа думали, что за буржуазией стоит сам народ, и что ей стоит только пошевелится, дать знак, чтобы весь народ встал бы вместе с нею против правительства. Теперь совсем другое дело: буржуазия, во всех странах Европы пуще всего боится социальной революции, и знает, что против этой грозы ей нет другого убежища как государство, и потому она всегда хочет и требует возможно *сильного* государства, или, говоря просто, военной диктатуры; а для того чтобы легче обмануть народные массы, она желает, чтобы эта диктатура была облечена в народо-представительные формы, которые бы ей дозволили эксплоатировать народные массы *во имя самого народа.*

Но в 1815 году ни этого страха ни этой ухищренной политики еще не существовало ни в одном из государств Европы. Напротив, буржуазия была везде искренно и наивно либеральна. Она еще верила, что работая для себя, она работает для всех, и потому не боялась народа, не боялась возбуждать его против правительства, а вследствие чего и все правительства, опираясь сколько было возможно на дворянство, относились к буржуазии, как к революционерному классу, враждебно.

Нет сомнения, что в 1815 году, как и гораздо позже,

было бы достаточно малейшего либерального заявления со стороны Пруссии, достаточно было бы, чтобы прусский король дал тень буржуазной конституции своим подданным для того чтобы вся Германия признала его своею главою. Тогда еще не успело образоваться в немцах непрусской Германии, той сильной нелюбви к Пруссии, которая проявилась гораздо позже и особенно в 1848 году. Напротив, все немецкие страны смотрели на нее с упованием, ожидая именно от нее освободительного слова, и достаточно были бы половины тех *либеральных и народо-представительных учреждений*, которыми прусское правительство, в последнее время, без всякого впрочем ущерба для деспотической власти, так щедро наделило не только прусских, но даже и всех не прусских немцев, исключая австрийских, для того чтобы, по крайней мере, вся неавстрийская Германия признала прусскую гегемонию.

Этого именно чрезвычайно боялась Австрия, потому что этого было бы достаточно, чтобы поставить ее уже тогда в то несчастное и безвыходное положение, в котором она находится теперь. Утратив первое место в германском союзе, она сама перестала бы быть державою немецкою. Мы видели, что немцы составляют лишь четвертую часть всего населения австрийской империи. Пока немецкие области, а также и некоторые славянские области Австрии, как напр.: Богемия, Моравия, Силезия, Штирия, взятые вместе были одним из членов германского союза, то австрийские немцы, опираясь на всех остальных многочисленных жителей Германии, могли до некоторой степени смотреть на всю империю, как на немецкую. Но лишь только совершилось бы отделение империи от германского союза, как оно совершилось в настоящее время, то девятимиллионное, а тогда еще меньшее немецкое население ее, оказалось бы слишком слабым для того, чтобы сохранить в ней свое историческое преобладание; и австрийским немцам ничего более не оставалось бы, как отрешиться от подданства габсбургскому дому и соединиться с остальною Германиею. К этому именно, одни сознательно, другия бессознательно стремятся теперь, и это стремление обрекает австрийскую империю на весьма близкую смерть.

Лишь только бы утвердилась в Германии прусская гегемония, австрийское правительство принуждено было бы исторгнуть свои немецкие области из общего состава Германии, во-первых потому, что оставив их в германском

союзе, оно фактически подчинило бы их, а через них и себя верховному владычеству короля прусского; и во вторых потому, что в таком случае австрийская империя разделилась бы на две части, на немецкую, признающую прусскую гегемонию, и на всю остальную часть не признающую ее, что было бы также гибелью для империи.

Было, правда, другое средство, которое хотел испытать, 1850 году князь Шварценберг, но которое ему не удалось, да и не могло бы удасться, а именно: включить целиком, как нераздельное государство, всю империю с Венгриею, с Трансильванией и со всеми ее славянскими и итальянскими провинциями в состав германского союза. Эта попытка не могла удасться, потому что ей воспротивилась бы отчаянно Пруссия, а вместе с Пруссией и большая часть Германии, воспротивилась бы также, как они это и сделали в 1850 году, и все другие великие державы, особенно же Россия и Франция, и наконец, возмутились бы три четверти австрийского, германоненавистного населения, славяне, мадьяры, румыны, итальянцы, для которых одна мысль, что они могли бы стать немцами, кажется позором.

Пруссия и вся Германия были бы естественно противны попытке, осуществление которой уничтожило бы первую, и лишило бы ее специально немецкого характера; последняя же, Германия, перестала бы быть отечеством немцев и превратилась бы в какой то хаотический и насильственный сбор самых разнообразных народностей. Россия же и Франция, не согласились бы потому, что Австрия, подчинявшая себе всю Германию, стала бы вдруг самою могущественною державою на континенте Европы.

Оставалось поэтому Австрии одно, не душить Германию своим всецелым вступлением в нее, но вместе с тем и не позволять Пруссии стать во главе германского союза. Следуя такой политике, она могла рассчитывать, на деятельную помощь Франции и России. Политика же последней до самого последнего времени, т. е. до крымской войны, состояла именно в систематическом поддержании взаимного соперничества между Австрией и Пруссией так, чтобы ни одна из них не могла одержать верх над другой, и в то же самое время в возбуждении недоверия и страха в маленьких и средних государствах Германии и в покровительстве им против Австрии и Пруссии.

Но так как влияние Пруссии на остальную Германию

было главным образом нравственного свойства, так как оно было основано больше всего на ожидании, что вот скоро прусское правительство, давшее еще недавно так много доказательств своего патриотического и просвещенно-либерального направления, и теперь, верное своему обещанию, даст конституцию своим подданным и тем самым станет во главе передового движения в целой Германии, то главная забота князя Меттерниха должна была устремиться на то, чтобы прусский король не давал своим подданным конституции и чтобы он вместе с императором австрийским стал во главе реакционного движения в Германии. В этом стремлении он так же нашел самую горячую поддержку и во Франции, управляемой Бурбонами и в императоре Александре управляемом Аракчеевым.

Князь Меттерних нашел столь же горячую поддержку и в самой Пруссии, за весьма малым исключением во всем прусском дворянстве, и в высшей бюрократии, военной, и гражданской, да наконец и в самом короле.

Король Фридрих Вильгельм III был очень добрый человек, но король, т. е. как следует быть королю, деспот по природе, по своему воспитанию и по привычке. К тому же он был набожный и верующий сын евангелической церкви, а первый догмат этой церкви гласит, что „всякая власть от Бога“. Он не на шутку верил в свое богопомазание, в свое право или, даже вернее, в свой долг приказывать, и в обязанность каждого подданного слушаться и исполнять без всяких рассуждений. Такое направление ума не могло согласиться с либерализмом. Правда, что в эпоху беды государственной он надавал множество самых либеральных обещаний своим верным подданным. Но он это сделал повинуясь государственной необходимости, перед которой, как перед высшим законом, обязан преклоняться даже сам государь. Теперь же беда миновала, значит и обещание, исполнение которого было бы вредно для самого народа, держать было не надо.

Очень хорошо об'яснил это, в современной проповеди архиепископ Эйлерт: „король, говорит он, поступал как умный отец. В день своего рождения или выздоровления, тронутый любовью своих детей, он им делал разные обещания; потом с должным спокойствием видоизменял их и восстановлял свою натуральную и спасительную власть“. Вокруг него весь двор, весь генералитет и вся высшая бюрократия были проникнуты этим же духом. В эпоху беды,

вызванной ими на Пруссию они притихли, молча сносили неотразимые реформы барона Штейна и его главных сподвижников. Теперь же по прошествии беды они заинтриговали и зашумели пуще прежнего.

Они были искренними реакционерами, не менее короля пожалуй, даже больше, чем сам король. Обще-германского патриотизма они не только что не понимали, но ненавидели от всей души. Германское знамя им было противно и казалось им знаменем бунта. Они знали только свою милую Пруссию, которую, впрочем, готовы были загубить в другой раз, лишь бы только не сделать ни малейшей уступки ненавистным либералам. Мысль о признании за буржуазиею каких бы то ни было политических прав, и особливо права критики и контроля, мысль о возможном сравнении их с нею, просто приводила их в ужас и возбуждала в них неописанное негодование. Они желали, хотели расширения и округления прусских границ, но только путем завоевания. С самого начала их цель была поставлена ясно: в противоположность либеральной партии, которая стремилась к германизированию Пруссии, они всегда хотели пруссифицировать Германию.

К тому же, начиная с их предводителя, королевского друга, князя Витгенштейна, сделавшегося вскоре первым министром, они почти все были на откупу у князя Меттерниха. Против них стояла небольшая группа людей, друзей и сподвижников барона Штейна, получившего уже отставку. Эта кучка государственных патриотов продолжала делать неимоверные усилия, чтобы удержать короля на пути либеральных реформ, и не находя себе опоры нигде, кроме общественного мнения равно презираемого королем, двором, бюрократией и армиеи, она была скоро низвергнута. Золото Меттерниха, самостоятельное реакционное направление высших германских кругов оказались гораздо сильнее.

По этому Пруссии для исполнения чисто либеральных планов, оставался только один путь: усовершенствование и постепенное увеличение административных и финансовых средств, а также и военной силы в виду будущих завоеваний в самой Германии, т. е. постепенного завоевания целой Германии. Этот путь был, впрочем, вполне сообразен преданиям и всему существу прусской монархии, военной, бюрократической, полицейской, одним словом государственной, т. е. законно-насильственной во всех своих внеш-

них и внутренних проявлениях. С этого времени стал образовываться в германских оффициальных кругах *идеал разумного и просвещенного деспотизма*, который и управлял Пруссиею до самого 1848 года. Он был столько же противен либеральным стремлениям пангерманского патриотизма, сколько и деспотический обскурантизм князя Меттерниха.

Против реакции, нашедшей себе также могущественное выражение во внутренней и во внешней политике Австрии и Пруссии, поднялась весьма естественно более или менее в целой Германии, но по преимуществу в южной, борьба со стороны партии либерально-патриотической. Это был род дуэли, длившейся в разных видах, но с результатами почти всегда одинаковыми и всегда чрезвычайно плачевными для немецких либералов, ровно пятьдесят пять лет, от 1815 до 1870 года. Ее можно разделить на несколько периодов:

1. Период либерализма и галлофобии тевтоноромантиков, от 1815 до 1830 года.

2. Период явного подражания французскому либерализму, от 1830 до 1840 года.

3. Период экономического либерализма и радикализма, от 1840 до 1848 года.

4. Период, впрочем весьма короткий, решительного кризиса, кончившегося смертью германского либерализма, от 1848 до 1850 года и, наконец,—

5. Период, начавшийся упорною и, можно сказать, последнею борьбою умирающего либерализма против государственности в прусском парламенте и окончившийся окончательным торжеством прусской монархии в целой Германии, от 1850 до 1870 года.

Немецкий либерализм *первого периода*, от 1815 до 1830 г. не был одиноким явлением. Он был только национальною, правда, весьма своеобразною отраслью обще-европейского либерализма, начавшего, почти во всех пунктах Европы, от Мадрида до Петербурга, и от Германии до Греции, борьбу, весьма энергичную, против обще-европейской монархической и аристократически клерикальной реакции, которая восторжествовала с возвращением Бурбонов на французский, испанский, неаполитанский, пармский, и луккский престолы, папы, а вместе с ним и иезуитов в Рим, пьемонтского короля в Турин, и с водворением австрийцев в Италии.

Главным и оффициальным представителем этой истинно интернациональной реакции был *святой союз* (la sainte alliance), заключенный прежде всего между Россиею, Пруссиею и Австриею, но к которому потом приступили решительно все европейские державы, большие и маленькие, за исключением Англии, Рима и Турции. Начало его было романтическое. Первая мысль о нем созрела в мистическом воображении известной баронессы Криднер, пользовавшейся милостями еще довольно молодого и не совсем отжившего императора-женолюбца Александра I. Она уверила его, что он белый ангел, ниспосланный небом для спасения несчастной Европы из когтей черного ангела, Наполеона, и для водворения божественного порядка на земле. Александр Павлович охотно уверовал в такое призвание, вследствие чего предложил Пруссии и Австрии заключение *святого союза*. Три богопомазанные монарха, признав, как и следовало, святую троицу в свидетели, поклялись друг другу в безусловном и неразрывном братстве и провозгласили целью *союза* торжество божьей воли, нравственности, справедливости и мира на земле. Они обещали всегда действовать за одно, помогая друг другу советом и делом во всякой борьбе, которая будет возбуждена против них духом тьмы, т. е. стремлением народов к свободе. В действительности это обещание означало, что они будут вести войну солидарную и беспощадную против всех проявлений либерализма в Европе, поддерживая до конца и во что бы то ни стало феодальные учреждения, пораженные и уничтоженные революциею, но восстановленные реставрациею.

Если фразером и мелодраматическим представителем *святого союза* был Александр, то настоящим руководителем его явился князь Меттерних. Тогда, как во время великой революции и как в настоящее время, Германия была краеугольным камнем европейской реакции.

Благодаря *святому союзу* реакция стала интернациональною, вследствие чего и самые бунты против нее приняли интернациональный характер. Период между 1815 и 1830 г. был в западной Европе последним героическим периодом буржуазии.

Насильственное восстановление абсолютно-монархической власти и феодально-клерикальных учреждений, лишив этот почтенный класс всех выгод, завоеванных им во время революции, естественным образом должно было обратить его снова в класс более или менее революционный. Во Фран-

ции, Италии, Испании, Бельгии, Германии образовались буржуазные тайные общества, имевшие целью низвергнуть только что восторжествовавший порядок. В Англии, сообразно обычаям этой страны, единственной, где конституционализм пустил глубокие и живые корни, эта повсеместная борьба буржуазного либерализма против воскресшего феодализма, приняла характер легальной агитации и парламентских переворотов. Во Франции, Бельгии, Италии, Испании она должна была принять направление решительно революционное, которое отозвалось даже в России и Польше. Во всех этих странах, всякое тайное общество открытое и уничтоженное правительством, тотчас заменялось другим, и все имели одну цель—восстание с оружием в руках, организацию бунта. Вся история Франции, от 1815 до 1830 г., была рядом попыток низвергнуть трон бурбонов, и после многих неудач французы достигли, наконец, своей цели в 1830 г. Всем известна история революций испанской, неаполитанской, пьемонской, бельгийской и польской в 1830—31 гг. и декабрьского бунта в России. Во всех этих странах, в одних с успехом, в других без успеха, восстания были чрезвычайно серьезны; много было пролито крови, много было потрачено драгоценных жертв, словом, борьба была серьезная, нередко героическая. Посмотрим теперь, что делалось в это же самое время в Германии.

Во весь первый период, с 1815 до 1830 г., встречаются только два сколько нибудь замечательные заявления либерального духа в Германии. Первым было знаменитое *Вартбургское сходбище* в 1817 г. Около вартбургского замка, служившего некогда тайным убежищем для Лютера, собралось около 500 студентов со всех сторон Германии с национальным германским трехцветным знаменем и с такими же лентами через плечо.

Духовные дети патриотического профессора и певца Арндта сочинителя известного гимна? „Wo ist das deutsche Vaterland“, и столь же патриотического отца всех немецких гимназистов Яна, который в четырех словах: „бодрый, набожный, веселый, свободный“ выразил идеал немецкого белокурого и длинноволосого юношества, студенты северной и южной Германии нашли нужным собраться, чтобы заявить громко перед целою Европою и главным образом перед всеми правительствами Германии требования немецкого народа. В чем же состояли их требования и заявления?

Тогда во всей Европе была мода на монархическую

конституцию. Далее не шло воображение буржуазной молодежи ни во Франции, ни в Испании, ни даже в самой Италии, ни в Польше. Только в одной России отдел декабристов, известный под именем *южного общества*, под предводительством Пестеля и Муравьева-Апостола требовал разрушения русской империи и основания славянской федеральной республики с отдачей всей земли народу.

Немцы ни о чем подобном не мечтали. Они ничего разрушать не хотели. К подобному делу, непременному и первому условию всякой серьезной революции, они имели также мало охоты тогда, как и теперь. Они и не думали подымать крамольной, святотатственной руки ни против одного из своих многочисленных отцов-государей. Они только желали обще-германского парламента, поставленного над частными парламентами и все-германского императора, поставленного, как представитель национального единства, над частными государями. Требование, как видим, чрезвычайно умеренное, да к тому же и в высшей степени нелепое. Они хотели монархической федерации и вместе с тем мечтали о могуществе едино-германского государства, что представляет очевидную нелепость. Однако стоит только подвергнуть немецкую программу ближайшему рассмотрению, чтобы убедиться, что кажущаяся нелепость ее происходит от недоразумения. Недоразумение же состоит в ошибочном предположении, будто немцы, вместе с национальным могуществом и единством, требовали и свободы.

Немцы никогда не нуждались в свободе. Жизнь для них просто не мыслима без правительства, т. е. без верховной воли, верховной мысли и железной руки ими помыкающей. Чем сильнее эта рука, тем более гордятся они и тем самая жизнь становится для них веселее. Их огорчало не отсутствие свободы, из которой они не сумели бы сделать никакого употребления, а отсутствие единого, нераздельно-национального могущества, при действительном существовании множества маленьких тираний. Их затаенная страсть, их единая цель создать огромное пангерманское, насильственно-всепоглащающее государство, перед которым бы трепетали все другие народы.

Поэтому весьма естественно, что они никогда не хотели народной революции. В этом отношении немцы оказались чрезвычайно логичны. И в самом деле, государственное могущество не может быть результатом народной революции; оно пожалуй может быть результатом победы, одержанной

каким нибудь классом над народным бунтом, как это было во Франции. Но и в самой Франции, завершение сильного государства требовало сильной, деспотической руки Наполеона. Германские либералы ненавидели деспотизм Наполеона, но они готовы были обожать государственную силу, прусскую или австрийскую, лишь бы она согласилась обратиться в пангерманскую силу.

Известная песня Арндта: „Wo ist das deutsche Vaterland?“ оставшаяся и до сих пор национальным гимном Германии, вполне выражает это страстное стремление к созданию могучего государства. Он спрашивает: „где отечество немца?—Пруссия?—Австрия?—Северная или южная Германия?—Западная или восточная?“ И затем отвечает: „нет, нет, отечество его должно быть гораздо шире“. Оно распространяется всюду, „где звучит немецкий язык и Богу в небе песни поет“.

А так как немцы, один из плодотворнейших народов в мире, высылают свои колонии всюду, наполняют собою все столицы Европы, Америку, даже Сибирь, то выходит, что скоро весь земной шар должен будет покориться власти пангерманского императора.

Таково было настоящее значение вартбургского студенческого сходбища. Они искали и требовали себе пангерманского господина, который, держа их в ежовых рукавицах, сильный их страстным и вольным повиновением, заставлял бы трепетать всю Европу.

Теперь посмотрим, каким образом они заявили свое неудовольствие. На вартбургском празднике сначала пропели известную песнь Лютера: „сильная крепость наш Бог“, потом „Wo ist das deutsche Vaterland“ прокричали vivat некоторым немецким патриотам и проклятие реакционерам; наконец, предали огню несколько реакционерных брошюр. Вот и все.

Значительнее были два другие факта, случившиеся в 1819 г., убийство русского шпиона Коцебу студентом Зандом и попытка убийства маленького государственного сановника маленького нассауского герцогства, фон Ибеля, совершенная молодым аптекарем, Карлом Ленингом. Оба поступка были чрезвычайно нелепы, так как не могли принести решительно никакой пользы. Но по крайней мере в них проявилась искренность страсти, героизм самопожертвования и то единство мысли, слова и дела, без которых революционаризм неминуемо впадает в реторику и становится отвратительною ложью.

Кроме этих двух фактов: политического убийства, совершенного Зандом и попытки Ленинга, все остальные заявления германского либерализма не выходили из области самой наивной и притом чрезвычайно смешной реторики. Это было время дикого тевтонизма. Дети филистеров и сами будущие филистеры, немецкие студенты, вообразили себя германцами древних времен, как их описывают Тацит и Юлий Цезарь, воинственными потомками Арминия, девственными обитателями дремучих лесов. Вследствие сего возымели глубокое презрение не к своему мелко мещанскому миру, как следовало по логике, а к Франции, к французам и вообще ко всему, что носило на себе отпечаток французской цивилизации. Французоедство сделалось повальною болезнью в Германии. Университетское юношество стало рядиться в древне германское платье, точь в точь как наши славянофилы сороковых и пятидесятых годов и тушило свой юношеский жар в непомерном количестве пива, причем непрерывные дуэли, кончавшиеся обыкновенно царапинами на лице, проявляли его воинственную доблесть. А патриотизм и мнимый либерализм находили полнейшее выражение и удовлетворение в орании воинственно-патриотических песен, между коими национальный гимн: „Где отечество немца?“ — пророческая песнь ныне совершившейся или совершающейся пангерманской империи, занимал разумеется первое место.

Сравнив эти заявления с одновременными заявлениями либерализма в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Польше, России, Греции, всякий согласится, что не было ничего невиннее и смешнее немецкого либерализма, который в самых ярых проявлениях своих, был проникнут тем хамским чувством послушания верноподанничества, или говоря учтивее, тем набожным почитанием властей и начальства, зрелище которого вырвало у Берне болезненное, всем известное и уже приведенное нами восклицание: „Другие народы бывают часто рабами, но мы, немцы всегда лакеи“ *).

И в самом деле немецкий либерализм, за исключением весьма немногих лиц и случаев, был только особенным проявлением немецкого лакейского честолюбия. Он был только неодобренным цензурой выражением общего желания

*) Лакейство есть добровольное рабство. Странная вещь! Кажется, не может быть рабства хуже русских; но никогда между русскими студентами не существовало такого лакейского отношения к профессорам и начальству, какое существует и поныне во всем немецком студенчестве.

чувствовать над собою сильную императорскую руку. Но это верноподданническое требование казалось правительствам бунтом и преследовалось как бунт.

Это об'ясняется соперничеством Австрии и Пруссии. Каждая из них охотно села бы на упраздненный трон Барбаруссы, но ни одна не могла согласиться, чтобы этот трон был занят ее соперницей, вследствие чего, поддерживаемые в одно и тоже время Россией и Францией, действовали за одно с ними, хотя и по соображениям совершенно различным, и Австрия и Пруссия стали преследовать, как проявление самого крайнего либерализма, общее стремление всех немцев к созданию единой и могучей пангерманской империи.

Убийство Коцебу было сигналом для самой горячей реакции. Начались с'езды и конференции немецких государей, немецких министров, а также и интернациональные конгрессы, на которых участвовали император Александр I и французский посланник. Рядом мер, предписанных германским союзом, скрутили бедных немецких либералов-холопов. Запретили им предаваться гимнастическим упражнениям и петь патриотические песни — оставили им только пиво. Установили повсюду цензуру и что же? Германия вдруг успокоилась, бурши повиновались даже без тени протеста, и в продолжении одиннадцати лет, от 1819 до 1830 года, на всей немецкой земле не было уже ни малейшего проявления какой бы то ни было политической жизни.

Этот факт так поразителен, что немецкий профессор Мюллер, написавший довольно подробную и правдивую историю пятидесятилетия 1816—1865 годов, рассказывал все обстоятельства этого внезапного и действительно чудесного умиротворения, восклицает: „нужно ли еще других доказательств, что в Германии нет почвы для революции“.

Второй период германского либерализма начался 1830 годом и кончился около 1840 г. Это период почти слепого подражания французам. Немцы перестают пожирать галлов, но зато обращают всю ненависть на Россию.

Немецкий либерализм проснулся после одиннадцатилетнего сна не собственным движением, а благодаря трем июльским дням в Париже, которые нанесли первый удар *святому союзу* изгнанием своего законного короля. Вслед затем вспыхнула революция в Бельгии и в Польше. Встрепенулась также Италия, но, преданная Людовиком-Филиппом австрийцам, подверглась еще пущему игу. В Испании заго-

релась междуусобная война между кристиносами и карлистами. При таких обстоятельствах нельзя бы не проснуться даже Германии.

Это пробуждение было тем легче, что июльская революция до смерти перепугала все немецкие правительства, не исключая австрийского и прусского. До самого водворения князя Бисмарка с своим королем-императором на германском престоле, все немецкие правительства, не смотря на всю внешнюю обстановку военной, политической и буржуазной силы, в нравственном отношении были чрезвычайно слабы и лишены всякой веры в себя.

Этот несомненный факт кажется чрезвычайно страным, в виду наследственной нежности и верноподданничества германского племени. Чего бы кажется правительствам беспокоиться и бояться? Правительства чувствовали, знали, что немцы. хотя повинуются им, как следует добрым подданным, однако терпеть их не могут. Что же сделали они, чтобы заглушить ненависть племени до такой степени расположенного к обожанью своих властей? Какие именно были причины этой ненависти?

Их было две: первая состояла в преобладании дворянского элемента в бюрократии и в войне. Июльская революция уничтожила остатки феодального и клерикального преобладания во Франции; в Англии тоже вслед за Июльской революцией восторжествовала либерально-буржуазная реформа. Вообще с 1830 года начинается полное торжество буржуазии в Европе, но только не в Германии. Там до самых последних годов, т. е. до водворения аристократа Бисмарка, продолжала царствовать феодальная партия. Все высшие и большая часть низших правительственных мест, как в бюрократии, так и в войске, были в ее руках. Всем известно, как презрительно, надменно немецкие аристократы, князья, графы, бароны и даже простые фоны обращаются с бюргером. Известно знаменитое изречение князя Виндишгреца, австрийского генерала, бомбардировавшего в 1848 году Прагу, а в 1849 Вену:

„Человек начинается только с барона“.

Это преобладание дворянства было тем оскорбительнее для немецких бюргеров, что дворянство это во всех отношениях, и с точки зрения богатства, и по своему умственному развитию, стоит несравненно ниже буржуазного класса. И тем не менее оно командовало всеми и везде. Бюргерам предоставлено было только право платить и повиноваться.

Это было чрезвычайно неприятно для бюргеров. И не смотря на всю готовность обожать своих законных государей, они не хотели терпеть правительств, находившихся почти исключительно в руках дворянства.

Однако замечательно, что они несколько раз пытались, но никогда не умели свергнуть дворянское иго, которое пережило даже бурные 1848 и 1849 годы, и только теперь начинает подвергаться систематическому уничтожению со стороны поммеранского дворянина, князя Бисмарка.

Другая и самая главная причина не любви немцев к правительствам уже об'яснена нами. Правительства были противны соединению Германии в сильное государство. Значит все буржуазные и политические инстинкты немецких патриотов были оскорблены ими. Правительства знали это и потому не доверяли своим подданным и не на шутку боялись их, не смотря на постоянные усилия подданных доказать свою безграничную покорность, полную невинность.

Вследствие этих недоразумений правительства чрезвычайно испугались последствий июльской революции; так испугались, что достаточно было самого невинного и безкровного уличного шума, путча (Putsch), как выражаются немцы, чтобы заставить королей саксонского и ганноверского и герцогов гессен-дармштадтского и брауншвейгского дать своим подданным конституцию. Далее, Пруссия и Австрия, даже сам князь Меттерних, бывший до тех пор душою реакции в целой Германии, советывали теперь германскому союзу не противиться *законным* требованиям немецких верноподданных. В парламентах южной Германии предводители так называемых либеральных партий заговорили очень громко о возобновлении требований общегерманского императора.

Все зависело от исхода польской революции. Если бы она восторжествовала, прусская монархия, оторванная от своей северовосточной опоры, и принужденная поплатиться если не всеми, то по крайней мере значительной частью своих польских областей, принуждена была бы искать новой точки опоры в самой Германии, и так как она тогда еще не могла приобрести ее путем завоевания, то должна была бы снискивать снисхождение и любовь остальной Германии путем либеральных реформ, и смело призвать всех немцев под императорское знамя... Словом уже тогда осуществилось бы, хотя и другими путями, то, что сделалось

теперь, и осуществилось бы сначала, может быть, в более либеральных формах. Вместо того, чтобы Пруссии поглотить Германию, как вышло теперь, тогда могло бы показаться, будто Германия поглощает Пруссию. Но это только казалось бы, потому, что на самом деле Германия все таки была бы порабощена силою прусской государственной организации.

Но поляки, покинутые и преданные всею Европою, не смотря на геройское сопротивление, были наконец, побеждены. Варшава пала и с нею пали все надежды германского патриотизма. Король Фридрих Вильгельм III, оказавший столь значительные услуги своему затю, императору Николаю, ободренный его победою, сбросил маску и пуще прежнего поднял гонение на пангерманских патриотов. Тогда, собрав все свои силы, они сделали последнее торжественное заявление, если не сильное, то, по крайней мере чрезвычайно шумное, сохранившееся в новейшей истории Германии под именем *Гамбахского празднества* в мае 1832 г.

В Гамбахе, в баварском Пфальце, на этот раз собралось около тридцати тысяч человек, мужчин и женщин. Мужчины с трехцветными лентами через плечо, дамы с трехцветными шарфами, и все разумеется под трехцветным германским знаменем. На этом митинге говорилось уже не о федерации германских стран и племен, а о пангерманской централизации. Некоторые ораторы, как напр. доктор Вирт, произнес даже имя германской республики и даже европейской федеральной республики европейских соединенных штатов.

Но все это были только слова, слова, гнева, злобы, отчаяния, возбужденных в немецких сердцах явным нежеланием или немощью немецких государей создать пангерманскую империю, слова чрезвычайно красноречивые, но за которыми не было ни воли, ни организации, а потому не было и силы.

Однако Гамбахский митинг не прошел совсем бесследно Мужички баварского Пфальца не удовольствовались словами. Вооружившись косами и вилами они пошли разрушать дворянские замки, таможни и присутственные места, предавая огню все бумаги, отказываясь платить подати и требуя для себя земли, а на земле полной свободы. Этот мужицкий бунт, чрезвычайно похожий по своим начинаниям на всеобщее восстание германских крестьян в 1525 г. страшно перепугал не только консерваторов, но даже либера-

лов и самих немецких республиканцев, буржуазный либерализм которых никак не может совмещаться с настоящим народным бунтом. Но к общему удовольствию эта возобновленная попытка крестьянского восстания была подавлена баварскими войсками.

Другим последствием *Гамбахского празднества* было нелепое, хотя и чрезвычайно смелое и с этой точки зрения достойное уважения, нападение семидесяти вооруженных студентов на главный караул, охранявший здание Германского союза во Франфуркте. Нелепо было это предприятие потому, что германский союз надо было бить не во Франкфурте, а в Берлине или Вене, и потому, что семидесяти студентов было далеко недостаточно, чтобы сломить силу реакции в Германии. Они, правда, надеялись, что за ними и с ними восстанет все франкфуртское население, не подозревая, что правительство было предупреждено за несколько дней об этой безумной попытке. Правительство же не нашло нужным предупредить ее, а напротив дало ей совершиться, чтобы иметь потом хороший предлог для окончательного уничтожения *революционеров и революционных стремлений* в Германии.

И в самом деле за *франкфуртским атентатом* поднялась самая страшная реакция во всех странах Германии. Во Франкфурте была учреждена центральная комиссия, под ведением которой действовали специальные комиссии всех больших и маленьких государств. В центральной комиссии разумеется заседали австрийские и прусские государственные инквизиторы. Это был настоящий праздник для немецких чиновников и для бумажных фабрик Германии потому что было исписано несметное количество бумаги. Во всей Германии было арестовано более 1800 человек, в том числе много людей почтенных, как профессоров, докторов, адвокатов—словом весь цвет либеральной Германии. Многие бежали но, многие посидели в крепостях до 1840, иные же до 1848 года.

Мы видели значительную часть этих отчаянных либералов в марте 1848 г. в *фор-парламенте*, а потом в *национальном собрании*. Все они без исключения оказались отчаянными реакционерами.

Гамбахским праздником, восстанием мужиков в Пфальце, франкфуртским атентатом и воспоследовавшим за ним громадным процессом кончилось всякое политическое движение Германии, настало гробовое спокойствие, которое про-

должалось без малейшего перерыва вплоть до 1848 г. За то движение перенеслось в литературу.

Мы уже сказали, что в противоположность первому периоду (1815—1830), периоду исступленного французоедства, этот второй период немецкого либерализма (1830—1840), а также и третий (до 1848) можно назвать чисто французским, по крайней мере в отношении беллетристической и политической литературы. Во главе этого нового направления стояли два еврея: один гениальный поэт, Гейне; другой замечательный памфлетист Германии, Берне. Оба почти в первые дни июльской революции переселились в Париж, откуда один стихами, другой „письмами из Парижа" стали проповедывать немцам французские теории, французские учреждения и парижскую жизнь.

Можно сказать, они совершили переворот в германской литературе. Книжные лавки и библиотеки для чтения переполнились переводами и весьма плохими подражаниями французских драм, мелодрам, комедий, повестей, романов. Молодой буржуазный мир стал думать, чувствовать, говорить, причесываться, одеваться по французски. Впрочем, это не сделало его отнюдь любезнее, а только смешнее.

Но в то же время укоренялось в Берлине направление более серьезное, основательное, а главное, несравненно более свойственное германскому духу. Как часто бывало в истории, смерть Гегеля, последовавшая вскоре после июльской революции, утвердила в Берлине, в Пруссии, а потом и в целой Германии преобладание его метафизической мысли, царство гегелианизма.

Отказавшись по крайней мере на первое время и по причинам вышеизложенным, от соединения Германии в одно нераздельное государство путем либеральных реформ, Пруссия не, могла и не хотела однако совсем отказаться от нравственного и материального преобладания над всеми другими немецкими государствами и странами. Напротив, она постоянно стремилась группировать вокруг себя умственные и экономические интересы целой Германии. Для этого она употребила два средства: развитие берлинского университета и *таможенный союз.*

В последние годы царствования Фридриха Вильгельма III. министром народного просвещения был государственный человек старой либеральной школы барона Штейна, Вильгельма фон Гумбольда и др., тайный советник фон Альтенштейн. Сколько было возможно в то реакционное

время в противность всем остальным прусским министрам своим товарищам, в противность Меттерниху, который систематическим тушением всякого умственного света надеялся упрочить царство реакции в Австрии и целой Германии, Альтенштейн, оставаясь верным старым либеральным преданиям, старался собрать в берлинском университете всех передовых людей, всех знаменитостей германской науки, так что в то самое время, когда прусское правительство, за одно с Меттернихом и поощряемое императором Николаем душило во что бы то ни стало либерализм и либералов, Берлин стал средоточием, блестящим фокусом научно-духовной жизни Германии.

Гегель, приглашенный прусским правительством еще в 1818 г. занять кафедру Фихте, умер в конце 1831 г. Но он оставил после себя в берлинском, кенигсбергском и гальском университетах целую школу молодых профессоров, издателей его сочинений и горячих приверженцев и толкователей его учения. Благодаря их неутомимым стараниям, учение это распространилось скоро не только в целой Германии, но во многих других странах Европы, даже во Франции, куда оно было перенесено совсем изуродованное Виктором Кузеном. Оно приковало к Берлину, как к живому источнику нового света, чтобы не сказать нового откровения, множество умов немецких и не немецких. Кто не жил в то время, тот никогда ни поймет до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что вечно искомый абсолют наконец найден и понят, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине.

Философия Гегеля в истории развития человеческой мысли была в самом деле явлением значительным. Она была последним и окончательным словом того пантеистического и абстрактно — гуманитарного движения германского духа, которое началось творениями Лессинга и достигло всестороннего развития в творениях Гете; движение создавшее мир бесконечно широкий, богатый, высокий и будто бы вполне рациональной, но остававшийся столь же чуждым земле, жизни действительности, сколько был чужд христианскому, богословскому небу. Вследствие этого этот мир, как фата моргана, не достигая неба и не касаясь земли, вися между небом и землею, обратил самую жизнь своих приверженцев. своих рефлектирующих и поэтизирующих обитателей в непрерывную вереницу сомнамбуличе-

ских представлений и опытов, сделал их никуда негодными для жизни или, что еще хуже, осудил их делать в мире действительном совершенно противное тому, что они обожали в поэтическом или метафизическом идеале.

Таким образом об'ясняется изумительный и довольно общий факт, поражающий нас еще поныне в Германии, что горячие поклонники Лессинга, Шиллера, Гете, Канта, Фихте, и Гегеля могли и до сих пор могут служить покорными и даже охотными исполнителями далеко не гуманных и не либеральных мер, предписываемых им правительствами. Можно даже сказать вообще, что чем возвышеннее идеальный мир немца, тем уродливее и пошлее его жизнь и его действия в живой действительности.

Окончательным завершением этого высокоидеального мира была философия Гегеля. Она вполне выразила и об'яснила его своими метафизическими построениями и категориями, и тем самым убила его, придя путем железной логики к окончательному сознанию его и своей собственной и бесконечной несостоятельности, недействительности и, говоря проще, пустоты,

Школа Гегеля, как известно, разделилась на две противоположные партии; при чем разумеется между ними образовалась и третья, средняя, партия, о которой, впрочем, здесь говорить нечего. Одна из них, именно консервативная партия, нашла в новой философии оправдание и узаконение всего существующего, ухватившись за известное изречение Гегеля: „Все действительное разумно“. Эта партия создала так называемую оффициальную философию прусской монархии, уже представленной самим Гегелем, как идеал политического устройства.

Но противоположная партия так называемых *революционных* гегелиянцев, оказалась последовательнее самого Гегеля и несравненно смелее его; она сорвала с его учения консервативную маску и представила во всей наготе беспощадное отрицание, составляющее его настоящую суть. Во главе этой партии встал знаменитый Фейербах, доведший логическую последовательность не только до полнейшего отрицания всего божественного мира, но даже до отрицания самой метафизики. Далее он идти не мог. Сам все таки метафизик, он должен был уступить место своим законным преемникам, представителям школы материалистов или реалистов, большая часть которых впрочем, как напр., г.г. Бюхнер, Маркс и другие не умели и не умеют освобо-

диться от преобладания метафизической абстрактной мысли.

В тридцатых и сороковых годах господствовало мнение, что революция, которая последует за распространением гегелианизма, развитого в смысле полнейшего отрицания, будет несравненно радикальнее, глубже, беспощаднее и шире в своих разрушениях, чем революция 1793 г. Так думали потому, что философская мысль, выработанная Гегелем, и доведенная до самых крайних результатов учениками его, действительно была полнее, всестороннее и глубже мысли Вольтера и Руссо, имевших, как известно, самое прямое и далеко не всегда полезное влияние на развитие и, главное, на исход первой французской революции. Так например несомненно, что почитателями Вольтера, инстинктивного презирателя народных масс, *глупой толпы*, были государственные люди в роде Мирабо, и что самый фанатический приверженец Жан-Жака Руссо, Максимилиан Робеспьер, был восстановителем божественных и реакционно-гражданских порядков во Франции.

В тридцатых и сороковых годах полагали, что когда наступит опять пора для революционного действия, то доктора философии, школы Гегеля, оставят далеко за собою самых смелых деятелей девятидесятых годов и удивят мир своим, строго логическим, беспощадным революционизмом. На эту тему поэт Гейне написал много красноречивых слов: „Все ваши революции ничто, говорил он французам, перед нашею будущею немецкою революциею. Мы, имевшие дерзость систематически, ученым образом, уничтожить весь божественный мир, мы не остановимся ни перед какими кумирами на земле и не успокоимся, пока на развалинах привилегий и власти, мы не завоюем для целого мира полнейшего равенства и полнейшей свободы“. Почти такими же словами возвещал Гейне французам будущие чудеса германской революции. И многие верили ему. Но увы! опыта 1848 и 1849 годов было достаточно, чтобы разбить в прах эту веру. Германские революционеры не только не превзошли героев первой французской революции, но даже не умели сравниться с французскими революционерами тридцатых годов.

Какая причина этой плачевной несостоятельности? Она об'ясняется, разумеется главным образом, специальным историческим характером немцев, располагающим их гораздо более к верноподданническому послушанию, чем к

бунту, но также и тем абстрактным методом, которым она шла к революции. Сообразно, опять таки, своей природе, она шла не от жизни к мысли, но от мысли к жизни. Но кто отправляется от отвлеченной мысли, тот никогда не доберется до жизни, потому что из метафизики в жизнь нет дороги. Они разделены пропастью. А перескочить через эту пропасть, совершить Salto mortale или то, что сам Гегель назвал *квалитативным прыжком* (Qualitativer Sprung) из мира логики в мир природы, живой действительности, не удалось еще никому, да никогда никому не удастся. Кто опирается на абстракцию, тот и умрет в ней.

Живой, конкретно разумный ход, это в науке ход от факта действительного к мысли его обнимающей, выражающей и, тем самым об'ясняющей; а в мире практическом— движение от жизни общественной к возможно разумной организации ее, сообразно указаниям, условиям, запросам и более или менее страстным требованиям этой самой жизни.

Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, доступный для всякого, и потому действительно народный, путь *анархической* социальной революции, возникающей самостоятельно в народной среде, разрушающей все, что противно широкому разливу народной жизни, для того, чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной общественности.

Путь господ метафизиков совсем иной. Метафизиками мы называем не только последователей учения Гегеля, которых уже немного осталось на свете, но также и позитивистов и вообще всех проповедников богини науки в настоящее время; вообще всех тех, кто, тем или другим путем, хотя бы посредством самого тщательного, впрочем по необходимости всегда несовершенного изучения прошедшего и настоящего, создал себе идеал социальной организации, в которой, как новый Прокруст, хочет уложить во что бы то ни стало жизнь будущих поколений; всех тех, одним словом, кто не смотрит на мысль, на науку, как на одно из необходимых проявлений естественной и общественной жизни, а до того, суживает эту бедную жизнь, что видит в ней только практическое проявление своей мысли и своей, всегда конечно, несовершенной науки.

Метафизики или позитивисты, все эти рыцари науки и мысли, во имя которых они считают себя призванными предписывать законы жизни, все они, сознательно

или бессознательно, реакционеры. Доказать это чрезвычайно легко.

Не говоря уже о метафизике вообще, которою в эпохи самого блестящего процветания ее, занимались только немногие, наука в более широком смысле этого слова, более серьезная и хотя сколько нибудь заслуживающая это имя, доступна и в настоящее время только весьма незначительному меньшинству. Например, у нас в России на восемьдесят миллионов жителей, сколько насчитывается серьезных ученых? Людей, толкующих о науке можно пожалуй насчитать тысячи, но сколько нибудь знакомых с ней не на шутку вряд ли найдется несколько сотен. Но если наука должна предписывать законы жизни, то огромное большинство, миллионы людей, должны быть управляемы одною или двумя сотнями ученых, в сущности даже гораздо меньшим числом, потому что не всякая наука делает человека способным к управлению обществом, а наука наук, венец всех наук—социология, предполагающая в счастливом ученом предварительное серьезное знакомство со всеми другими науками. А много ли таких ученых не только в России, но и во всей Европе? Может быть двадцать или тридцать человек! И эти двадцать или тридцать ученых должны управлять целым миром! Можно ли представить себе деспотизм нелепее и отвратительнее этого?

Во-первых, вероятнее всего, что эти тридцать ученых перегрызутся между собою, а если соединятся, то это будет на зло всему человечеству. Ученый уже по своему существу склонен ко всякому умственному и нравственному разврату, и главный порок его—это превозвышение своего знания, своего собственного ума и презрение ко всем незнающим. Дайте ему управление, и он сделается самым несносным тираном, потому что ученая гордость отвратительна, оскорбительна и притеснительнее всякой другой. Быть рабами педантов—что за судьба для человечества! Дайте им полную волю, они станут делать над человеческим обществом те же опыты, какие, ради пользы науки, делают теперь над кроликами, кошками и собаками.

Будем уважать ученых по их заслугам, но для спасения их ума и их нравственности не должно давать им никаких общественных привилегий, и не признавать за ними другого права, кроме общего права свободы проповедывать свои убеждения, мысли и знания. Власти им, как никому, давать не следует, потому что кто облечен властью, тот по-

неизменному социалистическому закону непременно сделается притеснителем и эсплоататором общества.

Но, скажут, не всегда же наука будет достоянием только немногих; придет время, когда она будет доступна для всех и для каждого. Ну, время это еще далеко, и много должно совершиться общественных переворотов прежде, чем оно наступит. А до тех пор, кто согласится отдать свою судьбу в руки ученых, в руки попов науки? Зачем тогда вырывать ее из рук христианских попов?

Нам кажется, что чрезвычайно ошибаются те, которые воображают, что после социальной революции все будут одинаково учены. Наука, как наука и тогда, как теперь, останется одною из многочисленных общественных специальностей, с тою только разницею, что эта специальность, доступная теперь только лицам привилегированных классов, и когда без всякого различия классов, раз навсегда упраздненных, сделается доступною для всех лиц, имеющих призвание и охоту заниматься ею, не в ущерб общему ручному труду, который будет обязателен для всякого.

Общим достоянием сделается только общее научное образование, и главное, знакомство с научным методом, привычка мыслить, т. е. обобщать факты и выводить из них более или менее правильные заключения. Но энциклопедических голов, а потому и ученых социологов всегда будет очень немного. Горе было бы человечеству, если бы когда нибудь мысль сделалась источником и единственным руководителем жизни, если бы науки и ученые стали во главе общественного управления. Жизнь иссякла бы, а человеческое общество обратилось бы в бессловесное и рабское стадо. Управление жизни наукою не могло бы иметь другого результата кроме оглупения всего человечества.

Мы, революционеры-анархисты, поборники всенародного образования, освобождения и широкого развития общественной жизни, а потому враги государства и всякого государствования, в противуположность всем метафизикам позитивистам и всем ученым и неученым поклонникам богини науки, мы утверждаем, что жизнь естественная и общественная всегда предшествует мысли, которая есть только одна из функций ее, но никогда не бывает ее результатом; что она развивается из своей собственной неиссякаемой глубины, рядом различных фактов, а не рядом абстрактных рефлексий, и что последние, всегда произво-

димые ею и никогда ее не производящие, указывают только как верстовые столбы, на ее направление и на различные фазисы ее самостоятельного и самородного развития.

Сообразно такому убеждению, мы не только не имеем намерения и малейшей охоты навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного нами самими, но в убеждении, что народные массы носят в своих, более или менее развитых историею инстинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала, в самом народе; а так как всякая государственная власть, всякое правительство по существу своему и по своему положению поставленное вне народа, над ним, непременным образом должно стремиться к подчинению его порядкам и целям ему чуждым, то мы об'являем себя врагами всякой правительственной, государственной власти, врагами государственного устройства вообще и думаем, что народ может быть только тогда счастлив, свободен, когда организуясь снизу вверх, путем самостоятельных и совершенно свободных соединений и помимо всякой оффициальной опеки, но не помимо различных и равно свободных влияний лиц и партий, он сам создаст свою жизнь.

Таковы убеждения социальных революционеров и за это нас называют анархистами. Мы против этого названия не протестуем, потому что мы действительно враги всякой власти, ибо знаем, что власть действует столь же развратительно на тех, кто облечен ею, сколько и на тех, кто принужден ей покоряться. Под тлетворным влиянием ее одни становятся честолюбивыми и корыстолюбивыми деспотами, эксплуататорами общества в свою личную или сословную пользу, другие—рабами.

Идеалисты всякого рода, метафизики, позитивисты, поборники преобладания науки над жизнью, доктринерные революционеры, все вместе, с одинаковым жаром, хотя разными аргументами отстаивают идею государства и государственной власти, видя в них, *совершенно логично*, по своему единое спасение общества. *Совершенно логично* потому что, приняв раз за основание положение, по нашему убеждению совершенно ложное, что мысль предшествует жизни, отвлеченная теория общественной практике, и что по этому социологическая наука должна быть исходною точкою для

общественных переворотов и перестроек, они необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука, по крайней мере в настоящее время, составляют достояние весьма не многих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни. не только возбудителями, но и управителями всех народных движений, и что на другой день революции новая общественная организация должна быть создана не свободным соединением народных ассоциаций, общин, волостей, областей снизу вверх, сообразно народным потребностям и инстинктам, а единственно диктаторскою властью этого ученого меньшинства, *будто бы* выражающего общенародную волю.

На этой фикции мнимого народного представительства и на действительном факте управления народных масс незначительною горстью привиллегированных избранных или даже не избранных толпами народа, согнанными для выборов и никогда не знающими зачем и кого они выбирают; на этом мнимом и отвлеченном выражении, воображаемой общенародной мысли и воли, о которых живой и настоящий народ не имеет даже и малейшего представления, основываются одинаковым образом и теория государственности и теория так называемой революционной диктатуры.

Между революционною диктатурою и государственностью вся разница состоит только во внешней обстановке. В сущности же они представляют обе одно и тоже управление большинства меньшинством во имя мнимой глупости первого и мнимого ума последнего. Поэтому они одинаково реакционерны, имея, как та, так и другая, результатом непосредственным и непременным упрочение политических и экономических привиллегий управляющего меньшинства и политического и экономического рабства народных масс.

Теперь ясно почему *доктринерные революционеры*, имеющие целью низвержение существующих властей и порядков, чтобы на развалинах их основать свою собственную диктатуру, никогда не были и не будут врагами, а напротив, всегда были и всегда будут самыми горячими поборниками государства. Они только враги настоящих властей, потому что желают занять их место; враги настоящих политических учреждений, потому что они исключают возможность их диктатуры, но вместе с тем самые горячие друзья государственной власти, без удержания которой революция, освободив не на шутку народные массы, отняла бы у этого мнимо-революционного меньшинства всякую на-

дежду заложить их в новую упряжь и облагодетельствовать их своими правительственными мерами.

И это так справедливо, что в настоящее время, когда в целой Европе торжествует реакция, когда все государства, обуянные самым злобным духом самосохранения и народопритеснения, вооруженные с ног до головы в тройную броню, военную, полицейскую и финансовую, и готовящиеся под верховным предводительством князя Бисмарка к отчаянной борьбе против социальной революции; теперь, когда, казалось бы, все искренние революционеры должны соединяться, чтобы дать отпор отчаянному нападению интернациональной реакции, мы видим, напротив, что доктринерные революционеры под предводительством г. Маркса везде держат сторону государственности и государственников против народной революции.

Во Франции, начиная с 1870 года, они стояли за государственного республиканца-реакционера, Гамбетта, против революционерной лиги юга (La Ligue du Midi), которая только одна могла спасти Францию и от немецкого порабощения и от еще более опасной и ныне торжествующей коалиции клерикалов, легитимистов, орлеанистов и бонапартистов. В Италии они кокетничают с Гарибальди и с остатками партии Мацциии; в Испании они открыто приняли сторону Кастеляра, Пи-и-Маргаля и мадридской конституанты; наконец в Германии и вокруг Германии, в Австрии Швейцарии, Голландии, Дании они служат службу князю Бисмарку, на которого, по собственному признанию, смотрят как на весьма полезного революционного деятеля, помогая ему в деле пангерманизирования всех этих стран.

Теперь ясно почему господа доктора философии школы Гегеля, не смотря на свой пламенный революционаризм в мире отвлеченных идей, в действительности оказались в 1848 и 1849 г. г. не революционерами, но большею частью реакционерами, и почему в настоящее время большинство их сделалось от'явленными сторонниками князя Бисмарка.

Но в двадцатых и сороковых годах мнимый революционаризм их, еще ни чем и никак не испытанный, находил много веры. Они сами верили в него, хотя проявляли его большею частью в сочинениях весьма отвлеченного свойства так что прусское правительство не обращало на него никакого внимания. Может быть, оно уже и тогда понимало, что они работают для него.

С другой стороны, оно неуклонно стремилось к своей

главной цели—основанию сначала прусской гегемонии в Германии, а потом и прямого подчинения целой Германии своему нераздельному владычеству путем, который ему самому казался несравненно выгоднее и удобнее, чем путь либеральных реформ и даже поощрения германской науки— а именно, путем экономическим, при чем оно должно было встретить горячие симпатии всей богатой торговой и промышленной буржуазии, всего жидовского финансового мира в Германии, так как процветание как той, так и другого непременно требовало обширной государственной централизации, мы видим этому новый пример в настоящее время в немецкой Швейцарии, где большие промышленные торговцы и банкиры начинают уже ясно высказывать свои симпатии теснейшему политическому соединению с обширным германским, рынком, т. е. пангерманскою империею, которая оказывает на все окружающие маленькие страны притягательную или засасывающую силу боа-констриктора.

Первая мысль учреждения *таможенного союза* принадлежит впрочем не Пруссии, а Баварии и Виртембергу, заключившим между собою такой союз еще в 1828 г. Но Пруссия скоро овладела и мыслью, и ее исполнением.

Прежде в Германии было столько же таможень и разнороднейших пошлинных порядков, сколько было в ней государств. Это положение было действительно нестерпимо и обратило всю немецкую торговлю и промышленность в застой. И так Пруссия, взявшаяся могучею рукою за таможенное соединение Германии, оказала настоящее благодеяние последней. Уж в 1836 г., и под верховным управлением прусской монархии к союзу принадлежали оба Гессена, Бавария, Виртемберг, Саксония, Тюрингия, Баден, Нассау и вольный город Франкфурт—всего более 27 миллионов жителей. Остались только Ганновер, Мекленбургские и Ольденбургские герцогства, вольные города Гамбург. Любек и Бремен и наконец вся австрийская империя.

Но именно исключение австрийской империи из германского таможенного союза составляло существенный интерес Пруссии; потому что это исключение, в начале только экономическое, должно было повлечь за собою впоследствии и политическое исключение.

В 1840 году начался *третий период* германского либерализма. Характеризовать его очень трудно. Он чрезвычайно богат многосторонним развитием самых различных направлений, школ, интересов и мыслей, но столько же

беден фактами. Он весь наполнен взбалмошною личностью и хаотическими писаниями короля Фридриха Вильгельма IV, севшего на престол своего отца, именно в 1840 году.

С ним совершенно изменилось отношение Пруссии к России. В противность своему отцу и своему брату, нынешнему императору Германии, новый король ненавидел императора Николая. Впоследствие он за это дорого поплатился и горько и громко в этом раскаялся—но в начале царствования, ему и чорт не был страшен. Полуученый, полупоэт, пораженный физиологическою немощью и к тому же пьяница, покровитель и друг странствующих романтиков и пангерманствующих патриотов, он в последние года жизни отца был надеждою немецких патриотов. Все надеялись, что он даст конституцию.

Первым действием его была полнейшая амнистия. Николай нахмурил брови, но за то вся Германия рукоплескала, и либеральные надежды усилились. Однако конституции он не дал, но за то наговорил столько разного вздора и политического, и романтического, и древне-тевтонского, что даже немцы ничего понять не могли.

А дело было очень просто. Тщеславный, славолюбивый, неусидчивый, беспокойный, но вместе с тем неспособный ни к выдержке, ни к делу, Фридрих Вильгельм IV был просто эпикуреец, кутила, романтик или самодур на престоле. Как человек ни к чему действительному неспособный, он не сомневался ни в чем. Ему казалось что королевская власть, в мистическое богопризванье которой он искренно верил, дает ему право и силу делать решительно все, что вздумается и наперекор логики и всем законам природы и общественности совершать самое невозможное, соединять решительно носовместимое.

Таким образом он хотел, чтобы в Пруссии существовала полнейшая свобода, но чтобы вместе с тем королевская власть осталась неограниченною, его произвол ничем не стесненным. В этом духе он стал декретировать конституции сначала только провинциальные, а в 1847 г. дал нечто в роде общей конституции. Но во всем этом не было ничего серьезного. Было только одно: своими беспрерывными, друг друга дополняющими и друг другу противоречащими попытками, он переворотил весь старый порядок, и не на шутку расшевелил своих подданных сверху до низу. Все стали ожидать чего то.

Это что-то была революция 1848 года. Все чувствовали

ее приближение не только во Франции, в Италии, но даже в Германии; да, именно в Германии, которая в продолжении этого третьего периода, между 1840 и 1848 годами успела набраться французского крамольного духа. Этому французскому настроению умов нисколько не мешал гегелианизм, который, напротив, очень любил выражать на французском языке, разумеется с приличною тяжеловесностью и с немецким акцентом, свои отвлеченно революционерные выводы. Никогда Германия не читала так много французских книг, как в это время. Она, казалось, забыла собственную литературу. За то литература французская, особенно же революционная, проникла всюду. История жирондистов Ламартина, сочинения Луи Блана и Мишле были переведены на немецкий язык вместе с последними романами. И немцы стали бредить героями великой революции и распределять между собою на будущее время роли: кто воображал себя Дантоном или любезным Камиль-де-Муленом, (der liebenswürdige Camille-Desmoulens!), кто Робеспьером или Сен-Жюстом, кто, наконец, Маратом. Самим же собою почти не был никто, потому что для этого надо быть одаренным действительною природою. У немцей же все есть, и глубокомысленное мышление, и возвышенные чувства, только нет природы и если есть, то холопская.

Многие немецкие литераторы, следуя примеру Гейне и уже умершего тогда Берне, переселились в Париж. Между ними замечательны были доктор Арнольд Руге, поэт Гервег и К. Маркс. Они хотели сначала издавать вместе журнал, но перессорились. Два последние были уже социалистами.

Германия стала знакомиться с социальными учениями только в сороковых годах. Венский профессор Штейн чуть ли не первый написал немецкую книгу о них. Но первым практическим немецким социалистом или, вернее, коммунистом был несомненно портной Вейтлинг, прибывший в начале 1843 г. в Швейцарию из Парижа, где состоял членом тайного общества французских коммунистов. Он основал много коммунистических обществ между немцами ремесленниками в Швейцарии, но в конце 1843 г. был выдан Пруссии тогдашним правителем цюрихского кантона, г. Блунгли, ныне знаменитым юрисконсультом и профессором права в Германии.

Но главным пропагандистом социализма в Германии. сначала тайно, а вскоре потом публично, был Карл Маркс.

Г. Маркс играл и играет слишком важную роль в социалистическом движении немецкого пролетариата, чтобы можно было обойти эту замечательную личность, не постаравшись изобразить ее в нескольких верных чертах.

По происхождению г. Маркс еврей. Он соединяет в себе, можно сказать, все качества и все недостатки этой способной породы. Нервный, как говорят иные, до трусости, он чрезвычайно честолюбив и тщеславен, сварлив, нетерпим и абсолютен как Иегова, Господь Бог его предков и, как он, мстителен до безумия. Нет такой лжи, клеветы, которой бы он не был способен выдумать и распространить против того, кто имел несчастье возбудить его ревность или, что все равно, его ненависть. И нет такой гнусной интриги, перед которой он остановился бы, если только по его мнению, впрочем большею частью ошибочному, эта интрига может служить к усилению его положения, его влияния, или к распространению его силы. В этом отношении он совершенно политический человек.

Таковы его отрицательные качества. Но и положительных в нем очень много. Он очен умен и чрезвычайно многосторонне-учен. Доктор философии, он еще в Кельне около 1840 г. был, можно сказать, душою и центром весьма заметных кружков передовых гегельянцев, с которыми начал издавать оппозиционный журнал, вскоре закрытый по министарскому приказанию. К этому кружку принадлежали также братья Бруно Бауер и Эдгар Бауер, Макс Штирнер и потом в Берлине первый кружок немецких нигилистов, которые цинической последовательностью своею далеко превзошли самых ярых нигилистов России.

В 1843 или 1844 г. Маркс переселился в Париж. Тут он впервые столкнулся с обществом французских и немецких коммунистов и с соотечественником своим, немецким евреем, г. Морисом Гессом, который прежде его был ученым экономистом и социалистом и имел в это время значительное влияние на научное развитие г. Маркса.

Редко можно найти человека, который бы так много знал и читал и читал так умно, как г. Маркс. Исключительным предметом его занятий была уже в это время наука экономическая. С особенным тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других и положительностью познаний, и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгою критикою, и добросовестною смелостью выводов. Но ко всему

этому г. Маркс прибавил еще два новых элемента: диалектику самую отвлеченную, самую причудливо-тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля и которую доводит нередко до шалости, до разврата и точку отправления коммунистическую.

Г. Маркс перечитал разумеется всех французских социалистов, от Сен-Симона до Прудона включительно и последнего, как известно, он ненавидит, и нет сомнения, что в беспощадной критике, направленной им против Прудона, много правды: Прудон, не смотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления — абстрактная идея права; от права он идет к экономическому факту, а г. Маркс, в противуположность ему, высказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г. Маркса.

Но, что замечательнее всего и в чем разумеется г. Маркс никогда не признавался, это то, что в отношении политическом г. Маркс прямой ученик Луи-Блана. Г. Маркс несравненно умнее и несравненно ученее этого маленького неудавшегося революционера и государственного человека; но как немец, несмотря на свой почтенный рост, он попал в учение к крошечному французу.

Впрочем эта странность об'ясняется просто: реторик француз, как буржуазный политик и как от'явленный поклонник Робеспьера, и ученый немец, в своем тройном качестве гегельянца, еврея и немца, оба отчаянные государственника, и оба проповедуют государственный коммунизм, с тою только разницею, что один вместо аргументов довольствуется реторическими декламациями, а другой, как приличествует ученому и тяжеловесному немцу, обставляет этот, равно им любезный принцип, всеми ухищрениями, гегелевской диалектики и всем богатством своих многосторонних познаний.

Около 1845 г. Маркс стал во главе немецких коммунистов, и вслед за тем, вместе с г. Энгельсом, неизменным своим другом, столь же умным, хотя менее ученым, но за то более практическим и не менее способным к политической клевете, лжи и интриге, основал тайное общество герман-

ских коммунистов или государственных социалистов. Центральный комитет их, которого он, вместе с г. Энгельсом, был, разумеется, главою, по изгнанию их обоих из Парижа в 1846 г., был перенесен в Брюссель, где оставался до 1848 г. Впрочем до самого этого года пропаганда их, хотя распространялась по немногу в целой Германии, но оставалось тайною и потому не выходила наружу.

Социалистический яд несомненно проникал самыми разнообразными путями в Германию. Он выражался даже в религиозных движениях. Кто не слыхал об эфемерном религиозном учении, возникшем в 1844 г. и потонувшем в 1848 г. под именем *„нового католицизма“*—(теперь в Германии появилась новая ересь против римской церкви под названием *старого католицизма“*).

Новый католицизм произошел следующим образом. Как ныне во Франции, так в 1844 г. в Германии, католическому духовенству вздумалось возбудить фанатизм католического населения громадною процессиею в честь нешитого платья Христа, будто бы хранящегося в Трире. Около *миллиона* пилигримов собралось на этот праздник, со всех концов Европы —торжественно понесли святое платье и пели: „святое платье, моли Бога о нас!“ — Это возбудило огромный скандал в Германии и дало повод немецким радикалам выкинуть фарс. В 1848 г. нам случилось видеть в Бреславле тот пивной кабачек, где вскоре после этой процессии, собрались несколько силезских радикалов, между прочим известный граф Рейхенбах и товарищи его по университету: гимназический учитель Штейн и бывший католический священник Иоган Ранге. Под их диктовку Ранге написал открытое письмо, красноречивый протест к епископу трирскому, которого прозвал Тецелем XIX века. Таким образом началась ново-католическая ересь.

Она быстро распространилась по целой Германии, даже в Познанском герцогстве, и под предлогом возвращения древней христианской коммунистической трапезы, стали открыто проповедывать коммунизм. Правительство неудомевало и не знало, что делать, так как проповедь носила все таки религиозный характер и так как в самом протестантском населении образовались *свободные общины*, обнаруживавшие также, хотя и скромнее, политическое и социалистическкe направление.

В 1847 г. индустриальный кризис, обрекший на голодную смерть десятки тысяч ткачей, еще сильнее возбу-

дил интерес целой Германии к социальным вопросам. Хамелеон—поэт, Гейне, написал по этому случаю великолепное стихотворение „*Ткач*“, которое пророчило близкую и беспощадную социальную революцию.

Да, все в Германии ждали, если не социальной то, по крайней мере, политической революции, от которой чаяли воскресения и обновления великого германского отечества, и в этом всеобщем ожидании, в этом хоре надежд и желаний, главная нота была патриотическая и государственная. Немцам стало обидно, то ироническое удивление, с которым, говоря о них, как о народе ученом, глубокомысленном, англичане и французы отрицали в них всякую практическую способность и всякий смысл действительности. Поэтому все их желания и требования были устремлены главным образом к одной цели: к *образованию единого и могучего пангерманского государства* в какой бы форме оно ни было, республиканской или монархической, лишь бы это государство было достаточно сильно, чтобы возбудить удивление и страх во всех соседних народах.

1848 г., вместе с обще-европейскою революциею, наступил четвертый период, последний кризись германского либерализма, кризис, окончившийся его совершенным банкротством.

Со времени плачевной победы, одержанной в 1525 г. соединенными силами феодализма, приближавшегося уже видимо к своему концу и новейших государств, только что начинавших образоваться в Германии, над громадным восстанием крестьян,—победы, обрекшей окончательно всю Германию на продолжительное рабство под бюрократическо-государственным игом, в этой стране никогда еще не скоплялось столько горючего материала, столько революционных элементов, как накануне 1848 г. Неудовольствие, ожидание и желание переворота, за исключением высшей бюрократии дворянского класса, было всеобщее, и чего не было в Германии ни после падения Наполеона, ни в двадцатых, ни в тридцатых годах, теперь среди самой буржуазии оказались не десятки, а многие сотни людей, называвших себя революционерами и имевших право называть себя этим именем, потому, что не довольствуясь литературным пустоцветом и реторическим празднoглагольствованием были действительно готовы положить свою жизнь за свои убеждения.

Мы знали много таких людей. Они разумеется не при-

надлежали к миру богачей или литературно-ученой буржуазии. Среди них было чрезвычайно мало адвокатов, немного больше медиков, и что замечательно— почти ни одного студента, за исключением студентов венского университета, заявившего в 1848 и 1847 годах, довольно серьезное революционное направление, вероятно потому, что в отношение к науке он стоял несравненно ниже всех германских университетов (мы не говорим о пражском, так как это университет славянский).

Огромное большинство учащейся молодежи в Германии уже тогда держало сторону реакции, разумеется не феодальной, а консервативно-либеральной: оно было поборником государственного порядка во что бы то ни стало. Можно себе представить, чем эта молодежь сделалась теперь.

Радикальная партия разделялась на две категории. Обе образовались под прямым влиянием французских революционных идей. Но между ними была огромная разница. К первой категории принадлежали люди, составлявшие цвет ученого молодого поколения Германии: доктора разных факультетов, медики, адвокаты, а также и не мало чиновников, писатели, журналисты, ораторы; все разумеется глубокомысленные политики, нетерпеливо ждавшие революции, которая должна, была открыть широкое поприще для их талантов. Едва началась революция, эти люди стали во главе всей радикальной партии и после многих ученых эволюций, истощивших ее понапрасну и парализовавших в ней последние остатки энергии, дошли до совершенного ничтожества.

Но была другая категория людей, менее блестящих и честолюбивых, но за то более искренних и потому несравненно более серьезных, они состояли из мелких буржуа. В ней много было школьных учителей и бедных прикащиков торговых и индустриальных домов. Были разумеется также и адвокаты, и медики, и профессора, и журналисты, и книгопродавцы, и даже чиновники, но в самом незначительном количестве. Эти люди были действительно святыми людьми и самыми серьезными революционерами в смысле безграничной преданности и готовности жертвовать собой до конца и без фраз революционному делу. Нет сомнения что будь у них другие предводители, будь вообще германское общество способно и расположено к народной революции, они принесли бы драгоценную пользу.

Но эти люди были революционерами и готовы были честно служить революции, не отдавая себе ясного отчета в том, что такое революция и чего должно требовать от нее У них не было да и не могло быть ни коллективного инстинкта, ни коллективной воли и мысли. Они были индивидуальными революционерами без всякой почвы под ногами, и не находя в себе руководящей мысли, они должны были слепо предаться блудному руководству своей старшей, ученой братии, в руках которой сделались орудием для обмана сознательного или бессознательного народных масс. По личному инстинкту они хотели всеобщего освобождения, равенства, благоденствия для всех, а их заставляли работать для торжества пангерманского государства.

В Германии существовал тогда, как и теперь, революционной элемент еще более серьезный — это городской пролетариат; он доказал в Берлине, в Вене и во Франкфурте на Майне в 1848 г. и в 1849 г. в Дрездене, в Ганноверском королевстве и в Баденском герцогстве, что способен и готов к восстанию серьезному, лишь только находил сколько-нибудь толковое и честное предводительство. В Берлине нашелся даже элемент, которым славился до тех пор только один Париж, это уличный мальчишка — гамен, революционер и герой.

В то время городской пролетариат Германии, по крайней мере его огромное большинство, находился еще почти совсем вне влияния пропаганды Маркса и вне организации его коммунистической партии. Распространена она была главным образом в индустриальных городах прусского Рейна, особенно в Кельне. Существовали также ветви ее в Берлине, в Бреславле и под конец в Вене, но весьма слабые. Разумеется в германском пролетариате, как и в пролетариате других стран, находились в зародыше, как инстинктивный запрос, все социалистические стремления, которые, более или менее, обнаруживались народными массами решительно во всех прошедших революциях, не только политических, но даже религиозных. Но огромная разница между таким инстинктивным заявлением и сознательным ясно определенным требованием социального переворота или социальных реформ. Такого требования в Германии ни в 1848, ни в 1849 г. решительно не было, хотя известный манифест немецких коммунистов, сочиненный и написанный г. г. Марксом и Энгельсом, был уже опубликован в марте 1818 года. Он пронесся над немецким народом

почти без следа, Революционный пролетариат всех городов Германии было непосредственно подчинен партии политических редикалов или *крайней демократии*, что давало ей огромную силу; но сама, сбитая с толку буржуазно-патриотическою программою, а также и совершенною несостоятельностью своих вожаков, буржуазная демократия обманула народ.

Наконец, в Германии был еще элемент, которого уже нет, это революционное крестьянство или по крайней мере, способное сделаться революционным. В то время, в большей половине Германии, существовал еще остаток старого крепостного права, как оно существует еще поныне в двух герцогствах Мекленбургских. В Австрии крепостное право преобладало вполне. Было несомненно, что немецкое крестьянство способно и готово к восстанию. Как в 1830 г. в баварском Пфальце, так и в 1848 г. почти в целой Германии, едва только стало известным провозглашение французской республики, все крестьянство зашевелилось и приняло самое горячее, живое, деятельное участие в первых выборах депутатов в многочисленные революционные парламенты. Тогда немецкие мужики еще верили, что парламенты смогут и захотят что-нибудь для них сделать, и посылали в них своими представителями людей самых отчаянных, самых красных — насколько, разумеется, немецкий политический человек может быть отчаянным и красным. Вскоре, увидав, что от парламентов им не дождаться никакой пользы, мужики охладели; но в начале они были готовы на все даже на поголовный бунт.

В 1848, как и в 1830 г., немецкие либералы и радикалы больше всего боялись этого бунта; его не любят даже социалисты школы Маркса. Всем известно, что Фердинанд Лассаль, который по собственному сознанию, был прямым учеником этого верховного предводителя коммунистической партии в Германии, что не помешало однако учителю, по смерти Лассаля, высказать ревнивое и завистливое неудовольствие против блестящего ученика, оставившего далеко за собою в практическом отношении учителя; всем известно, говорим мы, что Лассаль несколько раз высказывал мысль, что поражение крестьянского восстания в XVI в. и последовавшее за ним усиление и процветание бюрократического государства в Германии были истинным торжеством для революции.

Для коммунистов или социальных демократов Герма-

нии крестьянство, всякое крестьянство, есть реакция; а государство, всякое государство, даже бисмарковское — революция. Пусть не подумают, что мы клевещем на них. В доказательство того, что они действительно так думают, указываем на их речи, брошюры, журнальные статьи и наконец, на их письма—все это в свое время будет представлено русской публике. Впрочем марксисты и думать иначе не могут; государственники во что бы то ни стало, они должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую, по природе анархическую и идущую прямо к уничтожению государства. Как всепоглащающие пангерманисты, они должны отвергать крестьянскую революцию уже потому одному, что эта революция специально славянская.

И в этой ненависти к крестьянскому бунту они самым нежным и самым трогательным образом сходятся со всеми словами и партиями буржуазного германского общества. Мы уже видели, как в 1830 г. достаточно было крестьянам баварского Пфальца подняться с косами и вилами против господских замков, чтобы охладить внезапно революционный жар, пожиравший тогда южно-германских буршей. В 1848 г, повторилось тоже самое, и решительное противодействие, которое было оказано немецкими радикалами попыткам крестьянского восстания в самом начале революции 1848 г., чуть ли не было главною причиною печального исхода этой революции.

Она началась неслыханным рядом народных торжеств. В продолжении какого нибудь месяца после парижских февральских дней, были сметены с лица немецкой земли все государственные правительственные учреждения и силы почти без всяких народных усилий. Едва в Париже восторжествовала народная революция, как обезумевшие от страха и от презрения к себе правители и правительства стали падать в Германии одно за другим. Было правда нечто в роде военных сопротивлений в Берлине и Вене; но они были так ничтожны, что о них и говорить нечего.

Итак, революция победила в Германии почти без всякого кровопролития. Все оковы разбились, все преграды сломились сами собой. Немецкие революционеры могли сделать все. Что же они сделали?

Скажут, что не в одной Германии, а в целой Европе революция оказалась несостоятельной. Но во всех других странах революция. после долгой, серьезной борьбы была

побеждена иноземными силами: в Италии австрийскими войсками, в Венгрии соединенными русскими и австрийскими; в Германии же она была сокрушена собственною несостоятельностью революционеров.

Во Франции, может быть скажут, случилось тоже самое; нет во Франции было совершенно другое. Там поднялся именно в это время страшный революционный вопрос, отбросивший вдруг всех буржуазных политиков, даже красных революционеров, в реакцию. Во Франции в достопамятные июньские дни вторично встретились буржуазия и пролетариат, как враги, между которыми примирение невозможно. В первый раз они встретились еще в 1834 году, в Лионе.

В Германии, как мы уже заметили, социальный вопрос тогда едва начинал пробиваться подземными путями в сознание пролетариата, и хотя тогда упоминалось о нем, но более теоретически, и как о вопросе более французском, чем немецком. Поэтому он еще не мог отделить немецкого пролетариата от демократов, за которыми работники готовы были следовать без рассуждений, лишь бы демократы пожелали вести их на битву.

Но именно уличной битвы не хотели вожаки и политики демократической партии Германии. Они предпочитали бескровные и безопасные битвы в парламентах, которые барон Иелагиш, хорватский бан и одно из орудий габсбурго-австрийской реакции живописно прозвал „*Заведениями для реторических упражнений*“.

Парламентов и учредительных собраний в Германии было тогда без счета. Между ними первым считалось национальное собрание во Франкфурте, которое должно было создать общую конституцию для целой Германии. Оно состояло приблизительно из 600 депутатов, представителей всей германской земли, выбранных прямо народом. Были также и депутаты собственно немецких областей австрийской империи; славяне же богемские и моравские отказались послать туда своих депутатов, к большому негодованию немецких патриотов, никак не могущих, а главное не хотящих понять, что Богемия и Моравия, по крайней мере на сколько они населены славянами, вовсе не немецкие земли. Таким образом во Франкфурте собрался из всех концов Германии цвет немецкого патриотизма и либерализма, немецкого ума и немецкой учености. Все патриоты и революционеры двадцатых и тридцатых годов, имевшие

счастие дожить до этого времени, все либеральные знаменитости сороковых годов, встретились в этом верховном, обще-германском парламенте. И вдруг к общему изумлению с самых первых дней оказалось, что, по крайней мере, три четверти депутатов, вышедшие прямо из всеобщего народного избирательства, реакционеры! И не только реакционеры, но политические шалуны, очень ученые, но чрезвычайно невинные.

Они не на шутку вообразили, что им стоит только извлечь из их мудрых голов конституцию для целой Германии и провозгласить ее во имя народа, чтобы все немецкие правительства тотчас подчинились ей. Они поверили обещаниям и клятвам немецких государей, как будто в продолжении более чем тридцати лет, от 1815 до 1848 г. не испытали и на самих себе, и на своих товарищах, их нахального и систематического вероломства. Глубокомысленные историки, и юристы не поняли простой истины, об'яснение и подтверждение которой они могли бы прочесть на каждой странице истории, а именно: чтобы сделать безопасной какую бы то ни было политическую силу, чтобы ее умиротворить, покорить, есть только одно средство —уничтожить ее. Философы не поняли, что против политической силы никаких других гарантий быть не может, кроме совершенного уничтожения, что в политике, как на арене взаимно борющихся сил и фактов, слова, обещания и клятвы ничего не значат, уже по тому одному, что всякая политическая сила, пока остается действительною силою, даже помимо и против воли властей и государей, ею заправляющих, по самому существу своему и под опасностью самоуничтожения, должна неуклонно и во чтобы то ни стало стремится к осуществлению своих целей.

Германские правительства в марте 1848 г. были деморализированы, запуганы, но далеко не уничтожены. Старая государственная, бюрократическая, юридическая, финансовая, политическая и военная организация осталась неповрежденная. Уступая напору времени они немного распустили удила, но все концы их оставались в руках государей. Огромнейшее большинство чиновников, привыкших к механическому исполнению, вся полиция, вся армия, были им преданы попрежнему, даже пуще прежнего, потому что посреди народной бури, грозившей всему их существованию только от них могли ждать спасения. Наконец, несмотря на повсеместное торжество революции, взи-

мание и платеж податей производились с прежней аккуратностью.

В начале революции несколько изолированных голосов, правда, требовали, чтобы на всей немецкой земле приостановлены были платежи податей и вообще исполнение всяких повинностей натуральных и денежных, пока не будет водворена и не установлена в ней новая конституция. Но против такого предложения, встретившего много сомнений в самом народе, особливо в крестьянах, поднялся грозный, единодушный хор порицаний со стороны всего буржуазного мира, не только либералов, но и самых красных революционеров и радикалов. Ведь они клонились прямо к государственному банкротству и к разрушению всех государственных учреждений, и это в то самое время, когда все хлопотали о создании нового, еще сильнейшего, единого и нераздельного пангерманского государства! Помилуйте! Разрушение государства! это было бы пожалуй освобождением и праздником для глупой толпы чернорабочего люда, но для порядочных людей, для целой буржуазии, существующей только силой государственности,— беда. И так как франкфуртскому национальному собранию, а вместе с ним и всем радикалам Германии, даже и в голову не могла придти мысль об уничтожении государственной силы, которая находилась в руках немецких государей, так как они с другой стороны не умели, да и не хотели организовать народную силу, с нею несовместную, то им ничего более не оставалось сделать, как утешать себя верою в святость обещаний и клятв этих самых государей.

Людям, толкующим о специальном признании науки и ученых организовывать общества и управлять государствами, не худо бы было напоминать почаще о траги-комической судьбе несчастного франкфуртского парламента. Если какое либо политическое собрание заслужило название ученого, то именно этот пангерманский парламент, в котором заседали знаменитейшие профессора всех немецких университетов и всех факультетов, особенно же юристы, политико-экономисты и историки.

И во первых, как мы уже заметили выше, это собрание в своем большинстве оказалось страшно реакционерным, до того, что когда Радовиц, друг, постоянный корреспондент и верный слуга короля Фридриха Вильгельма IV, бывший перед тем прусским посланником при герман-

ском союзе, а в мае 1848 г. сделавшийся депутатом национального собрания—когда Радовиц предложил этому собранию торжественно заявить свою симпатию австрийским войскам, этой *немецкой* армии, составленной большей частью из мадьяр и хорватов и посланной венским кабинетом против бунтующих итальянцев, огромное большинство, восхищенное его германо-патриотическою речью, встало и рукоплескало австрийцам. Этим оно торжественно заявило, во имя целой Германии, что главная и, можно сказать, едино-серьезная цель немецкой революции было отнюдь не завоевание свободы для немецких народов, а сооружение для них огромной новой патриотической тюрьмы, под названием единой и нераздельной *пангерманской империи.*

Ту же грубую несправедливость собрание оказало и в отношении поляков познанского герцогства, и вообще ко всем славянам. Все эти племена, ненавидящие немцев, должны были быть поглощены пангерманским государством. Того требовало будущее могущество и величие немецкого отечества.

Первый внутренний вопрос, который представился решению мудрого и патриотического собрания был: должны ли обще-германские государства быть республикою или монархиею? И разумеется вопрос был решен в пользу монархии. В этом однако господ профессоров-депутатов и законодателей винить не следует. Разумеется они, как истые, и к тому же ученые немцы, т. е. как сознательно убежденные хамы, всею душею стремились к сохранению своих драгоценных государей. Но если бы они даже и не имели таких стремлений, то они все таки должны бы были решить в пользу монархий, потому что, за исключением немногих сотен искренних революционеров, о которых мы упоминали выше, того хотела вся немецкая буржуазия.

А в доказательство этого. приведем слова почтенного патриарха демократической партии, ныне социал-демократа, вышесказанного кенигсбергского патриота, доктора Іоганна Якоби. В речи, произнесенной им в 1858 году перед кенигсбергскими избирателями, он сказал следующее:

„Теперь, господа, я говорю это из глубины своего полнейшего убеждения, теперь во всей стране нашей, во всей демократической партии, нет ни одного человека, который, я не говорю, стремился бы к другой государственной форме кроме монархической, но который только меч-

тал бы о ней". Еще далее он прибавляет: „Если какое либо время, то именно 1848 г. показал нам какие глубокие корни пустил монархический элемент в сердце народа".

Второй вопрос был какую форму будет иметь германская империя, централизованную или федеральную?—Первая была бы логичною и несравненно сообразнее цели, образованию единого, нераздельного и могучего германского государства. Но для осуществления ее необходимо бы было лишить власти, престола и выгнать из Германии всех государей кроме одного, т. е. начать и довести до конца множество частных бунтов. Это было слишком противно немецкому верноподданству, и потому вопрос был решен в пользу федеральной монархии, сообразно старому идеалу — множество средних и маленьких государей и столько же парламентов, а во главе всего этого единый обще-германский император и парламент.

Кто же будет императором? Таков был главный вопрос. Ясно было, что на это место возможно было назначить только австрийского императора или прусского короля. Никого другого ни Австрия, ни Пруссия не потерпели бы.

Большинство симпатий в собрании было в пользу австрийского императора. На это было много причин: во первых, все непрусские немцы ненавидели и ненавидят Пруссию, как в Италии ненавидят Пиемонт. Король же Фридрих Вильгельм IV своим взбалмошным, самодурным поведением перед революциею и после нее совсем утратил все симпатии, приветствовавшие его при вступлении на престол. К тому же вся южная Германия по характеру своего населения, большею частью католического и по историческим преданиям и привычкам склонялась решительно в пользу Австрии.

Но выбор австрийского императора был все-таки невозможен, потому что австрийская империя, обуреваемая революционными движениями в Италии, Венгрии, Богемии и наконец, в самой Вене, находилась на краю гибели, тогда как Пруссия была вооруженная и готовая, несмотря на волнения в улицах Берлина, Кенигсберга, Позена, Бреславля и Кельна.

Немцы хотели единой, могучей империи несравненно сильнее, чем свободы. Всем ясно было, что только одна Пруссия могла дать Германии серьезного императора. Поэтому, если бы у господ профессоров, составляющих чуть

ли не большинство франкфуртского парламента, была хоть капля здравого критического смысла, капля энергии, они должны бы были не задумываясь, не откладывая, а скрепя сердце тотчас же предложить императорскую корону прусскому королю.

В начале революции Фридрих Вильгельм IV непременно бы ее принял. Берлинское восстание, победа народа над войском поразило его в самое сердце; он чувствовал себя униженным и искал какого бы то ни было средства, чтобы спасти и восстановить свою королевскую честь. Не имея другого средства, он собственным движением ухватился за императорскую корону. Уже 21 марта, спустя три дня после своего поражения в Берлине, он издал манифест к немецкой нации, где об'явил, что, ради спасения Германии, он становится во главе общего германского отечества. Написав этот манифест собственноручно, он сел на коня и окруженный военною свитою, с трехцветным пангерманским знаменем в руке проехал торжественно по улицам Берлина.

Но франкфуртский парламент не понял или не захотел понять этого совсем не тонкого намека, и вместо того, чтобы прямо и просто провозгласить прусского короля императором, они, как это делают близорукие и нерешительные люди, прибегали к средней мере, которая, ничего не решив, была прямым оскорблением прусского короля. Господа профессора не поняли, что прежде выбора германского императора, они должны были состряпать обще-германскую конституцию, а еще прежде должны были формулировать *„основные права германского народа“*.

Больше полгода употреблено было учеными законодателями на юридическое определение этого права. Практические же дела они передали установленному ими временному правительству, составленному из безответственного правителя государства и из ответственного министерства. Правителем выбрали опять таки не прусского короля, а в пику ему эрцгерцога австрийского.

Выбрав его, франкфуртское собрание требовало, чтобы все союзные войска присягнули ему. Повиновались только ничтожные войска маленьких государей, прусские, же, ганноверские и даже австрийские отказались напрямик. Таким образом для всех стало ясно, что сила, влияние, значение франкфуртского собрания равны нулю, и что судьба Германии решилась не во Франкфурте, а в Берлине и Вене, особенно в первом, так как вторая была слишком озабочена

своими собственными, исключительно австрийскими и далеко не немецкими делами, чтобы иметь время заниматься делами Германии.

Что же делала в это время радикальная или так называемая революционная партия? Большинство непрусских членов ее находились во франкфуртском парламенте и составляло меньшинство. Остальные были в частных парламентах и также парализированы, во-первых потому, что влияние этих парламентов на общий ход дел Германии, по самой ничтожности их, было необходимо ничтожно, во-вторых потому, что даже парламентство в Берлине, Вене, Франкфурте было смешно и пустословно.

Прусское конституционное собрание, открывшееся в Берлине 22 мая 1848 г. и заключавшее почти весь цвет радикализма ясно доказало это. В нем произносились самые пламенные, самые красноречивые и даже революционные речи, но дела не делалось никакого. С первых заседаний оно отвергло проект конституции, представленный правительством, и подобно франкфуртскому собранию, употребило несколько месяцев на обсуждение своего проэкта, причем радикалы заявляли в перегонку, на удивление всему народу свою революционность.

Вся революционная неспособность, чтобы не сказать непроходимая глупость, немецких демократов и революционеров вышла наружу. Прусские радикалы совершенно ушли в парламентскую игру и потеряли смысл для всего остального. Они серьезно поверили в силу парламентских решений, и самые умные между ними думали, что победы одерживаемые ими в парламентских прениях, решают судьбу Пруссии и Германии.

Они задали себе неразрешимую задачу: примирение демократического самоуправления и равноправия с монархическими учреждениями. В доказательство приведем речь, произнесенную в июне 1848 г. одним из главных вожаков этой партии, доктором Иоганном Якоби перед своими избирателями в Берлине, и ясно представляющую всю демократическую программу:

„Идея республики есть высшее и чистейшее выражение гражданского самоуправления и равноправия. Но возможно ли осуществление республиканской формы правления при условиях данных действительностью в известное время и в известной стране, это другой вопрос. Только всеобщая, единодушная воля граждан может решить его. Безумно бы

поступило всякое отдельное лицо, если бы оно осмелилось взять на себя ответственность за такое решение. Безумна и даже преступна была бы партия, которая бы вздумала *навязать* народу эту форму правления. Не только сегодня, но в марте на предварительном собрании во Франкфурте, я говорил тоже самое баденским депутатам, и старался отговорить их, хотя увы! и тщетно, от республиканского восстания. В целой Германии — исключая одного Бадена—самая революция остановилась почтительно перед непоколебленными тронами, и доказала этим, что хотя она и может положить предел произволу своих государей, но отнюдь не намерена прогнать их. Мы должны покориться общественной воле, и потому *конституционно-монархическая форма правления*, есть та единая почва, на которой мы обязаны соорудить новое политическое здание.

Итак, новое устройство монархии на демократических основаниях, вот трудная, прямо невозможная задача, разрешение которой задали себе глубокомысленные, но зато чрезвычайно мало революционные радикалы и красные демократы прусской конституанты, и чем более они углублялись в нее, придумывая новые конституционные цепи, в которые намеревались заковать не только народную волю, но и монарший произвол своего обожаемого, полусумашедшего государя, тем более они удалялись от настоящего дела.

Как ни огромна была их практическая близорукость, она не могла простираться до того, чтобы не видеть как монархия, хотя и побежденная в мартовские дни, но не уничтоженная, явно конспирировала и собирала вокруг себя весь старый реакционно аристократический, военный, полицейский и бюрократический мир, выжидая удобного случая для разогнания демократов и захвата власти, по прежнему безграничной. Та же речь доктора Якоби доказывает, что прусские радикалы это хорошо видели. „Не будем себя обманывать, сказал он, абсолютизм и юнкерство *) отнюдь не исчезли и не перевелись, они едва считают нужным и дают себе труд притворяться мертвыми. Нужно быть слепым, чтобы не видеть стремление реакции..."

Итак прусские радикалы довольно ясно видели, грозившую им опасность. Что же они сделали для предупреждения ее? Монархически-феодальная реакция была не теория, а сила, страшная сила, имевшая за собою всю армию,

*) Так называют в Пруссии дворянское направление и военно-дворянскую партию. Слово юнкер употребляется в смысле дворянина.

горевшую нетерпением смыть с себя срам мартовского поражения и восстановить омраченную и оскорбленную королевскую власть в народной крови, всю бюрократию, весь государственный организм, располагавший огромными финансовыми средствами. Неужели же радикалы думали, что они в состоянии связать эту грозную силу новыми законами и конституцией т. е. чисто бумажными средствами?

Да, они были бы довольно практичны и мудры, чтобы питать такие надежды. Иначе чем об'яснить, что они, вместо принятия ряда практических и действительных мер против висевшей над ними грозы, провели целые месяцы в толках о новой конституции и о новых законах, долженствовавших подчинить всю государственную силу и власть парламенту? Они до того верили в действительность своих парламентских прений и законоположений, что пренебрегли единственным средством, чтобы противоположить силе государственно-реакционной—силу революционно-народную, путем организации последней.

Неслыханно-легкое торжество народных восстаний над войском почти во всех столицах Европы, ознаменовавшей начало революции 1848 г., было вредно для революционеров не только Германии, но и всех других стран, потому что оно возбудило в них глупую уверенность, что малейшей народной демонстрации достаточно, чтобы сломить всякое военное сопротивление. Вследствие такого убеждения прусские и вообще германские демократы и революционеры, думая, что от них всегда будет зависеть напугать правительство народным движением, если оно окажется нужным, не видели никакой необходимости ни в организации, ни в направлении; не говоря уже об умножении революционных страстей и сил в народе.

Напротив, как подобает добрым буржуа, самые революционные между ними боялись этих страстей этой силы, всегда были готовы принять против них сторону государственного и буржуазно-общественного порядка, и вообще думали, что чем реже будут прибегать к опасному средству народного бунта, тем лучше.

Таким образом оффициальные революционеры Германии и Пруссии пренебрегли единственным находящимся у них средством для одержания окончательной и действительной победы над вновь возникавшей реакцией. Они не только не думали об организации народной революции, напротив, старались везде умиротворить и успокоить ее, и этим самым

ломали единственное серьезное оружие, которым они обладали.

Июньские дни, победа военного диктатора и республиканского генерала Кавеньяка над парижским пролетариатом, должны были бы открыть глаза демократам Германии. Июньская катастрофа была не только несчастием для парижских работников, но первым и, можно сказать, решительным поражением для революции в Европе. Реакционеры всех стран скорее и лучше поняли трагическое и столь выгодное для них значение июньских дней, чем революционеры, и в особенности, немецкие.

Нужно было видеть какой восторг возбудило первое известие о них во всех реакционных кругах; оно было принято, как весть о спасении. Руководимые совершенно верным инстинктом, они увидели в торжестве Кавеньяка не только победу французской реакции над революцией французской, но победу всемирной или интернациональной реакции над международною революцией. Военные люди, штабы всех стран приветствовали ее как интернациональное искупление военной чести. Известно, что офицеры прусских, австрийских, саксонских, ганноверских, баварских и других немецких войск тотчас же послали генералу Кавеньяку, временному правителю французской республики, поздравительный адрес, разумеется с разрешения начальства и с одобрения своих государей.

Победа Кавеньяка имела в самом деле громадное историческое значение. С нее начинается новая эпоха в интернациональной борьбе реакции с революцией. Восстание парижских работников, продолжавшееся четыре дня, от 23 до 26 июня, превзошло своею дикою энергией и ожесточением все народные бунты, которых Париж когда либо был свидетелем. С него собственно началась социальная революция, которой он был первым актом, а последнее, еще более отчаянное сопротивление парижской коммуны, вторым.

В июньских восстаниях в первый раз встретилась без масок, лицом к лицу, дикая народная сила, борющаяся уже не за других, а собственно за себя, никем не руководимая подымающаяся собственным движением для защиты своих священнейших интересов, и дикая военная сила, необузданная никакими соображениями уважения к требованиям цивилизации и человечности, общественной учтивости и гражданского права и в опьянении дикой борьбы, беспощадно все жгущая, режущая и уничтожающая,

Во всех предшествовавших революциях, в борьбе против народа, встречая против себя не только народные массы, но и почтенных граждан, стоящих в их главе, университетское и политехническое юношество и наконец, национальную гвардию большею частью состоящую из буржуа, войска как то скоро деморализировались и прежде чем были действительно разбиты, уступали и отступали или братались с народом. В самом пылу битвы, между борящимися сторонами существовал и соблюдался род договора, непозволявшего самым ярым страстям преступить известные границы, точно как будто обе стороны, по общему условию дрались тупым оружием. Ни со стороны народа, ни со стороны войска, никому в голову не приходило, что можно безнаказанно разрушать дома, улицы или резать десятки тысяч безоружных людей. Была общая фраза, беспрестанно повторяемая консервативною партиею, когда она отстаивала какую нибудь реакционную меру и хотела усыпить недоверие противной партии: „Власть, которая для одержания победы над народом, вздумала бы бомбардировать Париж, стала бы тотчас же невозможною“ *).

Такое ограничение в употреблении военной силы было чрезвычайно выгодно для революции, и об‘ясняет почему прежде народ большей частью выходил победителем Вот этим то легким победам народа над войском, генерал Кавеньяк захотел положить конец.

Когда его спросили, зачем он повел аттаку большою массою, так что непременно должен был истребить огромное количество инсургентов, он отвечал: „я не хотел, чтобы военное знамя было во второй раз обесчещено народною победою“. Руководимый этою, чисто военною, но за то совершенно противонародною мыслью, он первый возымел смелость употребить пушки для разрушения домов и целых улиц, занятых инсургентами. Наконец, на другой, третий и четвертый день после победы, несмотря на все свои трогательные прокламации к заблудшим братьям, которым он открывал свои братские об‘ятия, он допустил, чтобы войска вместе с раз‘яренною национальною гвардией, в продолжение трех дней сряду, вырезали и расстреляли без всякого

*) Эти слова были сказаны в палате депутатов Тьером, в 1840 г., когда будучи министром Людовика Филиппа, он внес в палату проэкт о фортификации Парижа. Тридцать один год спустя, Тьер, президент французской республики, бомбардировал Париж для усмирения Коммуны.

суда около десяти тысяч инсургентов, между которыми попалось разумеется много невинных.

Все это было сделано с двойною целью: омыть кровью бунтующих *военную честь* (!) и вместе с тем отнять у пролетариата охоту к революционным движениям, внушив ему должное уважение к превосходству военной силы и ужас перед ее беспощадностью.

Этой последней цели Кавеньяк не достиг. Мы видели, что июньский урок не помешал пролетариату Парижской Коммуны встать в свою очередь и, мы надеемся, что даже новый, еще несравненно более жестокий урок, данный Коммуне, не остановит и даже не задержит социальной революции, напротив, удесятерит энергию и страсть ее приверженцев и этим приблизит день ее торжества.

Но если Кавеньяку не удалось убить социальную революцию, он достиг другой цели: убил окончательно либерализм и буржуазную революционность, убил республику и на развалинах ее основал военную диктатуру.

Освободив военную силу от оков, наложенных на нее буржуазною цивилизацией, возвратив ей полноту ее естественной дикости и право, не останавливаясь ни перед чем, давать полную волю этой бесчеловечной и беспощадной дикости, он сделал отныне невозможным всякое буржуазное сопротивление. С тех пор как беспощадность и всеразрушение стало паролем военного действия, старая, классическая, невинная буржуазная революция, посредством уличных баррикад, стала детскою игрою. Чтобы с успехом бороться против военной силы, отныне не уважающей ничего и, притом, вооруженной самыми страшными орудиями разрушения и готовой всегда воспользоваться ими для уничтожения не только домов и улиц, но целых городов со всеми их жителями, чтобы бороться против такого дикого зверя, надо иметь другого не менее дикого, но более правого зверя: всенародный организованный бунт, социальную революцию, которая, также как и военная реакция, нечего не пожалеет и не остановится ни перед чем.

Кавеньяк, оказавший такую драгоценную услугу французской и вообще интернациональной реакции, был однако самым искренним республиканцем. Не замечательно ли, что республиканцу было суждено положить первое основание военной диктатуры в Европе, быть прямым предшественником Наполеона III и германского императора; точно также как другому республиканцу, его знаменитому предшествен-

нику, Робеспьеру, суждено было приготовить государственный деспотизм, олицетворившийся в Наполеоне I. Не доказывает ли это, что всепоглощающая и всеподавляющая военная дисциплина—идеал пангерманской империи есть необходимое последнее слово буржуазной государственной централизации, буржуазной цивилизации.

Как бы то ни было, немецкие офицеры, дворяне, бюрократы, правители и государи страшно возлюбили Кавеньяка и возбужденные его счастливым успехом, видимым образом ободрились и стали уже готовиться к новой битве.

Что же делали немецкие демократы? Поняли ли они, какая им грозила опасность, и что для предотвращения ее у них оставались только два единые средства: возбуждение революционной страсти в народе и организация народной силы? Нет, не поняли. Напротив, они, как будто нарочно, еще более углубились в парламентские прения и, повернувшись к народу спиною, предоставили его влиянию всевозможных агентов реакции.

Мудрено ли что народ к ним охладел совершенно, потерял к ним и к их делу всякое доверие, так что в ноябре когда прусский король вернул свою гвардию в Берлин, назначил первым министром генерала Бранденбурга с явною целью полнейшей реакции, декретировал распущение конституанты и даровал Пруссии свою собственную конституцию, разумеется совершенно реакционерную, те же самые берлинские работники, которые в марте так единодушно встали и так храбро дрались, что принудили гвардию удалиться из Берлина, теперь не пошевелились, даже не пикнули и равнодушно смотрели как:

„Демократов гнали солдаты“.

Этим собственно кончилась в действительности траги-комедия германской революции. Еще прежде, а именно в октябре, князь Виндишгрец восстановил порякок в Вене, правда, не без значительного кровопролития,—вообще австрийские революционеры оказались революционернее прусских.

Что же делало в это время национальное собрание во Франкфурте? В конце 1848 г. оно вотировало, наконец, *основные права* и новую пангерманскую конституцию и предложило прусскому королю императорскую корону. Но правительства австрийское, прусское, баварское, ганноверское и саксонское отвергли основные права и новоиспеченную конституцию, а прусский король отказался принять императорскую корону, и затем отозвал своих депутатов.

Реакция торжествовала в целой Германии. Революционная партия, взявшись поздно за ум, решилась организовать всеобщее восстание к весне 1849 г. В мае, потухающая революция бросила последнее пламя в Саксонию, в баварский Пфальц и в Баден. Это пламя было везде задушено прусскими солдатами, восстановившими, после недолгой борьбы, впрочем достаточно кровопролитной, старый порядок в целой Германии, причем принц прусский, нынешний император и король Вильгельм I, командовавший войсками в Бадене, не пропустил случая повесить нескольких бунтовщиков.

Таков был печальный конец единственной и надолго последней немецкой революции. Теперь спрашивается, что было главной причиной ее неудачи?

Помимо политической неопытности и практической неумелости, нередко присущей ученым, помимо положительного отсутствия революционной смелости и коренного отвращения немцев к революционным мерам и действиям и страстной любви к подчинению себя власти; наконец, помимо значительного недостатка инстинкта, страсти и смысла свободы, главною причиною неудачи было общее стремление всех немецких патриотов к образованию пангерманского государства.

Это стремление, вытекающее из глубины немецкой природы, делает немцев решительно неспособными к революции. Общество, желающее основать сильное государство, непременно хочет подчинить себя власти; революционное общество, напротив, хочет сбросить с себя власть. Как же примирить эти два противоположные и взаимно исключающие требования? Они непременно должны парализировать друг-друга, как и случилось с немцами, которые в 1848 г. не достигли ни свободы, ни сильного государства, напротив потерпели страшное поражение.

Оба стремления так противоречивы, что в дествительности в одно и тоже время не могут встретиться в одном и том же народе. Одно должно быть непременно призрачным стремлением, скрывающим за собою настоящее, как это и было в 1848 г. Мнимое стремление к свободе было самообольщение, обман; стремление же к основанию пангерманского государства было весьма серьезно. Это несомненно, по крайней мере, в отношении ко всему образованному немецкому обществу, не исключая огромнейшего большинства самых красных демократов и радикалов.

Можно думать, догадываться, надеяться, что в немецком пролетариате живет противосоциальный инстинкт, который быть может его сделает способным к завоеванию свободы, потому что он несет то же экономическое ярмо и которое также ненавидит как и пролетариат других стран, и потому что ни ему, ни другим нет возможности освободиться от экономического рабства, не разрушив много-вековую тюрьму, называемую государством. Возможно только предполагать и надеяться, ибо фактических доказательств на это нет, напротив, мы видели, что не только в 1848 г. но и в настоящее время немецкие работники слепо повинуются своим предводителям; тогда как предводители, организаторы *социально-демократической партии немецких работников* ведут их не к свободе и не к интернациональному братству, а прямо под ярмо пангерманского государства.

В 1848 г. немецкие радикалы, как мы заметили выше, нашлись в печальной траги-комической необходимости бунтовать против государственной власти, чтобы заставить ее сделаться сильнее и шире. Значит они не только не хотели ее разрушить, напротив, самым нежным образом пеклись о ее сохранении в то время, как боролись против нее. Значит вся действительность их была разбита и парализирована в своем существе. Действия власти не представляли такого противоречия. Она, нисколько не задумываясь, хотела задушить, во чтобы то ни стало, своих странных непрошенных и беспокойных друзей, демократов. Что радикалы думали не о свободе, а о создании империи, достаточно привести тот факт, что франкфуртское собрание, в котором уже торжествовали демократы, предложило императорскую корону Фридриху Вильгельму IV, 28 марта 1849 г., т. е. когда Фридрих совсем уничтожил все так называемые революционные приобретения или народные права, разогнал конституанту, избранную прямо народом и дал самую реакционную, самую презренную конституцию, когда он, полный гнева за претерпенные им и короною оскорбления, травил ненавистных ему демократов полицейскими солдатами.

Не могли же они быть до такой степени слепы, чтобы требовать от такого государя свободы! Чего же они надеялись и ожидали? *пангерманского государства*!

Король и этого не был в состоянии им дать. Феодальная партия, восторжествовавшая вместе с ним и снова захватившая государственную власть, крайне враждебно от-

носилась к идее единства. Она ненавидела германский патриотизм, как крамольный, и знала только свой прусский патриотизм. Все войско, все офицеры и все кадеты в военных школах пели тогда с неистовством, известную прусско-патриотическую песнь:

„Я пруссак, знаешь ли мое знамя".

Фридриху хотелось быть императором, но он боялся своих, боялся Австрии, Франции, а главным образом императора Николая. В ответ польской депутации, приходившей требовать свободы для познанского герцогства в марте 1848 г., он сказал: „я не могу согласиться на вашу просьбу, потому что это было бы противно желанию моего зятя, императора Николая, который настоящий великий человек! Когда он говорит—да, то и бывает да, когда говорит нет, то—нет".

Король знал, что Николай никогда не согласится на императорскую корону, поэтому и особенно поэтому он на отрез отказался принять ее от франкфуртской депутации.

А между тем ему необходимо было что нибудь сделать, в смысле германского единства и прусской гегемонии, хотя только для того, чтобы выручить свою честь, компрометированную его мартовским манифестом. Для этого Фридрих, пользуясь лаврами, пожатыми прусскими войсками, при усмирении демократов Германии, и внутренними затруднениями Австрии, недовольной его успехами в Германии, сделал попытку основать союз в мае 1849 г. между Пруссией, Саксонией и Ганновером, клонившийся к сосредоточиванию в руках первой всех дипломатических и военных дел, но союз продолжался не долго. Лишь только Австрия с помощью русского войска усмирила Венгрию (в сентябре 1849 г.), как Шварценберг грозно потребовал от Пруссии, чтобы все в Германии было возвращено к старому до мартовскому порядку, словом, чтобы был восстановлен германский союз столь удобный для преобладания Австрии. Саксония и Ганновер тотчас же отстали от Пруссии и присоединились к Австрии; Бавария последовала их примеру; а воинственный вюртембергский король об'явил во всеуслышание, что „куда ему прикажет идти с своим войском австрийский император, туда он и пойдет".

Таким образом несчастная Пруссия очутилась в полнейшем уединении. Что было ей делать? Согласиться на требование Австрии казалось для тщеславного, но слабого короля невозможным; поэтому он назначил своего друга,

генерала Радовица, первым министром и приказал своим войскам двинуться. Чуть было не дошло до драки. Но император Николай крикнул немцам „остановитесь“ прискакал в Ольмюц (ноябрь 1850 г.) на конференцию и произнес приговор. Униженный король покорился, Австрия торжествовала и, в прежнем союзном дворце во Франкфурте (в мае 1851 г.), после трехлетнего затмения, открылся вновь *германский союз.*

Революции как бы не было. Единственный след ее— ужасная реакция, долженствующая служит спасительным уроком немцам: кто хочет не свободы, а государства, тот не должен играть в революцию.

Кризисом 1848 и 1849 г. кончается собственно история германского либерализма. Он доказал немцам, что они не только не в состоянии завоевать свободы, но даже и не хотят ее; доказал, кроме того, что без инициативы прусской монархии они не в состоянии достигнуть даже своей настоящей и серьезной цели, не в силах создать единого и могучего государства. Последовавшая реакция отличается от таковой 1812 и 1813 г. тем, что, несмотря на всю горечь и тягость последней, немцы посреди ее сохранили и могли сохранить заблуждение, что они любят свободу и что, если бы им не помешала сила соединенных правительств, далеко превосходившая их крамольную силу, они с‘умели бы создать вольную и единую Германию. Теперь такое утешительное самообольщение невозможно. В продолжение первых месяцев революции решительно не существовало такой правительственной силы в Германии, которая могла бы им воспротивиться, если бы они хотели что либо сделать, впоследствии же они, более чем кто другой, способствовали восстановлению такой силы. Значит нулевой результат революции произошел не от внешних препятствий, а только от собственной несостоятельности немецких либералов и патриотов.

Чувство этой несостоятельности стало как бы основанием политической жизни и руководителем нового общественного мнения Германии. Немцы, повидимому, изменились и стали практическими людьми. Отказавшись от широких абстрактных идей, составлявших все мировое значение их классической литературы, от Лессинга до Гете и от Канта до Гегеля включительно; отказавшись и от французского либерализма, демократизма и республиканизма, они стали отныне искать исполнения германских судеб в завоевательной политике Пруссии.

Надо прибавить к их чести, что обращение совершилось не вдруг. Последние двадцать четыре года, от 1849 г. по настоящее время, которые для краткости включили мы в один пятый период, должны быть разделены по настоящему на четыре периода:

Период безнадежного покорения, от 1849 до 1858 г., т. е. до начала регентства в Пруссии.

Период от 1858 до 1866 г., период последней предсмертной борьбы издыхающего либерализма против прусского абсолютизма.

Период от 1866 до 1870 г., капитуляция побежденного либерализма.

Период от 1870 г. до настоящего времени, торжество победоносного рабства.

В *пятом периоде* внутреннее и внешнее унижение Германии дошло до крайней степени. Внутри молчание рабов: в южной Германии австрийский министр, наследник Меттерниха, командовал безусловно; в северной Мантейфель, унизивший прусскую монархию донельзя на конференции в Ольмюце (1850) в угоду Австрии и к вящему удовольствию прусской придворной, дворянской и военно-бюрократической партии, травил уцелевших демократов. Значит в отношении к свободе нуль, а в отношении к внешнему достоинству, весу, значению Германии, как государства, еще менее нуля. Шлезвиг-гольштинский вопрос, в котором немцы всех стран и всех партий, кроме придворной, военной, бюрократической и дворянской, с самого 1847 г. не переставали заявлять самые буйные страсти, благодаря русскому вмешательству, был порешен окончательно в пользу Дании. Во всех других вопросах голос соединенной Германии, вернее раз'единенной *германским союзом*, даже не принимался в соображение другими державами. Пруссия, более чем когда нибудь, стала рабою России. Несчастный Фридрих, прежде ненавидевший Николая, теперь только им и клялся. Преданность интересам петербургского двора простиралась до того, что прусский военный министр и прусский посланник при английском дворе, друг короля, были сменены оба за выражение симпатии к западным державам.

Известна история *„неблагодарности“* князя Шварценберга и Австрии, так глубоко поразившая и оскорбившая Николая. Австрия, по своим интересам на востоке естественный враг России, открыто приняла сторону Англии и

Франции против нее, Пруссия же к великому негодованию целой Германии оставалась верна до конца.

Шестой период начинается регентством нынешнего короля императора Вильгельма I. Фридрих окончательно сошел с ума и его брат Вильгельм, ненавистный для целой Германии под именем прусского принца, в 1858 г. сделался регентом, а в январе 1861 г., по смерти старшего брата, королем Пруссии. Замечательно, у этого короля—фельдфебеля и пресловутого вешателя демократов был также свой медовый месяц народо-угодливого либерализма. Вступая в регентство, он произнес речь, в которой высказал твердое намерение поднять Пруссию, а чрез нее и всю Германию на подобающую высоту, уважая при этом границы, положенные конституционным актом королевской власти *) и опираясь всегда на народные стремления, выражаемые парламентом.

Сообразно такому обещанию, первым делом его управления было распущение министерства Мантейфеля, одного из самых реакционных, когда либо управлявших Пруссиею и бывшим как бы олицетворением ее политического поражения и уничтожения.

Мантейфель стал первым министром в ноябре 1850 г., как будто для того, чтобы подписать все условия ольмюцкой конференции крайне унизительные для Пруссии и окончательно подчинить ее и всю Германию австрийской гегемонии. Такова была воля Николая, таково было страстно дерзкое

*) Это уважение, казалось, должно бы быть ему тем легче, что октроированная, т. е. королевскою милостью дарованная конституция собственно ни в чем не ограничивала королевской власти, исключая одного пункта—права заключать новые займы или декретировать новые налоги без согласия представительства; для взимания налогов, уже раз получивших парламентское согласие, не требовалось новой парламентской вотировки, ибо парламент лишен права их отменять. Это именно нововведение и превратило весь германский конституционизм и парламентаризм в совершенно пустую игру. В других странах, в Англии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Швеции, Дании, Голландии и т. д. парламенты, сохраняя существенное и единственное действительное право отказывать правительству в податях, могут, если захотят, сделать всякое правительство невозможным, вследствии чего получают значительный вес в делах управления. Октроированная конституция, отняв это право у прусского парламента, предоставила ему право отказа в установлении новых налогов и в заключении новых займов. Но мы сейчас увидим как, спустя три года после обещания свято блюсти права парламента, Вильгельм I нашел себя вынужденным нарушить его.

стремление князя Шварценберга, таковы также были стремления и воля огромнейшего большинства прусского юнкерства или дворянства, не хотевшего и слышать о слиянии Пруссии с Германией и преданного австрийскому и всероссийскому императорам, чуть ли даже не больше, чем своему собственному королю, которому повиновались по долгу, но не из любви. В продолжение целых восьми лет Мантейфель управлял Пруссией в этом направлении и духе, унижая ее перед Австрией, при всяком удобном случае, и вместе с тем преследуя немилосердно и беспощадно в ней и во всей Германии все, напоминавшее либерализм или народное движение и право.

Это ненавистное министерство было заменено либеральным князя Гогенцоллерн-Сигмаринга, с первого дня заявившего намерение регента восстановить честь и независимость Пруссии в отношении к Вене, а также и утраченное влияние на Германию.

Несколько слов и шагов в этом направлении было достаточно, чтобы привести в восторг всех немцев. Забыты были все недавние обиды, жестокости и преступления; вешатель демократов, регент, а затем король, Вильгельм I, вчера ненавидимый и проклинаемый, превратился вдруг в любимца, героя и единственную надежду. В подтверждение приведем слова известного Якоби, произнесенные им пред кенигсбергскими избирателями (11 ноября 1858 г.).

„Истинно мужеское, и сообразное с конституцией, обращение принца, при вступлении его в регенство, исполнило новою верою и новыми надеждами сердце всех пруссаков и всех немцев. С необычайною живостью все стремятся к избирательным урнам“.

В 1861 г. тот же Якоби писал следующее: Когда принц регент, по собственному решению, взял в свои руки управление страною, все ожидали, *что Пруссия беспрепятственно пойдет вперед к предположенной цели.* Ожидали, что люди, которым было регентом вверено управление страною, прежде всего уничтожать все зло, совершенное правительством в последние десять лет; положат конец чиновничьему произволу, чтобы поднять и оживить общий патриотический дух, свободное самосознание граждан.

„Исполнимы ли эти надежды? Всеобщий голос во всеуслышание отвечает: *В эти два года Пруссия не подвинулась ни на шаг и также далека, как и прежде, от исполнения своего исторического назначения*“.

Почтенный доктор Якоби, последний верующий представитель германского политического демократизма, без сомнения умрет, верный своей программе, расширившийся в последние годы до весьма нешироких пределов программы немецких социальных демократов. Идеал его — образование пангерманского государства путем обще-народной свободы— утопия, нелепость. Мы уже говорили об этом. Огромное большинство немецких патриотов, после 1848 и 1849 годов, пришло к убеждению, что основание пангерманского могущества возможно только путем пушек и штыков и поэтому Германия ждала спасения от воинственно-монархической Пруссии.

В 1858 г. вся национально-либеральная партия, пользуясь первыми симптомами изменения правительственной политики, перешла на ее сторону. Бывшая демократическая партия распалась: огромнейшая часть ее образовала новую партию „*партию прогрессистов*“, остальная продолжала называться демократическою. Первая с самого начала горела желанием соединиться с правительством, но желая сохранить свою честь, умоляла его дать ей приличный предлог для такого перехода, требовала хотя внешнего уважения конституции. Она кокетничала и пикировалась с ним до 1866 г. а затем, побежденная блеском побед против Дании и Австрии, безусловно сдалась правительству. Демократическая партия сделала в 1870 г. то же самое.

Якоби не последовал и никогда не последует общему примеру. Демократические принципы составляют его жизнь. Он ненавидит насилие и не верит, чтобы путем его можно создать могучее Германское государство, поэтому он остался врагом, правда одиноким и бессильным, нынешней прусской политики. Бессилие его, главным образом, происходит от того, что, будучи государственником с ног до головы, он искренно мечтает о свободе и в то же время желает единого пангерманского государства.

Нынешний германский император Вильгельм I не страдает противоречиями, и подобно незабвенному Николаю I, создан как бы из одного куска металла, словом, целый человек, хотя и ограниченный. Он, да нецарствующий граф Шамбор, едва ли ни одни верящие в свое богопомазание, божественное призвание и право. Он верующий король-солдат, подобно Николаю, выше всех принципов ставит принцип легитимизма, т. е. наследственное государственное право. Последнее для его совести и ума было серьезным

затруднением для соединения Германии, потому что нужно было столкнуть с престолов множество законных государей; но в государственном кодексе есть другое начало—*священное право завоевания*—разрешившее вопрос. Государь, верный монархическим обязанностям, ни за что в мире не согласился занять престола, который предлагается ему бунтующим народом и который освобожден им от законного государя; но он сочтет себя в праве *завоевать* этот народ и престол лишь бы бог благословил его оружие и лишь бы был удобный повод для об'явления войны. Это начало и основанное на нем право всегда признавалось и признается до сих пор всеми государями.

Вильгельму I необходимо было иметь следовательно министра, способного создавать *законные* поводы и средства для расширения государства путем войн. Таким человеком был Бисмарк, которого Вильгельм вполне оценил и назначил своим министром в октябре 1862 г.

Князь Бисмарк ныне самый могущественный человек в Европе. Это чистейший тип померанского дворянина с дон-кихотскою преданностью королевскому дому, с обычною военно-сухою наружностью, с дерзким, сухо учтивым, большею частью презрительно-насмешливым обращением с бюргерами политиками-либералами. Он не сердится, что его называют „юнкером“, т. е. дворянином, но обыкновенно отвечает противникам: *„будьте уверены, что мы сумеем поднять честь юнкерства“*. Как человек чрезвычайно умный, он совершенно свободен как от юнкерских, так и от всяких других предразсудков.

Мы назвали Бисмарка прямым политиком Фридриха II. Первый, как и последний, прежде всего верит в силу, а потом в ум, располагающий ею и нередко удесятеряющий ее. Будучи вполне государственным человеком, он как и Фридрих Великий, не верит ни в бога, ни в чорта, ни в человечество, ни даже в дворянство, — все это для него только средства. Для достижения государственной цели он не останавливается ни перед божескими, ни перед человеческими законами. В политике он не признает нравственности; подлость и преступление только тогда безнравственны, когда они не увенчались успехом. Более Фридриха холодный и бесстрастный, он бесцеремонен и дерзок, как он. Дворянин, выдвинувшийся благодаря дворянской партии, он душит ее систематически в виду государственной пользы, мало того, ругается над ней также, как прежде ругался

над либералами, прогрессистами, демократами. В сущности, он ругается над всем и всеми, исключая, императора, без расположения которого он не мог бы ничего предпринять и сделать. Хотя быть может втайне, с своими друзьями, если таковые есть, он ругается и над ним.

Чтобы вполне оценить все сделанное Бисмарком, надо вспомнить кем он окружен *). Король, человек недалекий, богословско-фельдфебельского воспитания, окружен аристократически клерикальною партиею, прямо враждебною Бисмарку, так что последний каждую новую меру, каждый новый шаг берет с бою. Такая домашняя борьба отнимает у него по крайней мере половину времени, ума, энергии и конечно страшно задерживает, мешает, парализует его деятельность, что отчасти хорошо для него, ибо не дает ему возможности зарваться в предприятиях, как зарвался знаменитейший самодур Наполеон I, бывший не глупее Бисмарка.

Публичная деятельность Бисмарка началась в 1847 г., когда он явился главою самой крайней дворянской партии в соединенном представительном собрании. В 1848 г. он был от'явленным врагом франкфуртского парламента и обще-германской конституции и страстным союзником России и Австрии, т. е. внутренней и внешней реакции. В таком духе он принимал самое деятельное участие в ультра-реак-

---

*) Вот анекдот, почерпнутый нами из верного и прямого источника и характеризующий Бисмарка. Кто не слыхал о Шурце, одном из самых красных немецких революционеров 1848 г. и освободителе из крепости псевдо революционера Кинкеля. Шурц, приняв последнего за серьезного революционера, хотя он в сущности в политике не стоит гроша, с опасностью для собственной свободы, победив смело и остроумно огромные затруднения, освободил его, а сам бежал в Америку. Так человек умный, способный, энергичный, что уважается в Америке, он скоро сделался там главою немецкой многомиллионной партии. Во время последней войны, он в северной армии дослужился до генерала (раньше он был уже выбран сенатором). После войны Соединенные Штаты послали его чрезвычайным послом в Испанию. Он воспользовался этим и посетил южную Германию, но не Пруссию, где висел над ним смертный приговор за освобождение Кинкеля. Когда Бисмарк узнал о пребывании его в Германии и желая расположить к себе такого влиятельного человека между немцами Америки, пригласил его в Берлин, причем велел ему передать: „для людей, как Шурц законы не писаны“. По приезде Шурца в Берлин, Бисмарк дал ему обед, на который пригласил всех товарищей министров. После обеда, когда все удалились и Шурц остался один с Бисмарком для интимного разговора, последний ему сказал: „Вы видели и слышали моих товарищей; с такими то ослами мне суждено управлять и создавать Германию“.

ционном листке „Kreuzzeitung“, основанном в этом году и существующим поныне. Разумеется, он был горячим защитником министерств Бранденбурга и Мантейфеля, следовательно резолюций конференции в Ольмюце. С 1851 г. он был посланником при германском союзе во Франкфурте. В это то время он коренным образом изменил свое отношение к Австрии. „У меня, как повязка упала с глаз, когда я присмотрелся к ее политике“, говорил он своим друзьям. Тут только он понял, как Австрия враждебна Пруссии и из горячего защитника сделался ее непримиримым врагом. С этого момента, уничтожение всякого влияния Австрии на Германию и исключение ее из последней стало постоянною и любимою его мыслью.

При этих условиях он встретился с прусским принцом Вильгельмом, который после конференции в Ольмюце возненавидел Австрию также, как революцию. Лишь только Вильгельм стал регентом, он тотчас обратил внимание на Бисмарка и сначала назначил его послом в Россию, потом во Францию и наконец, своим первым министром.

Во время посольства Бисмарк довел свою программу до зрелости. В Париже он взял несколько драгоценных уроков в государственном мошенничестве у самого Наполеона III, который, видя ревностного и способного слушателя, открыл свою душу и сделал несколько прозрачных намеков о *необходимой* переделке карты Европы, требуя для себя рейнской границы и Бельгии, а остальную Германию предоставлял Пруссии. Результаты этих переговоров известны: ученик провел учителя.

При вступлении в министерство Бисмарк сказал речь, в которой изложил свою программу: „Границы Пруссии тесны и неудобны для первоклассного государства. Для завоевания новых границ необходимо расширить и усовершенствовать военную организацию. Нужно приготовиться к предстоящей борьбе, а в ожидании этого собирать и умножать свои силы. Вся ошибка в 1848 г. состояла в том, что хотели соединить Германию в одно государство путем народных учреждений. Великие государственные вопросы решаются не правом, а силою, сила всегда предшествует праву“.

За последнее выражение не мало доставалось Бисмарку от либералов Германии с 1862 по 1866 г. С 1866 г., т. е. после побед над Австриею и в особенности после 1870 г., т. е. поражения Франции, все эти упреки обратились в восторженные дифирамбы.

Бисмарк, с обычною смелостью, свойственною ему циничностью и презрительною откровенностью, в этих словах высказал всю суть политической истории народов, всю тайну государственной мудрости. Постоянное преобладание и торжество силы—вот настоящая суть; все же, что на политическом языке называется правом, есть только освящение факта, созданного силою. Ясно, народные массы, жаждущие освобождения, не могут ожидать его от теоретического торжества отвлеченного права, они должны силою завоевать свободу, для чего должны организировать, вне государства и против него, свои стихийные силы.

Немцы, как мы уже говорили, хотели не свободы, а сильного государства; Бисмарк понимал это и с прусскою бюрократией и военной силой чувствовал себя способным достичь этого, поэтому он смело и твердо пошел к цели, не обращая внимания ни на какие права, ни на жестокую полемику и нападения на него либералов и демократов. Он, вопреки предшествовавшим правителям верил, что и те и другие, по достижении цели. будут его страстными союзники.

Король-фельдфебель и Бисмарк-политик желали усиления войска, для чего нужны новые налоги и займы. Палата народных представителей, от которой зависело утверждение новых налогов и займов отказывала в этом постоянно, вследствие чего ее несколько раз распускали. В другой стране такое столкновение могло бы вызвать политическую революцию, в Пруссии же нет, и Бисмарк это понимал, а поэтому, не смотря на отказы, он брал нужные суммы везде, где мог, путем займов и налогов. Палата же со своими отказами обратилась в посмешище если не Германии, то Европы.

Бисмарк не ошибся. Достигнув цели, он стал идолом и либералов и демократов.

Никогда и ни в какой стране, быть может, не было такого быстрого и такого полного переворота в направлении умов, какое обнаружилось в Германии между 1864, 1866 и 1870 годами. До самой австро-прусской войны с Данией, Бисмарк был самым непопулярным человеком в Германии. Во время этой войны, и особенно по окончании ее, он обнаружил самое глубокое презрение ко всем правам народным и государственным. Известно, как бесцеремонно Пруссия и увлеченная ею глупая Австрия выгнали из Шлезвига и Голштейна саксонско-ганноверский корпус, занимавший эти

15*

провинции по приказанию германского союза; как нагло Бисмарк делил с обманутою им Австриею завоеванные провинции и как кончил об'явлением всех их исключительною добычею Пруссии.

Можно предположить, что такое поведение возбудит сильное негодование всех *честных свободолюбивых и справедливых* немцев. Напротив, именно с этого момента начала рости популярность Бисмарка,—немцы почувствовали над собою государственно-патриотический разум и сильную правительственную власть. Война 1866 года только усилила значение его. Быстрый поход в Богемию, напоминавший походы Наполеона I, ряд блестящих побед, низложивших Австрию, триумфальное шествие по Германии, разграбление неприятельских местностей, об'явление Ганновера, Гессен-Касселя и Франкфурта военною добычею, образование северо-германского союза под покровительством будущего императора—факты, приведшие в восторг немцев. Вожди прусской оппозиции, Вирховы, Шульце-Деличи и т. д. вдруг замолкли, об'явив себя нравственно побежденными. Осталась в оппозиции самая небольшая группа с благородным старцем Якоби во главе и которая примкнула к „*народной партии*", образовавшейся на юге Германии после 1866 года.

По договору, заключенному победоносной Пруссией с уничтоженной Австрией, старый германский союз уничтожен, на место его образовался *северный германский* союз под предводительством Пруссии; Австрии же, Баварии, Виртембергу и Бадену предоставлено образовать южный союз.

Барон Бейст, австрийский министр, назначенный после войны, понимая важное значение образования такого союза, устремил все свои усилия на это, но внутренние неразрешимые вопросы и громадные препятствия со стороны именно тех держав, для которых был важен союз, помешали ему. Бисмарк надул всех: и Россию и Францию, и немецких государей, для которых было важно образование союза, который бы не допустил Пруссию до ее настоящего положения.

Образовавшаяся в это время из южно-германской буржуазии „*народная партия*", исключительно с целью оппозиции Бисмарку, имела программу в сущности одинаковую с Бейстом.

Центр „*народной партии*" был Штутгард. Кроме союза

с Австрией она имела много других оттенков: так в Баварии кокетничала с ультра-католиками, т. е. иезуитами, желала союза с Францией, союза с Швейцарией. Группа, желавшая союза с республиканской Швейцарией была главной основательницей *„Лиги Мира и Свободы“*,

Вообще программа ее была невинна и полна противоречий. Демократические народные учреждения фантастически связывались с монархическою формою правления, независимость государей с пангерманским единством, а последнее с обще-европейскою республиканскою федерациею. Словом, почти все должно остаться по старому и все должно исполниться новым духом, главное иметь филантропический характер; свобода и равенство должны процветать при условиях их уничтожающих. Такую программу могли сочинить только чувствительные бюргеры южной Германии которые отличались сначала систематическим игнорированием, а потом страстным отрицанием современных социалистических стремлений, как показал конгрес Лиги Мира в 1868 г.

Ясно, *„народная партия“* должна была встать во враждебные отношения к рабочей партии социал-демократов, созданной в шестидесятых годах Фердинандом Лассалем.

Мы еще будем иметь случай рассказать подробно о развитии рабочих ассоциаций в Германии и, вообще, в Европе. Теперь же заметим, что в конце последнего десятилетия, а именно в 1869 г. рабочая масса в Германии разделялась на три категории: первая, самая многочисленная, оставалась вне всякой организации. Вторая также довольно многочисленная, состояла из так называемых *„обществ для образования рабочих“* (arbeiterdungsverein), и наконец третья наименее многочисленная, но за то самая энергическая и самая осмысленная образовала фалангу лассальянских рабочих, под именем *„всеобщей партии немецких рабочих“* (der deutsche allgemeine atbeiter Verein).

О первой категории говорить нечего. Вторая представляла род федерации маленьких рабочих ассоциаций, под непосредственным руководством Шульце-Делича и ему подобных буржуазных социалистов.

„Самопомощь“ (Selbsthülfe)—ее лозунг в том смысле, что чернорабочему люду рекомендовалось настойчиво не ожидать для себя ни спасения, ни помощи от государства и правительства, а только от своей собственной энергии. Совет был прекрасный, если бы к нему не было присоеди-

нено ложное уверение, что при *настоящих условиях общественной организации*, при существовании *экономической монополии*, заедающей рабочие массы и *политического государства*, охраняющего эти монополии против народного бунта, для чернорабочего люда возможно освобождение. Вследствие такого заблуждения, а со стороны буржуазных социалистов и вожаков этой партии, вполне сознательного обмана, работники, подчиненные их влиянию, должны были систематически устраняться от всех политическо-социальных забот и вопросов о государстве, о собственности и т. д. и, приняв за точку отправления рациональность и законность настоящего строя общества, искать своего улучшения и облегчения посредством устройства кооперативных потребительных, кредитных и производительных товариществ. Для политического же образования, Шульце-Делич рекомендовал работникам полную программу партии прогресса, к которой принадлежал сам вместе с товарищами.

В экономическом отношении, как теперь ясно для всех система Шульце-Делича клонилась прямо к охранению буржуазного мира против социальной грозы; в политическом же, она подчиняла окончательно пролетариат эксплоатирующей его буржуазии, у которой он должен оставаться послушным и глупым орудием.

Против такого грубого, двойного обмана восстал Фердинанд Лассаль. Ему было легко разбить экономическую систему Шульце-Делича, и показать все ничтожество его политической системы. Никто, кроме Лассаля, не умел об'яснить и доказать так убедительно немецким работникам, что при настоящих экономических условиях положение пролетариата не только не может улучшиться, напротив, в силу неотвратимого экономического закона, должно и будет каждый год ухудшаться, не смотря на все кооперативные попытки, могущие принести кратковременную, скоропреходящую пользу разве только самому малому числу работников.

Разбивая политическую программу, он доказал, что вся эта мнимо-народная политика клонится лишь к укреплению буржуазно-экономических привилегий.

До сих пор мы с Лассалем согласны. Но вот где расходимся с ним и вообще со всеми демократами-социалистами или коммунистами Германии. В противность Шульце-Деличу, рекомендовавшему работникам искать спасения только в собственной энергии и ничего не требовать и не ждать от государства, Лассаль, доказав им во первых, что

при настоящих экономических условиях не только их освобожденпе, но даже малейшее облегчение их участи невозможно, ухудшение же ее необходпмо, и во вторых, что пока существует буржуазное государство, буржуазные экономпческпе привилегии остаются неприступны,—пришел к следующему заключению: чтобы достигнуть свободы действительной, свободы, основанной на экономическом равенстве, *пролетариат должен овладеть государством.* и обратить государственную силу против буржуазии в пользу рабочей массы, точно также как теперь она обращена против пролетариата в единую пользу эксплоатирующего класса,

Как же овладеть государством?—Для этого есть только два средства; или политическая революция, или законная народная агитация в пользу мирной реформы. Лассаль, как немец, как еврей, как ученый и как человек богатый, советовал второй путь.

В этом смысле и с этою целью, он образовал значительную, преимущественно политическую партию немецких рабочих, организовал ее иерархически, подчинив строгой дисциплине и своей диктатуре, словом сделал то, что г. Маркс в последние три года хотел сделать в Интернационале. Попытка Маркса вышла неудачна, а попытка Лассаля имела полный успех. Прямою и ближайшею целью партии он поставил всенародную мирную агитацию для завоевания всеобщего права избпрательства государственных представителей и властей.

Завоевав это право путем легальной реформы, народ должен будет послать только своих представителей в народный парламент, который рядом декретов и законов обратит буржуазное государство в народное. Первым делом народного государства будет открытие безграничного кредита производительным и потребительным рабочим ассоциациям, которые только тогда будут в состоянии бороться с буржуазным капиталом и в непродолжительное время победят и поглотят его. Когда процесс поглощения совершиться, тогда настанет период радикального преобразования общества.

Такова программа Лассаля, такова же и программа социально-демократической партии. Собственно она принадлежит не Лассалю, а Марксу, который ее вполне высказал в известном „*Манифесте Коммунистической Партии*", обнародованном им и Энгельсом в 1848 г. Ясный намек

находится на нее также в первом ***Манифесте Международного Общества***", **написанного Марксом в 1864 г. в словах:** ***„первый долг рабочего класса заключается в завоевании себе политического могущества***" **или как говорится в Ман. Комм.** ***„первый шаг к революции рабочих должен состоять в возвышении пролетариата на степень господствующего сословия. Пролетариат должен сосредоточить все орудия производства в руках государства*** т. е. ***пролетариата, возведенного на степень господствующего сословия***

Не ясно ли, что программа Лассаля ничем не отличается от програмы Маркса, которого она признавала за своего учителя. В брошюре против Шульца-Делича Лассаль с истинно-гениальною ясностью, характеризующей его сочинения, изложив свои основные понятия о социально-политическом развитии новейшего общества, говорит прямо, что эти идеи и даже терминология принадлежат не ему, а г. Марксу, впервые высказавшему и развившему их в своем замечательном еще неизданном сочинении.

Тем страннее кажется протест г. Маркса, напечатанный *после смерти* Лассаля во введении к сочинению о „Капитале". Маркс горько жалуется, что его обокрал Лассаль, присвоив его идеи. Протест чрезвычайно странный со стороны коммуниста, проповедывающего коллективную собственность и не понимающего, что идея, раз высказанная перестает быть собственностью лица. Другое дело, если бы Лассаль переписал одну или несколько страниц—это было бы воровство и доказательство умственной несостоятельности писателя, немогущего переварить запмствованных идей и воспроизвести собственною умственною работою в самостоятельной форме. Так поступают только люди, лишенные умственных способностей и тщеславно-бесчестные, вороны в павлиньих перьях.

Лассаль был слишком умен и самостоятелен, чтобы ему была нужда прибегать к таким жалким средствам для обращения на себя внимания публики. Он был тщеславен, очень тщеславен, как и подобает еврею, но в то же время он был одарен такими блестящими способностями, что без труда мог удовлетворять требованиям самого изысканного тщеславия. Он был умен, учен, богат ловок и чрезвычайно смел; был в высшей степени одарен диалектикою, даром слова, ясностью понимания и изложения. В противоположность своему учителю, Марксу, который силен в теории, в закулисной или подземной интриге и, напротив, теряет

всякое значение и силу на поприще публичном, Лассаль был, как бы нарочно, создан для открытой борьбы на практическом поле. Диалектическая ловкость и сила логики, возбуждаемые самолюбием, разгоряченном борьбою, заменяло в нем силу страстных убеждений. Он чрезвычайно сильно действовал на пролетариат, но далеко не был человеком народным.

Всею жизнью, обстановкою, привычками, вкусами он принадлежал к высшему буржуазному классу, к так называемой золотой или желтоперчатной молодежи. Конечно, он возвышался над нею головою, царил умом и, благодаря этому уму встал во главе немецкого пролетариата. В течение нескольких лет он достиг громадной популярности. Вся либеральная и демократическая буржуазия глубоко его возненавидела; товарищи—единомышленники, социалисты, марксисты и сам учитель, Маркс, сосредоточили против него всю силу своей недоброжелательной зависти. Да они ненавидели его также глубоко; как и буржуазия; пока он был жив, они не смели высказать ему своей ненависти, потому что он был для них слишком силен.

Мы уже несколько раз высказывали глубокое отвращение к теории Лассаля и Маркса, рекомендующей работникам, если не последний идеал, то, по крайней мере как, ближайшую главную цель—*основание народного государства*, которое, по их об'яснению будет ничто иное как „пролетариат, возведенный на степень господствующего сословия“.

Спрашивается, если пролетариат будет господствующим сословием, то над кем он будет господствовать? Значит останется еще другой пролетариат, который будет подчинен этому новому господству, новому государству. Напр. хотя бы крестьянская чернь, как известно непользующаяся благорасположением марксистов и которая, находясь на нисшей степени культуры, будет вероятно управляться городским и фабричным пролетариатом; или если взглянуть с национальной точки зрения на этот вопрос, то, положим для немцев славяне, по той же причине, станут к победоносному немецкому пролетариату в такое же рабское подчинение, в каком последний находится по отношению к своей буржуазии.

Если есть государство, то непременно есть господство, следовательно и рабство; государство без рабства, открытого или маскированного, немыслимо,—вот почему мы враги государства.

Что значит, пролетариат, возведенный в господствующее сословие? Неужели весь пролетариат будет стоять во главе управления? Немцев считают около сорока миллионов. Неужели же все сорок миллионов будут членами правительства? Весь народ будет управляющим, а управляемых не будет. Тогда не будет правительства, не будет государства, а если будет государство, то будут и управляемые, будут рабы.

Эта дилемма в теории марксистов решается просто. Под управлением народным они разумеют управление народа посредством небольшого числа представителей, избранных народом. Всеобщее и поголовное право избирательства целым народом так называемых народных представителей и правителей государства—вот последнее слово марксистов, также как и демократической школы, — ложь, за которою кроется деспотизм управляющего меньшинства, тем более опасная, что она является как выражение мнимой народной воли.

Итак, с какой точки зрения не смотри на этот вопрос, все приходишь к тому же самому печальному результату к управлению огромного большинства народных масс привилегированным меньшинством. Но это меньшинство, говорят марксисты, будет состоять из работников. Да пожалуй, из *бывших* работников, но которые лишь только сделаются правителями или представителями народа, перестанут быть работниками и станут смотреть на весь чернорабочий мир с высоты государственной; будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом. Кто может усомниться в этом, тот совсем не знаком с природою человека.

Но эти избранные будут горячо убежденные и к тому же ученые социалисты.—Слова *„ученый социалист“*, *„научный социализм“*, которые беспрестанно встречаются в сочинениях и речах лассальянцев и марксистов, сами собою доказывают, что мнимое народное государство будет ничто иное, как весьма деспотическое управление народных масс новою и весьма немногочисленною аристократиею действительных или мнимых ученых. Народ неучен, значит он целиком будет освобожден от забот управления, целиком будет включен в управляемое стадо. Хорошо освобождение.

Марксисты чувствуют это противоречие и, сознавая, что управление ученых самое тяжелое, обидное и презрительное в мире, будет, несмотря на все демократические

формы, настоящею диктатурою, утешают мыслью, что эта диктатура будет временная и короткая. Они говорят, что единственною заботою и целью ее будет образовать и поднять народ как экономически, так и политически до такой степени, что всякое управление сделается скоро ненужным, и государство, утратив весь политический, т. е. господствующий характер, обратится само собою в совершенно свободную организацию экономических интересов и общин.

Тут явное противоречие. Если их государство будет действительно народное, то зачем ему упраздняться, если же его управление необходимо для действительного освобождения народа, то как же они смеют его называть народным? Своею полемикою против них мы довели их до сознания, что свобода или анархия, т. е. вольная организация рабочих масс снизу вверх, есть окончательная цель общественного развития, и что всякое государство, не исключая и их народного, есть ярмо, значит с одной стороны порождает деспотизм, а с другой рабство.

Они говорят, что такое государственное ярмо-диктатура есть необходимое переходное средство для достижения полнейшего нородного освобождения: анархия или свобода—цель, государство или диктатура — средство. И так для освобождения народных масс надо их сперва поработить.

На этом противоречии пока остановилась наша полемика. Они утверждают, что только диктатура, конечно их, может создать народную волю, мы отвечаем: никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечения себя, и что она способна породить, воспитать в народе, сносящем ее, только рабство; свобода может быть создана только свободою, т. е. всенародным бунтом и вольною организацией рабочих масс снизу вверх.

Позднее, мы подробнее и ближе разберем этот вопрос, на котором вертится весь интерес современной истории. Теперь же обратим внимание читателей на следующий, весьма знаменательный и неизменно повторяющийся факт.

В то время как политико-социальная теория противогосударственных социалистов или анархистов ведет их неуклонно и прямо к полнейшему разрыву со всеми правительствами, со всеми видами буржуазной политики, не оставляя другого исхода, кроме социальной революции, противоположная теория государственных коммунистов и научного авторитета также неуклонно втягивает и запуты-

вает своих приверженцев, под предлогом политической тактики, в беспрестанные сделки с правительствами и разными буржуазными политическими партиями, т. е. толкает прямо их в реакцию.

Самое лучшее доказательство этому представляет Лассаль. Кому не известны его сношения и переговоры с Бисмарком. Либералы и демократы, против которых он вел беспощадную и весьма удачную войну, воспользовались этим, чтобы обвинить его в продажности. Тоже самое, хотя и не так явно шептали между собою личные приверженцы г. Маркса в Германии. Но, и те и *другие* врали. Лассаль был богат и ему не зачем было продавать себя; он был слишком умен, слишком горд, чтобы предпочесть роль самостоятельного агитатора неблаговидному положению правительственного или чьего бы то ни было агента.

Мы сказали. что Лассаль не был человеком народа, потому что он слишком желтоперчаточный щеголь, чтобы встречаться с пролетариатом, помимо митингов, где он обыкновенно магнетизировал его умною блестящею речью; слишком избалован богатством и сопряженными с ним привычками изящно-прихотливого существования, чтобы находить удовольствие в народной среде; слишком еврей, чтобы он чувствовал себя ловко среди народа, и наконец слишком исполнен сознанием своего умственного превосходства, чтобы не ощущать некоторого презрения к неученой, чернорабочей толпе, к которой он относился более как медик к больному, чем брат к брату. В этих пределах он серьезно был предан народному делу, как честный медик бывает предан излечению своего больного, в котором он видит впрочем не столько человека, сколько суб'екта. Мы глубоко убеждены, что он был на столько честен и горд, что ни за что в мире не изменил бы делу народа.

Совсем не нужно прибегать к подлым предположениям для об'яснения сношений и сделок Лассаля с прусским министром. Лассаль, как мы сказали, был в открытой войне со всеми оттенками либералов и демократов и страшно презирал этих невинных риторов, беспомощность и несостоятельность коих он ясно видел; Бисмарк, хотя и по другим причинам, тоже враждовал с ними — это и было первым поводом сближения. Главное же основание заключалось в политико-социальной программе Лассаля, в коммунистической теории, созданной г. Марксом.

Основной пункт этой программы: освобождение (мни-

мое) пролетариата *посредством только одного государства.* Но для этого надо, чтобы государство согласилось быть освободителем пролетариата из под ига буржуазного капитала. Как же внушить государству такую волю? Для этого могут быть два средства. Пролетариат должен совершить революцию для овладения государством — средство героическое. По нашему мнению, раз овладев им, он должен немедленно его разрушить, как вечную тюрьму народных масс: по теории же г. Маркса, народ не только не должен его разрушать, напротив, должен укрепить и усилить и в этом виде передать в полное распоряжение своих благодетелей, опекунов и учителей — начальников коммунистической партии, словом г. Марксу и его друзьям, которые начнут освобождать по своему. Они сосредоточат бразды правления в сильной руке, потому что невежественный народ требует весьма сильного попечения; создадут единый государственный банк, сосредоточивающий в своих руках все торгово-промышленное, земледельческое и даже научное производство, а массу народа разделят на две армии: промышленную и землепашескую, под непосредственною командою государственных инженеров, которые составят новое привилегированное науко-политическое сословие.

Видите какая блистательная цель поставлена народу школою немецких коммунистов! Но для достижения всех этих благ необходимо прежде всего сделать маленький, невинный шаг — революцию! Ну и ждите, когда немцы сделают революцию! Бесконечно рассуждать о революции это пожалуй, ну а делать ее...

Сами немцы не верят в немецкую революцию. Нужно, чтобы другой народ ее начал или какая нибудь внешняя сила увлекла или толкнула его; сами же собою они дальше резонерства никогда не пойдут. Следовательно надо искать другого средства, чтобы овладеть государством. Надо овладеть симпатиею людей, стоящих или могущих стоять во главе государства...

Во время Лассаля, точно так же как и теперь, во главе государства стоял Бисмарк. Кто же мог стать на его место? Либеральная и демократическо-прогрессистская партия были побеждены; оставалась только чистая демократическая, впоследствии принявшая название „Народной партии“. Но на севере она была ничтожна, на юге несколько многочисленнее, за то стремилась прямо к гегемонии австрийской империи. Последние события доказали, что в

этой исключительно-буржуазной партии не было никакой внутренней самостоятельности и силы. В 1870 г. она распалась окончательно.

Лассаль главным образом был одарен практическим инстинктом и смыслом, которых нет ни у г. Маркса, ни у его последователей. Как все теоретики Маркс неизменный и непоправимый мечтатель на практике. Он доказал это своею несчастною кампаниею в Интернациональном обществе, имевшею целью установление его диктатуры в Интернационале, а посредством Интернационала над всем революционным движением пролетариата Европы и Америки. Надо быть или сумашедшим, или весьма отвлеченным ученым, чтобы задаться такою целью Г. Маркс в настоящем году потерпел полнейшее и заслуженное поражение, но вряд ли оно избавит его от честолюбивой мечтательности.

Благодаря этой же мечтательности, а также и желания приобрести почитателей и приверженцев среди буржуазии, Маркс постоянно толкал и толкает пролетариат на сделки с буржуазными радикалами. По воспитанию и по натуре он якобинец и его любимая мечта—политическая диктатура. Гамбетта и Кастеляр—его настоящие идеалы. Его сердце, все помышления стремятся к ним и если в последнее время он должен был от них отказаться, то только потому, что они не умели прикинуться социалистами.

В этом стремлении к сделкам с радикальной буржуазией, которое сильнее обнаружилось в последние годы в Марксе, заключается двойная мечта: во первых, радикальная буржуазия, если ей удастся овладеть государственною властью, захочет, будет иметь возможность захотеть, употребить ее в пользу пролетариата, а во вторых, радикальная партия, овладев государством, когда нибудь будет в состоянии устоять против реакции, корень который скрывается в ней самой.

Буржуазно-радикальная партия отделяется от массы чернорабочего люда тем, что она экономическими и политическими интересами, также всеми привычками жизни, своим честолюбием, тщеславием, предрассудками глубоко, можно сказать, органически связана с эксплоатирующим сословием. Каким образом может она захотеть употребить власть, завоеванную хотя бы и с помощью народа, в пользу этого народа? Ведь это было бы самоубийством целого сословия, а сословное самоубийство не мыслимо. Самые ярые и красные демократы были, есть и будут до такой степени

буржуа, что всегда достаточно сколько нибудь серьезного за фразу переходящего заявления социалистических требований и инстинктов со стороны народа, чтобы их заставить сейчас же броситься в самую ярую и безумную реакцию.

Это логически необходимо, да и помимо логики вся новейшая история доказывает необходимость этого. Достаточно вспомнить положительную измену красной республиканской партии в июньские дни 1848 г., и как будто такого примера и последовавшего за ним двадцатилетнего жестокого урока, данного Наполеоном III, было недостаточно, чтобы снова во Франции в 1870—71 г. повторилось еще раз то же самое. Гамбетта и его партия оказались самыми ярыми врагами революционного социализма. Они выдали Францию, связанную по рукам и по ногам, бесчинствующей ныне в ней реакции. Другой пример Испания. Самая крайняя радикальная политическая партия (la partie intransigeante) оказалась самым ярым врагом интернационального социализма.

Теперь другой вопрос: в состоянии ли радикальная буржуазия без всенародного бунта совершить торжествующий переворот? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы решить его отрицательно; разумеется нет. Значит не буржуазия нужна народу, а народ буржуазии для совершения революции. Это стало ясно везде, а в России яснее, чем где бы то ни было. Соберите всю нашу революционно-мечтающую и резонирующую дворянско-буржуазную молодежь; но во первых, как связать ее в одно живое, единомыслящее и единостремящееся тело? Она может соединиться только погрузившись в народ; вне же народа она всегда будет составлять бессмысленную, безвольную, пустоболтающую и совершенно бессильную толпу.

Лучшие люди буржуазного мира, буржуа по происхождению, а не по убеждениям и стремлениям, могут быть полезны только под тем условием, что они потонут в народе, в чисто народном деле; если же они будут продолжать существовать вне народа, то они будут не только ему бесполезны, но положительно вредны.

Радикальная же партия составляет особую партию; она живет и действует вне народа. Что же показывает ее стремление к союзу с чернорабочим людом? Ни более, ни менее как сознание бессилия, сознание необходимости помощи народа для овладения государственной властью, ко-

нечно, не в пользу народа, а в свою собственную. И как только она овладеет ею, она неизбежно станет врагом народа; сделавшись врагом, она потеряет точку опоры, прежнюю народную силу, и чтобы удержать власть, хотя на время, она принуждена будет искать новых источников силы уже против народа, в союзах и сделках с побежденными реакционными партиями. Таким образом, идя от уступки к уступке, от измены к измене, она и себя, и народ отдаст реакции. Послушайте, что говорит теперь Кастеляр, ярый республиканец, сделавшийся диктатором: „политика живет уступками и сделками, поэтому я намерен во главе республиканской армии поставить генералов из умеренной монархической партии“. К какому это результату клонится, разумеется всякому ясно.

Лассаль, как практический человек, превосходно все это понимал; кроме того он глубоко презирал всю немецкую буржуазию и поэтому он не мог советовать работникам связываться с какою либо буржуазною партиею.

Оставалась революция; но Лассаль слишком хорошо знал своих соотечественников, чтобы ждать от них революционной инициативы. Что же ему оставалось? Одно—связаться с Бисмарком.

Пункт соединения давался самою теориею Маркса, именно: единое, обширное, сильно-централизованное государство. Лассаль его хотел, а Бисмарк уже делал. Как же им было не соединиться?

С самого вступления в министерство, больше, со времени прусского парламента 1848 г. Бисмарк доказал, что он враг, презирающий враг буржуазии; настоящая же деятельность показывает, что он не фанатик и не раб дворянско-феодальной партии, к которой принадлежит по происхождению и по воспитанию и с которой он, при помощи разбитой, покоренной и рабски послушной ему партии буржуазных либералов, демократов, республиканцев и даже социалистов, сбивает спесь и стремится окончательно привести к одному государственному знаменателю.

Главная цель его, также как Лассаля и Маркса, государство. И потому Лассаль оказался несравненно логичнее и практичнее Маркса, признающего Бисмарка революционером, конечно по своему, и мечтающего о свержении его, вероятно потому, что он занимает в государстве первое место, которое, по мнению г. Маркса, должно принадлежать ему.

Лассаль, повидимому, не имел такого высокого самолюбия, и потому не гнушался войти в сношение с Бисмарком. Совершенно сообразно с политическою программою, изложенною Марксом и Энгельсом в „Манифесте коммунистов", Лассаль требовал от Бисмарка только одного: открытия государственного кредита рабочим производительным товариществам. Но вместе с тем—и это доказывает степень его доверия к Бисмарку,—он сообразно той же программе, поднял между рабочими мирно-законную агитацию в пользу завоевания избирательного права,—другая мечта, о которой мы уже высказали свое мнение.

Неожиданная и преждевременная смерть Лассаля не позволила ему не только довести до конца, но даже хоть несколько развить свои планы.

После смерти Лассаля в Германии между вольною федерациею *обществ для образования рабочих и всеобщим немецким обществом рабочих,* созданным Лассалем, стала образовываться под прямым влиянием друзей и последователей г. Маркса, третья партия—„*социально-демократическая партия немецких работников*". Во главе ее стали два весьма талантливые человека, один полу-работник, другой литератор и прямой ученик и агент г. Маркса: гг. Бебель и Либкнехт.

Мы уже рассказывали печальные последствия похода г. Либкнехта в Вену, в 1868 г. Результатом этого похода был Нюренбергский конгресс (август 1868 г.), на котором окончательно организовалась *социально-демократическая партия.*

По намерению ее основателей, действовавших под прямым руководством Маркса, она должна была сделаться пангерманским отделом Интернационального Общества Рабочих. Но немецкие и особенно прусские законы были противны такому соединению. Поэтому оно было заявлено только косвенным образом, а именно в следующих выражениях: „Социально-демократическая партия немецких работников становится в связь с Интернациональным Обществом на сколько это допускается немецкими законами".

Несомненно, что эта новая партия была основана в Германии с тайною надеждою и замыслом посредством ее внести в Интернационал всю программу Маркса, устраненную первым Женевским конгрессом (1866).

Программа Маркса сделалась программой социально-демократической партии. В начале в ней повторяются не-

которые из главных параграфов Интернациональной программы, утвержденной первым Женевским конгрессом; но потом, вдруг, совершается крутой переход к *завоеванию политической власти*", рекомендуемой немецким работникам, как *ближайшая и непосредственная цель*" новой партии, с прибавлением следующей знаменательной фразы: „Завоевание политических прав, (всенародное право избирательства, свобода печати, свобода ассоциаций и публичных собраний и т. д.), как необходимое *предварительное* условие экономического освобождения работников".

Эта фраза имеет вот какое значение: прежде чем приступить к социальной революции, работники должны совершить политическую революцию, или что более сообразно с природою немцев, завоевать, или еще проще, приобресть политическое право посредством мирной агитации. А так как всякое политическое движение не может быть другим, как движением буржуазным, то и выходит, что эта программа рекомендует немецким работникам усвоить себе прежде всего буржуазные интересы и цели и совершить политическое движение в пользу радикальной буржуазии, которая потом в благодарность не освободит народ, а подчинит его новой власти, новой эксплоатации.

На основании этой программы совершилось трогательное примирение немецких и австрийских работников с буржуазными радикалами „народной партии". По окончании Нюренбергского конгресса делегаты, избранные с этою целью конгрессом, отправились в Штутгарт, где и был заключен между представителями обманутых работников и коноводами буржуазно-радикальной партии, формальный оборонительный и наступательный союз.

Вследствие такого союза, как те так и другие явились вместе, как братья, на второй конгресс Лиги Мира и Свободы открывшийся в сентябре в Берне. Тут приключился довольно знаменательный факт. Если не все, то по крайней мере многие из наших читателей слышали о расколе, впервые обнаружившемся на этом конгрессе между буржуазными социалистами и демократами и революционным социалистами, принадлежавшими к партии так называемого Союза (Аллианс) или вступившими в него после этого.

Вопрос, который подал внешний повод к этому, разрыву, сделавшемуся уже гораздо раньше неизбежным, был поставлен аллиансистами чрезвычайно определенно и ясно. Они хотели вывести наружу буржуазных демократов-со-

циалистов, заставить их громко высказать не только их равнодушие, но положительно враждебное отношение к вопросу, который единственно может быть назван народным вопросом—к вопросу социальному.

Для этого они предложили „Лиге Мира и Свободы" признать за главную цель всех своих стремлений: *„уравнение лиц"* (не только в политическом или юридическом, но главным образом в экономическом отношении) *„и классов"* (в смысле совершенного уничтожения последних). Словом они пригласили Лигу принять программу социально-революционную.

Они дали нарочно самую умеренную форму своему предложению, дабы противники, большинство Лиги, не имели возможности маскировать своего отказа возражением против слишком резкой постановки вопроса. Им было сказано ясно: „Мы теперь еще не касаемся вопроса о средствах для достижения цели. Мы спрашиваем Вас, хотите ли Вы осуществления этой цели? Признаете-ли Вы ее за законную и в настоящее время за главную, чтобы не сказать единую цель? Хотите-ли, желаете-ли Вы осуществления полнейшего равенства не физиологического и не этнографического, а социально-экономического между всеми людьми, к какой бы части света, к какому бы народу и полу они не принадлежали. Мы убеждены и вся новейшая история служит подтверждением, пока человечество будет разделено на меньшинство эксплоататоров и большинство эксплоатируемых, свобода не мыслима и становится ложью. Если Вы хотите свободы для всех, то Вы должны хотеть вместе с нами всеобщего равенства. Хотите-ли Вы его, да или нет?".

Если бы господа буржуазные демократы и социалисты были умнее, они, для спасения своей чести, ответили бы да, но как люди *практические* отложили бы осуществление этой цели на очень далекие времена. Аллиансисты, опасаясь такого ответа, наперед условились между собою поставить в таком случае вопрос о путях и средствах, необходимых для достижения цели. Тогда выступил бы вперед вопрос о коллективной и индивидуальной собственности, об уничтожении юридического права и о государстве.

Но на этом поле для большинства конгресса было бы гораздо удобнее принять сражение чем на первом. Ясность первого вопроса была такова, что не допускала никаких увертoк. Второй же вопрос гораздо сложнее и дает повод

к бесчисленному множеству толков, так, что при некоторой ловкости можно говорить и вотировать против народного социализма и все-таки казаться социалистом и другом народа. В этом отношении школа Маркса дала нам много примеров, и немецкий диктатор так гостеприимен (под непременным условием, чтобы ему кланялись), что он в настоящее время прикрывает своим знаменем огромное количество с ног до головы буржуазных социалистов и демократов, и Лига Мира и Свободы могла бы приютиться под ним, если бы только согласилась признать его за первого человека.

Если бы буржуазный конгресс поступил таким образом то положение аллиансистов стало бы несравненно труднее; между Лигою и ими произошла бы таже самая борьба, которая существует ныне между ими и Марксом. Но Лига оказалась глупее и вместе с тем честнее марксистов; она приняла сражение на первом ей предложенном поле, и на вопрос: „хочет-ли она экономического равенства, да или нет?"—огромным большинством ответила „*нет*". Этим окончательно отрезала себя от пролетариата и обрекла на близкую смерть. Она умерла, и оставила только две блуждающие и горько жалующиеся тени: Арманд Гег и сен-симонист-миллионер, Лемонье.

Теперь возвратимся к странному факту, случившемуся на этом конгрессе, а именно: делегаты, приехавшие из Нюренберга и Штуггардта, т. е. работники, отряженные Нюренбергским конгрессом *новой социально-демократической партией немецких рабочих* и буржуазные швабы „*народной партии*", вместе с большинством Лиги, вотировали единодушно против равенства. Что так вотировали буржуа, удивляться нечего, на то они и буржуа. Никакой буржуа будь он самый красный революционер, экономического равенства хотеть не может, потому что это равенство его смерть.

Но каким образом работники, члены социально-демократической партии, могли вотировать против равенства? Не доказывает-ли это, что программа, которой они ныне подчинены, прямо ведет их к цели совершенно противоположной той, которая поставлена им их социальным положением и инстинктом: и что их союз с буржуазными радикалами, заключенный ради политических видов, основан не на поглощении буржуазии пролетариатом, а напротив, на подчинении последнего первой.

Замечателен еще другой факт. Брюссельский конгресс

Интернационала, закрывший свои заседания за несколько дней перед Бернским, отверг всякую солидарность с последним, и все марксисты, участвовавшие в Брюссельском конгрессе, говорили и вотировали в этом смысле. Каким же образом другие марксисты, действовавшие, как и первые под прямым влиянием Маркса могли прийти к такому трогательному единодушию с большинством Бернского конгресса?

Все это осталось загадкою, до сих пор не разгаданною. Тоже противоречие в продолжении целого 1868 даже после 1869 г. оказалось в Volksstaat'е главном, можно сказать, оффициальном органе социально-демократической партии немецких работников, издаваемом гг. Бебелем и Либкнехтом. Иногда печатались в нем довольно сильные статьи против буржуазной Лиги; но за ними следовали несомненные заявления нежности, иногда дружеские упреки. Орган, долженствовавший представлять чисто народные интересы как бы умолял Лигу укротить свои слишком яные заявления буржуазных инстинктов, компрометировавшие защитников Лиги перед работниками.

Такое колебание в партии г. Маркса продолжалось до сентября 1869 г., т. е. до Базельского конгресса. Этот конгресс составляет эпоху в развитии Интернационала.

Прежде всего немцы принимали самое слабое участие в конгрессах Интернационала. Главную роль играли в нем работники Франции, Бельгии, Швейцарии и отчасти Англии. Теперь же немцы, организовавшие партию, на основании вышесказанной, более буржуазно-политической чем народно-социальной программы, явились на Базельский конгресс, как хорошо вымуштрованная рота, и вотировали, как один человек, под строгим надзором одного из своих коноводов, г. Либкнехта.

Первым их делом было, разумеется, внесение своей программы, с предложением поставить политический вопрос во главе всех вопросов. Произошло горячее сражение, в котором немцы потерпели решительное поражение. Базельский конгресс сохранил чистоту Интернациональной программы, не позволил немцам ее исказить, внесением в нее буржуазной политики.

Таким образом начался раскол в Интернационале, причиною коего были и остаются немцы. Обществу, по преимуществу интернациональному, они дерзнули предложить, хотели навязать почти насильно, свою программу тесно-

буржуазную и национально-политическую, исключительно немецкую, пангерманскую.

Они были на голову разбиты, и такому поражению не мало способствовали люди, принадлежавшие к *„Союзу социальных революционеров“*—альянсисты. Отсюда жестокая ненависть немцев против „Союза“. Конец 1869 и первая половина 1870 г. были исполнены злостною бранью и еще более злостными и не редко подлыми кознями марксистов против людей „Альянса“.

Но все это скоро замолкло перед военно-политическою грозою, собравшеюся в Германии и разлившеюся во Франции. Исход войны известен: Франция упала, и Германия, превратившаяся в империю, стала на ее место.

Мы сказали, сейчас, что Германия заняла место Франции. Нет, она заняла место, которого никакое государство не занимало прежде и в новейшей истории, не занимало его даже Испания Карла V, разве только империя Наполеона I может сравниться с нею по могуществу и влиянию.

Мы не знаем что было бы, если бы, победил Наполеон III. Без сомнения было бы худо, даже очень худо; но не случилось бы худшего несчастия для целого мира, для свободы народов, чем теперь. Победа Наполеона III имела бы последствия для других стран, как острый недуг, мучительный, но не продолжительный, потому что ни в одном слое французской нации нет в достаточной мере того органически-государственного элемента, который необходим для упрочения и увековечения победы. Французы сами разрушили бы свое временное преобладание, которое, положим, могло бы польстить их тщеславию, но которого не сносит их темперамент.

Немец другое дело. Он создан в одно и тоже время для рабства и для господства; француз-солдат по темпераменту, по хвастовству, но он не терпит дисциплины. Немец подчинится охотно самой несносной, обидной и тяжелой дисциплине; он даже готов ее полюбить, лишь бы она поставила его, вернее, его немецкое государство над всеми другими государствами и народами.

Как иначе об'яснить этот сумасшедший восторг, который овладел целою немецкою нациею, всеми, решительно всеми слоями немецкого общества, при получении известия о ряде блистательных побед, одержанных немецкими войсками и наконец о взятии Парижа? Все очень хорошо знали в Германии, что прямым результатом побед будет решитель-

ное преобладание военного элемента, уже и прежде отличавшегося чрезмерною дерзостью; что следовательно для внутренней жизни наступит торжество самой грубой реакции: и чтоже? ни один или почти ни один немец не испугался, напротив, все соединились в единодушном восторге. Вся швабская оппозиция растаяла, как снег, перед блеском новоимператорского солнца. Исчезла народная партия, и бюргеры, и дворяне, и мужики, и профессора, и художники и литераторы, и студенты запели хором о пангерманском торжестве. Все немецкие общества и кружки на чужбине стали задавать празднества и восклицали „да здравствует император"! тот самый, который вешал демократов в 1848 г. Все либералы, демократы, республиканцы поделались бисмаркианцами; даже в Соединенных Штатах, где кажется можно было научится и привыкнуть к свободе, восторженные миллионы немецких переселенцев праздновали торжество пангерманского деспотизма.

Такой повсеместный и всеобщий факт не может быть преходящим явлением. Он обнаруживает глубокую страсть, живущую в душе каждого немца, страсть, заключающую в себе как бы неразлучные элементы, приказание и послушание, господство и рабство.

А немецкие работники? Ну немецкие работники не сделали ничего, ни одного энергического заявления симпатии сочувствия к рабтникам Франции. Было очень немного митингов, где было сказано несколько фраз, в которых торжествовашая, национальная гордость как бы умолкала перед заявлением интернациональной солидарности. Но далее фраз ни один не пошел, а в Германии, вполне очищенной от войск, можно было бы тогда кое-что начать и сделать. Правда, что множество работников было завербовано в войска где они отлично исполняли обязанности солдата, т. е. били, душили, резали и расстреливали всех по приказанию начальства, а также и грабили. Некоторые из них исполняя таким образом свои воинские обязанности, писали в тоже самое время жалостные письма в Volksstaat, и живыми красками описывали варварские поступки, совершенные немецкими войсками во Франции.

Было однако несколько примеров более твердой оппозиции; так протесты доблестного старца Якоби, за что он был посажен в крепость; протесты гг. Либкнехта и Бебеля и до сих пор еще находящихся в крепостях. Но это одинокие и весьма редкие примеры Мы не можем позабыть

статьи, появившейся в сентябре 1870 г. Volksstaat'е, в которой явно обнаруживалось пангерманское торжество. Она начиналась следующими словами: *Благодаря победам, одержанным немецкими войсками, историческая инициатива окончательно перешла от Франции к Германии; мы немцы и т. д.*

Словом, можно сказать, без всякого исключения, что у немцев преобладало и преобладает поныне *восторженное чувство военного и политического национального торжества* Вот на чем опирается, главным образом. могущество пангерманской империи и ее великого канцлера, князя Бисмарка.

Завоеванные богатые области, бесчисленные массы завоеванного оружия и, наконец, пять миллиардов, позволяющих Германии содержать огромное, отлично вооруженное и усовершенствованное войско; создание империи и органическое подчинение ее прусскому самодержавию, вооружение новых крепостей и, наконец, создание флота—все это разумеется значительно способствует усилению пангерманского могущества. Но его главная опора все таки заключается в глубокой и несомненной народной симпатии.

Как выразился один наш швейцарский приятель: „Теперь всякий немецкий портной, проживающий в Японии в Китае, в Москве чувствует за собою немецкий флот и всю немецкую силу; это гордое сознание приводит его в сумашедший восторг: наконец то немец дожил до того, что он может, как англичанин или американец, опираясь на свое государство, сказать с гордостью: я немец". Правда, что англичанин или американец говоря: „я англичанин", „я американец", говорят этим словом: „я человек свободный"; немец же говорит: "я раб, но за то мой император сильнее всех государей, и немецкий солдат, который меня душит, вас всех задушит".

Долго-ли немецкий народ будет удовлетворяться этим сознанием? Кто может это сказать? Он так долго жаждал ныне только нисшедшей едино-государственной, едино-палочной благодати, что должно думать он долго еще, очень долго будет ею наслаждаться. У всякого народа свой вкус, а в немецком народе преобладает вкус к сильной государственной палке.

Что с государственною централизациею начнут и уже начали развиваться в Германии все злые начала, весь разврат, все причины внутреннего распадения, неизбежно соп-

ряженные с обширными политическими централизациями, в этом никто сомневаться не может. Сомнение тем менее возможно, что пред глазами всех уже совершается процесс нравственного и умственного разложения; стоит только читать немецкие журналы, самые консервативные или умеренные, чтобы встретить везде ужасающие описания разврата, овладевшего немецкою публикою, как известно, честнейшею в мире.

Это неизбежный результат капиталистической монополии, всегда и везде сопровождающей усиление и расширение государственной централизации. Привиллегированный и в немногих руках сосредоточенный капитал в настоящее время, можно сказать, стал душею всякого политического государства, которое кредитируется им, только им, и взамен обеспечивает ему безграничное право эксплоатировать народный труд. С денежною монополиею неразлучна биржевая игра и высасывание из народной массы, а также из среды малой и средней, постепенно беднеющей буржуазии, последней копейки, посредством акционерных производительных и торговых компаний.

С биржевою и акционерною спекуляциею пропадает в среде буржуазии древняя буржуазная благодетель, основанная на бережливости, умеренности и труде; порождается общее стремление к быстрому обогащению; а так как это возможно не иначе, как посредством обмана и так называемого законного, а также и не законного, но только ловкого воровства, то необходимым образом должны исчезнуть старая филистерская честность и добросовестность.

Замечательно с какою быстротою пропадает, на наших глазах, пресловутая немецкая честность. Немецкий честный филистер был неописанно тесен и глуп; но развращенный немец, это такое отвратительное создание, для описания которого нет слов. Во французе разврат прикрывается грациею, легким и привлекательным умом; немецкий же разврат, не знающий меры, ничем не прикрыт. Он сияет во всей своей отвратительной, грубой и глупой наготе.

С этим новым экономическим направлением, овладевшим всем немецким обществом, исчезает, видимо, и все достоинство немецкой мысли, немецкого искусства, немецкой науки. Профессора, более чем когда нибудь, стали лакеями, а студенты пуще прежнего упиваются пивом за здоровье и в честь своего императора.

А крестьяне? Они остаются в недоумении. Отодвигаемые

и загоняемые систематически в течении нескольких веков самою либеральною буржуазиею в лагерь реакции, они в огромнейшем большинстве, особливо в Австрии, в средней Германии и в Баварии, составляют теперь самую твердую опору реакции. Много еще времени должно пройти, пока не увидят и не поймут они, что единое пангерманское государство и император с своим бесчисленным военным, гражданским и полицейским штатом душит и грабит их.

Наконец, работники. Они сбиты с толку своими политическими, литературствующими и еврействующими коноводами. Положение их, правда, становится год от году несноснее, и это доказывается серьезными смутами, происходящими в их среде во всех главных индустриальных пунктах Германии. Почти не проходит месяца, недели, чтобы не произошло уличное волнение, а иногда даже и столкновение с полициею в каком нибудь немецком городе. Но из этого отнюдь не должно заключать, что близка народная революция, во первых потому, что сами коноводы не хуже любого буржуа ненавидят революцию и боятся ее, хотя и говорят о ней беспрестанно.

Вследствие этой ненависти и боязни они направили все рабочее народонаселение на путь так называемой законной и мирной агитации, результатом которой обыкновенно бывает выбор одного или двух работников или даже литературствующих буржуа из партии социальных демократов в обще-германский парламент. Но это не только не опасно, напротив чрезвычайно полезно для немецкого государства, как громовой отвод, как отдушина.

Наконец, уже потому нельзя ожидать немецкой революции, что в действительности в уме, характере, темпараменте немца чрезвычайно мало революционных элементов. Немец будет рассуждать против всякого начальства и даже против императора сколько вам будет угодно. Резонерству его не будет конца; но это самое резонерство, испаряя так сказать его умственные и нравственные силы, и не давая им возможности сосредоточиваться, избавляют его от опасности революционного взрыва.

Да и каким образом революционное направление могло бы сочетаться в немецком народе с наследственным послушанием и стремлением к преобладанию, составляющим, как мы уже несколько раз повторили, основные черты его существа? И знаете-ли какое стремление преобладает ныне в

сознании или инстинкте каждого немца? *Стремление распространить широко, далеко пределы немецкой империи.*

Возьмите вы немца из какого общественного слоя вам будет угодно, и много будет, если вы найдете одного из тысячи, что говорю я, из десяти тысяч немцев, который на известную песню Арнта не ответит вам:

„Нет, нет, нет, немецкое отечество должно быть шире“.

Всякий немец думает, что дело образования великой германской империи только что началось и чтобы довести его до конца необходимо присоединить к ней всю Австрию кроме Венгрии. Швецию, Данию, Голландию, часть Бельгии, еще часть Франции и всю Швейцарию по самые Альпы. Вот его страсть, которая в настоящее время заглушает в нем все остальное. Она также заправляет ныне и всеми действиями социально-демократической партии.

И не думайте, что Бисмарк был таким ярым врагом этой партии, каким он прикидывается. Он слишком умен, чтобы не видеть, что она служит ему как пионер, распространяя германскую государственную мысль в Австрии, Швеции, Дании, Бельгии, Голландии и Швейцарии. В распространении этой германской идеи состоит ныне главное стремление г. Маркса, который, как мы уже заметили, попытался возобновить, в свою пользу, в Интернационале, подвиги и победы князя Бисмарка.

Бисмарк держит в руках все партии и вряд ли отдаст их в руки г. Маркса; он теперь гораздо более, чем папа и чем клерикальная Франция, глава европейской, можно даже сказать, всемирной реакции.

Французская реакция уродлива, смешна и плачевна до крайности, но она отнюдь не опасна. Она слишком безумна, слишком нелепо противоречит всем стремлениям новейшего общества, не говоря о пролетариате, но самой буржуазии, всем условиям государственного существования, чтобы она могла стать действительною силою. Вся она ни что иное, как болезненная, отчаянная конвульсия умирающего французского государства.

Совсем другое дело пангерманская реакция. Она не хвастает грубым и глупым противоречием с современными требованиями буржуазной цивилизации, напротив употребляет всевозможное тщание, чтобы во всех вопросах действовать в полнейшем согласии с нею. В искусстве прикрывать самыми либеральными и даже демократическими фор-

мами свои деспотические действия и дела, они превзошли своего учителя Наполеона III.

Посмотрите например, в религиозном вопросе. Кто взял смелую инициативу решительно противодействовать средневековым притязаниям папского престола? Германия, князь Бисмарк который не побоялся интриг иезуитов, подкапывающихся против него везде: и в народе, который они волнуют, а главное при императорском дворе, чрезвычайно склонном еще к ханжеству всякого рода; не побоялся даже их кинжала, яда, которым, как известно, они издавна имеют обыкновение отделываться от опасных противников. Князь Бисмарк до такой степени сильно выступил против римско-католической церкви, что сам старый и добродушный Гарибальди, герой на поле битвы, но весьма плохой философ и политик, ненавидящий попов больше всего, так что достаточно об'явить себя их врагом, чтобы быть провозглашенным за самого передового и либерального человека, сам Гарибальди, повторяем, недавно напечатал восторженный дифирамб в пользу немецкого, великого канцлера и провозгласил его освободителем Европы и мира. Не понял бедный генерал того, что в настоящее время эта реакция несравненно хуже и опаснее, чем реакция церковная, злая но бессильная, потому что ныне она решительно невозможна; что реакция государственная ныне более опасна, что она еще возможна, что она составляет ныне последнюю и единственную возможную форму реакции. Множество так называемых либералов и демократов не понимают этого до сих пор, и потому множество, на подобие Гарибальди, смотрят на Бисмарка, как на поборника народной свободы.

Точно также поступает князь Бисмарк и с социальным вопросом. Разве не собрал он, несколько месяцев тому назад, настоящий социальный конгресс ученых юристов и политико-экономов Германии, чтобы подвергнуть строгому и глубокомысленному обсуждению все вопросы, занимающие ныне рабочих. Правда, эти господа ничего не решили, да и решить не могли, потому что им был задан один вопрос: как облегчить положение рабочих, не изменяя нисколько ныне существующие отношения капитала к труду, или что все равно, как сделать невозможное возможным. Ясно, что они должны были разойтись, ничего не решив, но все таки осталась слава, что Бисмарк не в пример другим государственным людям Европы, понимает всю важность социального вопроса и тщательно занимается им.

Наконец он дал полнейшее удовлетворение политическому тщеславию немецкой патриотической буржуазии. Он не только создал могучую единую пангерманскую империю, наделил ее даже самыми либеральными и демократическими формами управления; дал ей парламент, основанный на всенародном праве избирательства, с неограниченным правом толковать о всевозможных вопросах, предоставляя себе лишь одно право делать и проводить на практике только то, что ему и его государю угодно. Таким образом он открыл немцам поле для болтовни безграничной, себе же оставил только три вещи: *финансы, полицию и армию*, т. е. всю суть настоящего государства, всю силу реакции.

Благодаря этим трем маленьким вещицам он властвует теперь неограниченно в целой Германии, а посредством Германии на целом континенте Европы. Мы показали и, как нам кажется доказали, что все другие континентальные государства или так слабы, что о них нечего и говорить, или еще не сложились, да никогда и не сложатся в серьезные государства, напр. Италия, или наконец, находятся в процессе разложения, как Австрия, Турция, Россия, Испания и Франция. Среди недоростков с одной стороны и развалин с другой возвышается полное красоты и силы величавое здание пангерманского государства — последнее убежище всех привиллегий и монополий, словом буржуазной цивилизации, последний и могучий оплот государственности, т. е. реакции. Да, на континете Европы существует только одно настоящее государство—пангерманское; все же остальные только вицекоролевства великой немецкой империи.

Эта империя устами своего великого канцлера об'явила войну на жизнь или на смерть социальной революции. Князь Бисмарк произнес ее смертный приговор во имя сорока миллионов немцев, стоящих за ним и служащих ему опорою. Маркс же, соперник и завистник его, а за ним и все коноводы социально-демократической партии Германии, как бы в подтверждение Бисмарка, с своей стороны об'явили такую же отчаянную войну социальной революции. Все это мы подробно изложим в следующей части.

Мы увидим, что в настоящий момент с одной стороны стоит полнейшая реакция, осуществившаяся в германской империи, в германском народе, обуреваемом единою страстью завоевания и преобладания, т. е. государствования; с другой, как единая поборница освобождения народов, миллио-

ной чернорабочих всех стран, подымает свою голову социальная революция. Покаместь она сосредоточила свои силы только на юге Европы: в Италии, Испании, Франции; но вскоре надеемся под ее знамя встанут и северо-западные народы: Бельгия, Голландия и главным образом Англия, а там, наконец и все славянские племена.

На пангерманском знамени написано: *удержание и усиление государства во что бы то ни стало*; на социально-революционном же, на нашем знамени, напротив, огненными, кровавыми буквами начертано *разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов,—организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества. создание нового общечеловеческого мира.*

Книгоиздательство

СОЮЗА АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ

„ГОЛОС ТРУДА“

Петербург. Пр. Володарского, 56. Москва. Тверская, 70

Выпущены в свет следующие книги и брошюры:

М. Бакунин.—Избран. соч. т. I. Государственность и Анархия, с биографич. очерком В. Черкезова (второе издание)

Его-же.—Т. II. Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция, с предисловием и примечаниями Дж. Гильома

Его-же.—Т. III. Бернские Медведи и Петербургский Медведь; Речи и статьи по Славянскому Вопросу; Народное Дело; Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы; Федерализм, Социализм и Антитеологизм.

Его-же.— Т. IV. Организация Интернационала; Политика Интернационала; Письма о Патриотизме; Письма к французу; Парижская Коммуна и понятие о Государстенности.

Его-же — Том V. „Альянс“ и Интернационал. Интернационал и Мадзини.

Его-же.—Бог и Государство (разошлось).

Дж. Баррет.— Анархическая Революция.

А. Боровой.—Личность и Общество в Анархистском Мировоззрении.

Дж. Гильом. — Интернационал (Воспоминания и материалы) Том I - II.

Его-же Карл Маркс и Интернационал.

Эмма Гольдман.—Анархизм.

И. Гроссман - Рощин—Характеристика Творчества П. А. Кропоткина.

Ж. Грав.—Будущее Общество.

Его-же.—Синдикализм в общественном развитии.

Виктор Дав и Жорж Ивто.—Фернанд Пеллутье и Революционный Синдикализм во Франции.

С. Заяц.—Как мужики остались без начальства.

Ж. Ивто.—Азбука Синдикализма (разошлось).

М. Корн.—Революционный Синдикализм и Анархизм; Борьба с Капиталом и Властью и др.

П. Кропоткин.—Записки Революционера. Под редакцией автора и с предисловием Георга Брандеса.

Его-же.—Речи бунтовщика, с предисловием и послесловием автора к новому изданию.

Его-же.—Хлеб и Воля, с предисловием автора к новому изданию. (Второе издание).

Его-же.— Современная Наука и Анархия (перевод под редакцией автора).

Его-же.—Поля, Фабрики и Мастерские.
Его-же.—Взаимная Помощь.
Его-же.—Справедливость и Нравственность.
Его-же.—К чему и как прилагать труд ручной и умственный (сокращенное изложение книги „Поля, фабрики и мастерские.
Его-же.—Анархия.
Его-же.—Анархическая работа во время Революции.
Его-же.—Коммунизм и Анархия.
Его-же.—К молодому поколению (разошлось).
Его-же.—Политические права.
Его-же.—Новый Интернационал.
Н. К. Лебедев.—Элизе Реклю, как человек, ученый и мыслитель.
Его-же.—К истории Интернационала. Этапы международного об'единения трудящихся.
Э. Малатеста.—Избранные сочинения.
Его-же.—Анархизм.
Его-же.—Краткая Система Анархизма.
Его-же.—Крестьянские речи.
М. Неттлау.—Жизнь и деятельность Михаила Бакунина.
Его-же.—Взаимная ответственность и солидарность в борьбе рабочего класса.
Э. Пато и Э. Пуже.—Как мы совершим революцию, с предисловием П. А. Кропоткина.
Э. Пуже.—Избранные сочинения по вопросам Синдикализма.
Ф. Пеллутье.—История Бирж Труда.
М. Р—ский.—Франциско Феррер и его Новая Школа.
Элизе Реклю.—Избранные сочинения (с предисловием П. А. Кропоткина)
Свободное Трудовое Воспитание. Сборник статей под редакцией Н. К. Лебедева.
В. Граутман, Дж. Эттор и В. Сэнт-Джон.—Производственный Синдикализм (Сборник статей об индустриализме, с предисловием А. Шапиро).
С. Фор.—Преступления Бога (второе изд.)
В. Черкезов.—Предтечи Интернационала; Доктрины Марксизма: Распад среди социалистов государственников; Наконец-то сознались (ответ Каутскому).

Печатаются и в скором будущем выйдут в свет:

М. Бакунин.—Исповедь.
Дж. Гильом.—Интернационал (Воспоминания и Материалы) Том III и IV.
П. Кропоткин.—Этика.
Его-же.—Великая Французская Революция.
Эли Реклю.—Парижская Коммуна изо дня в день (Дневник событий 1871 года).
Сборник памяти П. А. Кропоткина.
Ф. Эртер.—Чего хотят синдикалисты.

Его-же.—Поля, Фабрики и Мастерские.
Его-же.—Взаимная Помощь.
Его-же.—Справедливость и Нравственность.
Его-же.—К чему и как прилагать труд ручной и умственный (сокращенное изложение книги „Поля, фабрики и мастерские.
Его-же.—Анархия.
Его-же.—Анархическая работа во время Революции.
Его-же.—Коммунизм и Анархия.
Его-же.—К молодому поколению (разошлось).
Его-же.—Политические права.
Его-же.—Новый Интернационал.
Н. К. Лебедев.—Элизе Реклю, как человек, ученый и мыслитель.
Его-же.—К истории Интернационала. Этапы международного об'единения трудящихся.
Э. Малатеста.—Избранные сочинения.
Его-же.—Анархизм.
Его-же.—Краткая Система Анархизма.
Его-же.—Крестьянские речи.
М. Неттлау.—Жизнь и деятельность Михаила Бакунина.
Его-же.—Взаимная ответственность и солидарность в борьбе рабочего класса.
Э. Пато и Э. Пуже.—Как мы совершим революцию, с предисловием П. А. Кропоткина.
Э. Пуже.—Избранные сочинения по вопросам Синдикализма.
Ф. Пеллутье.—История Бирж Труда.
М. Р—ский.—Франциско Феррер и его Новая Школа.
Элизе Реклю.—Избранные сочинения (с предисловием П. А. Кропоткина)'
Свободное Трудовое Воспитание. Сборник статей под редакцией Н. К. Лебедева.
В. Траутман, Дж. Эттор и В. Сэнт-Джон.—Производственный Синдикализм (Сборник статей об индустриализме, с предисловием А. Шапиро).
С Фор.—Преступления Бога (второе изд.)
В. Черкезов.—Предтечи Интернационала; Доктрины Марксизма; Распад среди социалистов государственников; Наконец-то сознались (ответ Каутскому).

Печатаются и в скором будущем выйдут в свет

М. Бакунин.—Исповедь.
Дж. Гильом.—Интернационал (Воспоминания и Материалы) Том III и IV.
П. Кропоткин.—Этика.
Его-же.—Великая Французская Революция.
Эли Реклю.—Парижская Коммуна изо дня в день (Дневник событий 1871 года).
Сборник памяти П. А. Кропоткина.
Ф. Эртер.—Чего хотят синдикалисты.
